


Цруя Шалев

# Биография любви





Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
Kahle/Austin Foundation









Посольство  
Государства Израиль  
в РФ



צרויה שלו

חיי אהבה

ЦРУЯ ШАЛЕВ

# БИОГРАФИЯ ЛЮБВИ

РОМАН

*Перевод с иврита  
Бориса Борухова*

Москва «Текст» 2019

УДК 821.41  
ББК 84(5ИЗр)  
Ш18

*Фотография на обложке  
предоставлена Айрис Нешер*

*© Iris Nesher*

ISBN 978-5-7516-1523-9

Copyright © Zeruya Shalev

Published by arrangement with The Institute for the Translation  
of Hebrew Literature

© Б. Борухов, перевод, 2019

© «Текст», издание на русском языке, 2019

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Это не мой папа и не моя мама. Почему же именно он открывает мне дверь родительской квартиры, загородив собой узкий дверной проем и крепко сжимая дверную ручку? Я начинаю пятиться: наверно, ошиблась этажом. Однако ажурная табличка на двери упрямо свидетельствует, что квартира — их, или, по крайней мере, была ею раньше.

— Что с моими родителями? — спрашиваю я еле слышно.

— Ничего, — говорит он, раскрыв большие пепельные губы. — С ними, Яара, все в порядке.

Мое имя трепыхается у него во рту, как рыба, пойманная в сеть.

Я протискиваюсь в дверь, задевая рукой его прохладную безволосую руку, минуя пустую гостиную, открываю дверь спальни, и, словно застигнутые на месте преступления, мои родители одновременно поворачивают ко мне головы.

Мама лежит в постели. Голова у нее обернута цветастым кухонным полотенцем, а рука поддерживает лоб, словно он вот-вот упадет. Папа же сидит на краю кровати, держа в руке стакан с водой, и нервно раскачивает его из стороны в сторону. На полу, у его ног, уже натекла небольшая лужица.

— В чем дело?! — спрашиваю я.



— Плохо себя чувствую, — говорит мама.

— Всего пару минут назад она чувствовала себя отлично, — говорит папа.

— Вот видишь? — бурчит мама. — Он снова мне не верит.

— А что сказал врач?

— Какой еще врач? — говорит папа. — Она здорова, как лошадь. Дай Бог, чтоб я был так здоров.

— Но вы же вызвали врача, правда? — продолжаю допрашивать я. — Это же мне врач открыл, нет?

— Врач? — смеется папа. — Это мой друг, Арье Эвен. Ты что, его не помнишь?

— А с чего бы ей его помнить? — говорит мама. — Когда он уехал за границу, она еще не родилась.

— Ладно, пойду к нему, — говорит папа и встает с кровати. — Неудобно как-то оставлять его там одного.

— А по-моему, ему очень даже комфортно, — замечаю я. — Ведет себя прямо как хозяин.

Мама вдруг начинает кашлять, и глаза у нее краснеют.

— Побудь со мной, Шломо, мне что-то нехорошо, — охрипшим голосом просит она, но потерявший терпение папа сует ей в руку почти пустой уже стакан и, наступив на прозрачную лужицу на полу, направляется к выходу.

— Яара с тобой побудет. Разве не для этого существуют дети?

Мама раздраженно выпивает остатки воды и сдерживает с головы влажное полотенце. Ее жалкие жидкие волосы торчат на голове, как колючки ежа, и, когда она начинает их приглаживать, я невольно вспоминаю, какая у нее была раньше роскошная, живая, как котенок, коса. Куда бы она ни ходила, всегда заплетала волосы в косу.

— Почему ты отрезала косу? — спрашиваю я. — Это же все равно что ногу отрезать. Ты могла бы с такой же легкостью отрезать себе ногу?

— Она мне больше не шла, после того, как... После того, как все изменилось, — говорит мама, принимая сидячее положение и с ненавистью глядя на часы.

— Ну?! Сколько он еще там собирается сидеть?! Мне осточертело валяться в постели! Да еще посреди бела дня!

— Так ты правда, что ли, не больна? — удивленно спрашиваю я.

— Конечно, нет, — ухмыляется она. — Я просто этого типа терпеть не могу.

— Я тоже, — выпаливаю я, чувствуя, что дотронувшаяся до него рука горит, как после укуса пчелы. — А почему ты его не выносишь? — спрашиваю я, ощупывая руку, чтобы проверить, не опухла ли она.

— Это длинная история. Зато твой папа его обожает. Они с ним когда-то учились, тридцать лет тому назад; лучшим его другом был. Но мне всегда казалось, что Арье с ним просто играет и даже в каком-то смысле его использует. По-моему, он вообще неспособен чувствовать. Мы о нем много лет ничего не слышали, и тут он вдруг объявился. Хочет, чтобы папа сделал что-то для его жены.

— Но ты же сказала, он за границу уехал, — неожиданно для себя вступаюсь я за гостя.

— Да, они жили во Франции и вернулись совсем недавно, — раздраженно говорит мама. — Однако, если есть желание, можно поддерживать отношения и из-за границы.

От обиды лицо ее съеживается и становится похожим на морщинистый, покрытый старческими пятнами, хоть и сохранивший в себе что-то детское, треугольник, а запыленные, как много лет не мытые окна, глаза суживаются и напоминают сейчас двух недоверчивых стражников, охраняющих красивый прямой нос (который я, кстати, от нее унаследовала) и горько искривившиеся бледные губы, из которых кто-то словно высосал всю их мягкость.

— А что он делал во Франции?

— То же, что и везде. Ничего. Папа, правда, убежден, что он был там в командировке от министерства обороны и занимался чем-то суперсекретным, но, по моему, он просто жил за счет богатой жены. Голодренец, женившийся на деньгах. А теперь вот вернулся, чтобы пофорсить перед нами своими европейскими манерами.

Я вижу, как она всматривается в стенное зеркало, где отражается ее рот, из которого вылетают грязные, ядовитые слова, и думаю: «Неизвестно еще, что она способна сказать обо мне».

Мне становится возле нее душно, и я говорю:

— Мне пора.

— Подожди, не уходи! — вскрикивает мама, пытаясь удержать меня так же, как пыталась удержать папу. — Побудь со мной, пока он не уйдет.

— Зачем?

— Не знаю, — по-детски пожимает плечами она.

\* \* \*

В гостиной стоит резкий запах французских сигарет. Никогда не позволяющий курить возле себя папа, сторбившись, сидит на диване окутанный клубами густого дыма, а на его любимом мягком кресле вальяжно и с довольным видом развалился гость. Я вхожу и чувствую на себе его взгляд.

— Ты Яру помнишь? — спрашивает его папа, как будто уговаривая, чуть не умоляя ответить «да».

— Помню, — отвечает гость. — Но тогда она еще совсем крошечной была. Ее не узнать.

Он с неожиданной гибкостью встает и протягивает мне смуглую руку с красивыми длинными пальцами.

— Ты что, всегда ожидаешь чего-то плохого? — спрашивает он, насмешливо улыбаясь, и, обращаясь к папе, поясняет: — Когда она увидела меня в дверях, то посмотрела на меня так, словно я вас обоих убил, а теперь собираюсь прикончить и ее.

— Это правда, — признаю я, и моя отяжелевшая вдруг рука падает вниз, как падает рука человека, теряющего сознание, потому что гость внезапно, не дав мне опомниться, отпускает ее и снова усаживается в кресло. Его хмурые серые глаза внимательно меня изучают, и, сев напротив него, я прячу лицо за волосами.

— Мне надо бежать, — говорю я папе. — Меня дома Йони ждет.

— Ну, как там твоя мама? — спрашивает гость бархатным, дразнящим меня голосом.

— Не очень, — криво улыбаясь, говорю я.

Я всегда криво улыбаюсь, когда вру.

— А ты знаешь, что в молодости мы вместе учились? — спрашивает меня папа, глядя на гостя сияющими глазами. — Даже какое-то время жили вместе. Мы были тогда моложе, чем ты сейчас.

В отличие от папиных, глаза гостя отнюдь не сияют: у него эти воспоминания, по-видимому, такого же восторга не вызывают — но папу это, похоже, не смущает.

— Погоди-ка, — вскакивает он с дивана. — Я обязан показать тебе нашу фотографию.

Прошлое всегда вызывает у него огромное — какое-то даже обидное для меня — волнение.

Из соседней комнаты доносится грохот открываемых ящиков и падающих на пол книг, нарушающий наше угнетающе-неприятное молчание. Взглянув на меня высокомерно, вызываяще, но в то же время равнодушно и даже не попытавшись со мной заговорить, гость закуривает следующую сигарету. Он полностью заполняет своим присутствием пространство гостиной, и мне тоже хочется смотреть на него сияющими глазами, но я не осмеливаюсь их поднять и вместо того, чтоб разглядывать его смуглую безволосую грудь в прорези расстегнутой рубашки с короткими рукавами, сосредотачиваюсь на его остроносых, до смешного начищенных ботинках. Возле них стоит большой черный пакет, на котором золотыми бук-

вами написано: «Левый берег. Одежда из Парижа», и это кажется мне забавным. Щегольство как-то не слишком вяжется с его грубоватой внешностью и деловитым выражением лица. Стараясь не рассмеяться и смущенно покашливая, я мучительно думаю, что бы такое сказать.

— Гарантирую, он ее не найдет, — говорю я наконец. — Он никогда ничего не находит.

— Он не найдет эту фотографию потому, что она у меня, — шепчет гость.

Снова раздается грохот, и, громко выругавшись, папа возвращается в гостиную. Он прихрамывает, а в руках у него — упавший ему на ногу ящик письменного стола.

— Где же эта фотография может быть? — недоумевает он.

— Да ладно тебе, Шломо, — говорит гость насмешливо. — Какая, в сущности, разница?

Но меня это вдруг выводит из себя. Почему он не говорит, что фотография у него?! Почему я сама этого не говорю? Откуда он знает, что я не проговорюсь?

Тем не менее мы, как два заговорщика, продолжаем сидеть молча и наблюдать за энергичными папиными поисками. Наконец я не выдерживаю.

— Меня дома Йони ждет, — повторяю я, словно это — магическая формула, которая способна вызвать меня из этой ситуации.

— Жалко, — говорит папа. — Хотел показать тебе, какими мы были.

— Ей это не нужно, — говорит гость, — да и тебе тоже.

— Верно, — соглашаюсь я, хотя я-то как раз не отказалась бы увидеть, как выглядело в молодости его выразительное смуглое лицо.

Прихрамывая, папа провожает меня до двери.

— Она ведь ничем не болеет, правда? — спрашивает он шепотом. — Просто притворяется, да?

— Почему это не болеет? Очень даже болеет. Обязательно вызови врача.



Ступеньки у подъезда усыпаны скользкими, уже начинающими подгнивать листьями. Они тихонько шуршат у меня под ногами, и я осторожно спускаюсь по ним, держась за холодные перила. Еще вчера эти перила были раскаленными, но сегодня жара спала и с неба покапал робкий осенний дождик.

Когда я подхожу к дороге, машины уже едут с включенными фарами. В этот час все автомобили начинают выглядеть одинаково, а люди становятся похожими друг на друга, и, смешавшись с ними, я тоже теперь похожа на всех остальных. Потому что этот вечер красит нас всех одной краской: и заключенную в спальне, как в тюрьме, маму, и принимающего в гостях друга юности, окутанного клубами дыма папу, и ожидающего меня дома Йони, который сейчас, наверно, устало моргает перед экраном компьютера, и живущую неподалеку Ширу.

Кстати, а вот и ее переулочек. Увидев ее дом, я вдруг решаю к ней заглянуть. Сегодня, в университете, мы, правда, уже общались, но мне кажется, что с тех пор у меня накопилось что ей рассказать. Я звоню в дверь, но мне никто не открывает. Не теряя надежды — ведь Шири может быть в душе или в туалете, — я огибаю дом, вхожу на задний двор и стучусь в окно с опущенными жалюзи, но тут из соседнего, кухонного, окна с мяуканьем вылезает кот Ширы, Тулья. Видимо, ему надоело сидеть дома одному. Я начинаю его гладить; и меня, и его это немного успокаивает. Сначала он мурлычет, распрямив свой серый хвост, а затем укладывается у моих ног, и мне кажется, что он уснул. Но нет. Когда я выхожу из двора и иду по темному переулочку, то замечаю, что его торчащий хвост следует за мной. «Тулья, отвяжись, — говорю я коту, когда единственный в переулочке фонарь несколько раз мигает и гаснет. — Шири уже скоро придет». Но он упрямо идет за мной, подобно чересчур вежливо-

му хозяину, считающему необходимым проводить гостя, хотя тот уже не знает, как от него избавиться. Папа, думаю я, тоже, наверно, сейчас провожает своего гостя, не в силах расстаться с ним, как со сладким воспоминанием, и вдруг вижу, что оба они переходят дорогу. Папа, чья субтильная фигура с трудом различима в темноте, семенит короткими шажками, а его гость с решительным выражением на бронзовом лице и светящимися, как светоотражатели в ночи, серебристыми волосами, размашисто вышагивает рядом с ним. Я бросаюсь вслед за ними, но, услышав мяуканье Тульи, пинаю ногой воздух, чтоб его прогнать, кричу: «Брысь! Возвращайся домой!» — начинаю переходить дорогу, и вдруг слышу за спиной визг тормозов, глухой звук удара, а затем открывается дверца машины и кто-то кричит: «Чья это кошка? Чья это кошка?» — «Это уже не важно, — отвечает ему чей-то голос. — Какая теперь разница?»

Не решаясь оглянуться назад, я бросаюсь бежать и вскоре догоняю папу с гостем. Они идут в обнимку, и папина голова прижимается к широкому плечу Арье. Но когда я их обгоняю, то вижу, что это не они. Это мужчина и женщина. Они уже немолоды, но любовь их, похоже, так и не состарилась.

\* \* \*

Шумная улица, по которой я иду, приводит меня в наш район. С меня ручьем льет пот, но мне кажется, что это кровь Тульи. Всю дорогу она течет за мной неотвязной струей, и я знаю, что эта струя остановится только возле нашей двери.

— Что с тобой, кротенок? — заботливо спрашивает Йони.

Его мягкий животик прикрывает фартук, а стол накрыт к ужину. На красной салфетке меня приветливо ожидают нож и вилка. Однако вместо того, чтоб обрадоваться, я начинаю злиться.

— Прекрати меня так называть! Сколько раз тебе говорить?! Мне надоело, что ты меня так называешь!

— Но ты же первая начала эти клички использовать, — обиженно округляет глаза Йони.

— И что? Я начала — я и закончила! А ты — нет. Вчера даже при людях меня так назвал. Все подумали, мы умственно отсталые.

— Какая мне разница, что думают все? — бормочет он. — Мне важно лишь то, что думаем мы.

— Когда ты уже наконец поймешь, что нет никаких «мы»?! Есть только «я» и «ты», и каждый имеет право на собственное мнение!

— Но тебе же раньше нравилось, что я тебя так называю? — не сдается он.

— Ну изменилась я, изменилась, — бурчу я. — Почему бы тебе тоже не измениться?

— Я изменяюсь, когда сам этого захочу, и нечего мне указывать! — отвечает он и, схватив свою тарелку, демонстративно усаживается перед телевизором.

Я смотрю на стол, в одно мгновение изменивший свою сущность, превратившись из стола на двоих в стол на одного, и думаю: «Как грустно жить одной. И как только это Ши́ре удастся?»

— У меня нет аппетита, — говорю я, вспомнив ее толстого, избалованного, пушистого, мягкого, как подушка, кота, иду в спальню и ложусь в постель.

«Что же мы теперь будем делать без всех этих наших ласковых кличек? — думаю я. — Он больше не назовет меня кротенком, а я его — крысенком... Как же мы будем разговаривать?!» Но тут звонит телефон. Я слышу, как Йони кого-то ласково успокаивает, после чего приходит ко мне и говорит:

— Это Ши́ра.

— Скажи ей, что я сплю.

— Но ты ей нужна, — протягивает он мне рыдающую трубку.

— Тулья исчез, — плачет в трубке Ши́ра, — а соседи говорят, что сегодня какую-то кошку задавили. Я боюсь, что это он.

— Успокойся, — шепчу я. — Это наверняка какая-то другая кошка. Тулья никогда далеко от дома не уходит.

— А у меня такое чувство, что это Тулья. Он ведь по вечерам меня всегда ждет.

— Но он же практически из дома не выходит.

— Я оставила на кухне окно открытым, потому что утром было еще жарко. Я не думала, что он вылезет. Зачем ему вылезать-то? Чем ему дома плохо?

— Он наверняка под кроватью или где-то еще. Ты же этих кошек знаешь: они прячутся и появляются, когда сами сочтут нужным. Иди-ка ты сейчас спать, а завтра утром он тебя разбудит.

— Хорошо бы, если так, — шепчет она и снова начинает плакать. — Он же мне как ребенок. Я без него не могу. Ты обязана помочь мне его найти!

— Но, Шира, я же только что пришла. У меня нет сил даже пошевелиться. Давай подождем до завтра.

— Нет, — упрямо твердит она. — Я обязана найти его сейчас же.

— Ладно, — сдаюсь я.

— А как же ужин? — спрашивает Йони, не переставая жевать, когда я уже стою в дверях. В его глазах разочарование. Кусочек помидора выскальзывает у него изо рта и, подрагивая, повисает на подбородке.

— Я должна помочь Шире найти кота.

— Все время ноешь, что я не готовлю, а когда готовлю — не ешь.

— А что я могу поделать?! — выхожу я из себя. — Если б ты сказал, что я сплю, мне бы никуда идти не пришлось. Я бы с радостью осталась сейчас дома, можешь мне поверить.

Продолжая монотонно жевать — словно пережевывая мои слова, — Йони снова поворачивается к телевизору, а я бросаю на него прощальный взгляд и ухожу. Каждый раз, как я его покидаю, мне кажется, что я никогда больше его не увижу, что это в послед-

ний раз, и, хотя я сотни раз на этот счет ошибалась, это ощущение не только не исчезает, но даже обостряется, а страх, что теперь это все-таки произойдет, только усиливается.

\* \* \*

Шира сидит на кухне, положив голову на грязный стол. В волосах у нее застряли крошки.

— Я так этого всегда боялась, — говорит она, — а это даже хуже, чем я думала.

— погоди ты его хоронить, давай сначала поищем, — говорю я и начинаю ползать по полу, заглядывая под кровать и в шкафы и крича дурным голосом: «Тулья! Тулья!» — как будто если я буду очень стараться его найти, это загладит мою вину. Это ведь я должна была вернуть его домой или, по крайней мере, отогнать от дороги. Поэтому я упрямо продолжаю ползать по полу, проклиная тот момент, когда решила к ней зайти. Ну почему, почему я не пошла домой! Что за срочность была такая ей все рассказывать?!

Наконец, когда у меня уже болят коленки и я с ног до головы покрываюсь ошметками пыли, как будто нарядилась овцой, я не выдерживаю.

— Хватит, — говорю я. — Пойдем поищем на улице.

Когда мы выходим из дома, она прижимается ко мне своим маленьким жестким телом и, словно кнопками прищипывая ко мне мою вину, шепчет:

— Спасибо, что пришла. Даже не знаю, что бы я без тебя делала.

Мы ходим по маленьким, примыкающим к дороге улочкам, крича «Тулья! Тулья!», и каждый раз, как из помойки выскакивает кошка, Шира нервно хватается меня за руку, но затем разочарованно ее отпускает. В конце концов у нас не остается другого выхода, как пойти искать на дороге.

— Поищи ты, — говорит Шира. — Я не могу.



Я пытаюсь разглядеть Тулью среди проносящихся мимо холодных и злых, как человечьи глаза, автомобильных огней, но тщетно. «Как быстро убрали его большое, избалованное, доверчивое тело», — думаю я и вспоминаю его длинные усы, скрывавшие кажущуюся, но в то же время такую реальную улыбку.

— Господи, как я одинока, — говорит Шира, когда мы садимся на скамейку возле ее дома. — Тебе-то вон повезло: ты не одна...

Каждый раз, как всплывает эта тема, мне становится не по себе. Ведь она знала Йони еще до меня, и мне всегда казалось, что она в него влюблена. А теперь я отняла у нее и Йони, и кота, и больше никогда уже не смогу пошутить, как делала иногда раньше, когда Тулья ко мне ластился: «Забирай Йони себе, а кота отдай мне».

Тулья напоминал мне всех других кошек, которых я в своей жизни любила (с кошками я вообще лажу лучше, чем с мужчинами), однако Йони завести кошку отказывается: говорит, это всегда плохо кончается. По сути, он оказался прав, но разве есть на свете что-нибудь, что кончается хорошо?

От всех этих переживаний и мыслей мне становится трудно дышать, а тут еще, как назло, соседка сверху выходит выбросить мусор и Шира спрашивает ее, не видела ли она Тулью.

— Видела, по-моему, — говорит соседка, — час или два тому назад. Он шел за высокой женщиной с длинными волосами.

«Ну почему, почему я не подобрала волосы? — в ужасе думаю я, глядя, как она показывает руками рост женщины и длину ее волос. — И почему пришла в той же одежде?»

Шира и соседка дружно поворачивают ко мне головы.

— Нет-нет, — начинаю оправдываться я, — это не я, меня сегодня здесь не было. Я была у родителей, честное слово. Мне даже пришлось побыть там

дольше обычного, потому что у них в гостях был человек со страшным лицом.

— Может быть, — говорит соседка, — но какая-то похожая на вас женщина здесь крутилась, и кот пошел за ней, в сторону дороги.

— Я слышала, там сегодня кошку задавили, — еле слышно говорит Ши́ра.

— Про это я ничего не знаю, — говорит соседка и скрывается в подъезде, оставив меня с Ши́рой наедине.

— Ши́ра, клянусь, я бы тебе сказала...

— Мне все равно, что тут произошло, — холодно перебивает меня она. — Я просто хочу своего кота.

— Да вернется он, вернется. Вот увидишь, утром он будет дома.

— Яара, я устала и хочу спать, — говорит она, и ее голос снова начинает дрожать. — Как же я буду без него спать? Я ведь привыкла спать с ним. Его мурлыканье меня успокаивает.

— Ну хочешь, я с тобой переночую? Хочешь, буду мурлыкать, как кошка?

— Хватит, прекрати! Тебе пора домой, к Йони.

Она всегда подчеркнуто проявляет заботу о нем, словно демонстрируя таким образом свою к нему любовь.

— Ничего с Йони не случится. Я остаюсь с тобой.

— Нет! — отрезает Ши́ра, и я вижу, что ее терзают тяжелые сомнения. — Я должна справиться с этим сама.

— Но ведь есть же еще шанс, что он вернется, — чуть слышно говорю я.

— Ты знаешь, что это не так.

\* \* \*

«Я всегда буду это отрицать, — думаю я по дороге домой. — Ведь, кроме меня, об этом никто не знает. Если я буду отрицать это достаточно долго, правда

сдастся, отступит перед ложью, и я сама уже не смогу вспомнить, что произошло».

Еще я думаю о страхе, напавшем на меня на скользких ступеньках, и о том, что страх иногда опережает свою причину. Я пытаюсь вспомнить, что такого страшного было в лице папиного гостя, но не могу вспомнить его лица: запомнился только страх — и, как всегда в такие моменты, с облегчением думаю о своем дорогом, милом Йони. Вот приду сейчас домой, и мы начнем с ним этот вечер заново. Я съем все, что он приготовил, и не оставлю в тарелке ни крошки.

Однако когда я подхожу к нашему дому, то вижу, что в окнах темно; даже телевизор уже не работает.

Не спит только телефон, который настойчиво звонит. Я со страхом поднимаю трубку, опасаясь, что это снова Шира, но это мама.

— Он все еще здесь, — шепчет она раздраженно. — Говорю тебе, папа делает это нарочно! Я в этом уверена. Хочет посмотреть, кто из нас первым не выдержит. А я тут из-за него с голоду умираю. Сижу, как в тюрьме!

— Ну так сходи на кухню. В чем проблема-то?

— Но я не хочу его видеть.

— Ну так иди с закрытыми глазами, — советую я. — Вот и не увидишь.

— Но тогда он увидит меня! — вопит мама. — Ты что, не понимаешь?! Я не хочу, чтоб он меня видел!

— Мам, да не переживай ты так. Он же не навечно к вам пришел.

...В спальне темно. Йони лежит с закрытыми глазами и тихонько посапывает. Я кладу ему руку на лоб и шепчу:

— Спокойной ночи, крысенок.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Где я могла видеть эти квадратные, украшенные коронами, как в старинном издании Торы, золотые буквы на черном фоне? Эти буквы на огромной вывеске бросаются мне в глаза, когда я выглядываю в окно автобуса, и я беспокойно всматриваюсь в них до тех пор, пока они не соединяются в единое целое. «Левый берег! — кричат они мне. — Парижская мода!» Как только автобус останавливается и разевает пасть, я вскакиваю со своего места и выпрыгиваю на улицу с такой прытью, словно забыла там что-то очень для меня дорогое, нечто такое, что никак не может ждать.

Вывеска такая большая и высокая, что с близкого расстояния ее почти не видно — только золото на ней светится, как зимнее солнце, обещающее весну, — и, греясь в ее свете, я подхожу к большой новой витрине. Еще месяц назад тут торговали стройматериалами, но сейчас продают одежду — такую же, как та, что маняще и загадочно выглядывала из пакета, стоявшего возле остроносых ботинок Арье, — однако теперь эту одежду хорошо видно, и она с гордостью выставляет себя напоказ. Особенно бросается в глаза короткое облегающее винного цвета платье с длинными рукавами, великолепно смотрящееся на стоящей в витрине кукле, подчеркивая ее твердые пластмассовые грудки с торчащими сосками и тоненькие стройные ножки.

Какое-то время я стою возле куклы и с грустью размышляю о различиях между нами, но тут вдруг в просвете у нее между ног вижу узкие ягодицы Арье, плотно обтянутые черными вельветовыми джинсами. Он примеряет их перед зеркалом, то отходя от него, то подходя, снова отдаляясь и вновь приближаясь. Его лица за худенькой куклой почти не видно, но я почему-то не сомневаюсь, что оно у него довольное. «Что он там делает? — недоумеваю я. — Кем себя возомнил? Стараются понравиться зеркалу, как какой-нибудь постаревший манекенщик». Но тут у куклы между ног снова образуется просвет, а ко мне подходит стоящая у входа продавщица.

— Можете его примерить, — говорит она. — У нас имеются разные расцветки.

— Я не хочу других расцветок, — бормочу я. — Только эту.

— Жалко просто так снимать платье с манекена; я не уверена, что у вас подходящая фигура, — мрачно изрекает продавщица, но мне страшно хочется унижить витринную куклу и я настаиваю:

— Нет, я хочу примерить именно его.

Однако в тот самый момент, когда я вслед за продавщицей вхожу в магазин, из узкой примерочной кабинки выходит и размашистым шагом направляется к боковому зеркалу Арье. Брюки на нем на этот раз коричневые. Я начинаю лихорадочно искать где бы спрятаться — как будто в магазине внезапно начался проливной дождь — и в конце концов юркаю в кабинку, из которой только что вышел он и где все еще стоит его резкий запах. Наступив на черные брюки, которые он снял, я обнюхиваю брюки, висящие на вешалке, и начинаю обыскивать его карманы, удивляясь тому, как много у него ключей, но тут продавщица спрашивает:

— Где женщина, которая хотела платье с витрины?

— Я здесь, — сипло шепчу я, высунув руку наружу, и она вешает на нее платье.



Я быстро раздеваюсь, перемешав свою одежду с одеждой Арье, но вместо платья надеваю брюки, которые он снял, и их прохладное прикосновение волнуется так, словно я прикасаюсь к его гладкой коже.

Вдруг слышится звук приближающихся шагов.

— Там уже занято, — говорит продавщица. — Примеряют.

— Там примеряю я, — говорит Арье басом.

— Прошу прощения, — извиняется продавщица. — Кабинка скоро освободится.

Тут я слышу, как Арье заговаривает с кем-то по-французски, и выглядываю в щелку, образовавшуюся между узкими дверцами. Он стоит в коричневых брюках, а какая-то разодетая франкоязычная девица размахивает у него перед носом коричневой рубашкой. Видимо, уговаривает купить.

Все другие кабинки в магазине, судя по всему, заняты, и Арье начинает раздеваться прямо перед зеркалом, обнажая хорошо сохранившийся торс почти такого же, как рубашка, цвета, а когда надевает рубашку, самодовольно, как павлин, распускает хвост, закуривает, дает прикурить девице, и я вижу, что ее сигарета вставлена в длинный мундштук, отлично сочетающийся с красными, аккуратно подстриженными в стиле каре волосами и стильным пиджаком.

— А можно мне примерить бордовое платье с витрины? — спрашивает она продавщицу, неуверенно подбирая ивритские слова, но та говорит, что его уже примеряют и предлагает попробовать другие расцветки. Однако девушка хочет только эту и, приблизившись к закрытым дверцам моей кабинки, продавщица кричит:

— Ну, как оно вам? Тут люди кабинку ждут и платье тоже.

— Я его беру, — не раздумывая выпаливаю я и с удовольствием слышу вздох разочарования девицы с мундштуком.

Тогда, быстро скинув брюки Арье, я надеваю собственные, но, когда начинаю застегивать молнию, слышу раздраженный возглас «Да в чем дело, в конце-то концов?!», и дверцы кабинки распахиваются, прижав меня к стене.

— Дочка Кормана, — говорит он.

\* \* \*

Стоя босыми ногами на его брюках, держа в одной руке свое новое платье, а второй пытаюсь застегнуть молнию — несколько волосков на лобке застревают в ней, и в паху щиплет, — я смотрю, как одна за другой расстегиваются пуговицы на его рубашке, и, когда он ее снимает, в воздухе разносится резкий запах его бритых подмышек, напоминающий густой запах хвойной смолы. Его темный широкий язык облизывает толстые, распухшие от жажды губы, гуляя по ним то вверх, то вниз, а его мрачные глаза, похожие на сгоревшие, почти превратившиеся в золу угольки, смотрят на меня до боли пристально.

Не сводя с меня глаз, он расстегивает молнию на брюках, позволяя им съехать вниз по длинным юношеским ногам, и я вижу черные облегающие трусы с бугорком посередине. Я хочу отвернуться, как делала в детстве, когда видела папу в трусах, но Арье мне не позволяет. Повернув мое лицо к себе, а затем наклонив мою голову, как наклоняют манекен, когда устанавливают его на витрине, он берет мою руку и кладет на свой горячий бугорок. Я чувствую, как его черные трусы начинают оживать (словно там свернулся слоновий хобот, только и ждущий подходящего момента, чтоб распрямиться и издать трубный глас), и моя рука сжимает бугорок все сильнее. В конце концов, бросив платье, я кладу на него и вторую руку тоже.

Арье стоит, до меня не дотрагиваясь, но его — бьющий электрическим током и приводящий в дрожь — взгляд давит на меня так сильно, словно это не глаза,

а руки, принуждающие меня встать на колени, смять лежащие на полу брюки и прижаться щекой к тому месту, где его плоть вступила в тихую, но решительную схватку с тканью трусов.

Тут я слышу голос девицы с мундштуком:

— Ари, aller!\*

Поднеся палец к губам, Арье тянет меня вверх, в последний раз прижимает мои руки к своим трусам, а затем проворно — чуть не прищемив мне пальцы молнией — натягивает брюки, в которых пришел в магазин, надевает рубашку, прикрыв обнаженную гладкую грудь, и выбегает из примерочной, таща за собой ворох одежды; я же поспешно заканчиваю одеваться и выскакиваю — так и не найдя своего нового платья, которое он, видимо, по ошибке унес — вслед за ним, даже не завязав шнурки.

Они уже стоят возле кассы. Он — высокий, с прямой осанкой — приглаживает седые волосы, а она, элегантная, хорошенькая, в коротких бриджах и модном пиджаке — не красавица, но настолько ухоженная, что это производит даже большее впечатление, чем красота, — шепчет ему что-то на ухо и роется в принесенной им куче одежды. Увидев, что она вытаскивает оттуда мое платье, я, путаясь в шнурках, бросаюсь к ним.

В магазине так много зеркал, что трудно понять, где Арье настоящий, а где отраженный, и по пути к кассе я — вместо его живого, еще пульсирующего у меня в руках тела — натыкаюсь на зеркало.

— Это платье мое! — выдыхаю я. — Прощу прощения, но это платье — мое!

Однако кассирша смотрит на меня недоверчиво, и приходится призвать в свидетели продавщицу. На мое счастье, та подтверждает, что я мерила его первая, и лишь тогда Арье соизволяет оторвать глаза от своего портмоне.

---

\*Здесь: «Ау!» (фр.) (Здесь и далее — примеч. переводчика.)

— Яара? Что ты тут делаешь? — спрашивает он, изобразив удивление, и поясняет своей подружке, даже не потрудившись меня ей представить: — *La fille de mon ami*,\* — после чего заполняет банковский чек и с преувеличенной любезностью осведомляется: — Ну, как там твоя мама? Надеюсь, ей уже лучше?

— Да, — говорю я, — с ней уже все в порядке.

Выражение сосредоточенности сменяется на его лице насмешливым удовлетворением.

— Кстати, — говорит он кассирше, протягивая ей чек и какую-то квитанцию, — заодно я хочу вернуть то, что купил на прошлой неделе. Хотел бы получить свои деньги назад.

Взглянув на квитанцию, кассирша спрашивает сначала номер его паспорта, потом — телефона, и, когда он их громко и медленно диктует, повторяя номер телефона дважды, я, беззвучно шевеля губами, произношу этот номер про себя, чтобы запомнить.

Они выходят из магазина с черным пакетом, еще более огромным, чем тот, с которым он приходил к моим родителям, и на прощанье, дружески помахав мне рукой, он просит передать родителям привет, а затем, словно только что вспомнив, добавляет:

— Скажи папе, что я жду его ответа.

— Хорошо, — говорю я, и они уходят.

Он решительно ведет ее за собой, держа за руку; их ягодицы покачиваются в такт; и с каждым покачиванием они уплывают от меня все дальше и дальше.

Кассирша говорит мне, сколько я должна за платье, но я ее не слышу: в голове у меня звучит номер его телефона. Тогда она называет цену еще раз — и тут я прихожу в себя.

— Так дорого?! — ойкаю я. — Я и не знала, что оно такое дорогое. — И, положив платье на прилавок, начинаю пятиться, словно оно сейчас взорвется. Однако продавщица начинает на меня угрожающе наступать, и вся ее приветливость мгновенно испаряется.

---

\*Дочь моего друга (фр.).

— Как это?! Мы из-за вас клиентку упустили. Вы не можете его теперь не купить.

— Я просто не обратила внимания на цену, — заикаясь, мямлю я, — мне надо посоветоваться с мужем.

Мужа я приплетаю просто так, чтоб успокоиться: он всегда приводит меня в чувство своей рассудительностью. И вообще, пусть знают, что я не одна и вовсе не всегда такая беспомощная, какой кажусь сейчас.

— В следующий раз, — рывкает продавщица, хватая платье, — прежде, чем мерить, сначала на цену посмотрите!

— Вы правы, прошу меня простить, — бормочу я и с грустью вижу, что мое красивое бархатное платье, которое мне и примерить-то не удалось, снова надевают на куклу, с нетерпением ожидавшую его возвращения.

И вот, в точности, как полчаса назад, я снова стою у витрины, разглядывая куклу. Платье сидит на ней идеально; она меня полностью победила. «Ну и что? — думаю я. — Буду жить так, словно не входила в этот магазин вообще. Все просто вернулось в изначальную точку; ничего особенного не произошло». Тем не менее руки у меня дрожат и такое ощущение, словно мне сделали болезненную операцию, переставив местами пальцы.

\* \* \*

Признав свое поражение, я решаю, что пора уходить, но мне страшно подставлять спину под испепеляющие взгляды продавщицы и кассирши и я пячусь задом. Платье на кукле действует на меня, как красная тряпка; оно дразнит меня и мучит; но мне кажется, что на прощанье кукла машет мне рукой, и в ответ я ей виновато подмигиваю.

Тут меня вдруг окружает толпа каких-то людей. Все они в коричневых одеждах, украшенных большими желтыми листьями, и при каждом их шаге ли-



стья шевелятся. Эти люди идут такой тесной толпой, что невозможно сквозь них протиснуться, и у меня не остается другого выхода, как пойти вместе с ними, однако мне это даже нравится — чувствовать себя одной из них, — но тут они останавливаются, прямо посреди пешеходной зоны, и на глазах удивленных прохожих воздевают руки к небу. Как будто они деревья.

— Что это означает? — спрашиваю я женщину, стоящую рядом. — Что вы такое делаете?

— Празднуем осень, — отвечает она.

Пробормотав какие-то молитвы, люди-деревья бьют в барабаны, а затем воцаряется тишина и они начинают срывать с себя листья.

— А это что означает? — спрашиваю я женщину, глядя, как они яростно топчут валяющуюся на земле листву.

— Празднуем освобождение от листьев. Срываем с себя всех паразитов и остаемся нагими и чистыми, как деревья: только ствол и ветви.

Ее сияющее лицо действует на меня завораживающе. Волосы у нее совершенно седые, но лицо — молодое и восторженное.

Когда вместе со своими товарищами она затягивает какую-то красивую, но грустную песню, я выбираюсь из их толпы и присоединяюсь к кучке зевак. Некоторые из них издевательски хихикают, и кто-то даже кричит:

— Валите отсюда, психи! Дурдом по вам плачет!

Однако есть и такие, кто смотрит на коричневых людей с сочувствием; на лицах у них такое выражение, которое появляется, когда человек сталкивается с чем-то духовным.

Честно говоря, поначалу ритуал сбрасывания листьев меня озадачивает. Мне-то как раз всегда казалось, что деревьям жаль расставаться с листьями, подобно тому как родителям жаль расставаться с детьми. Но потом я думаю: а что, если родителям нравится

расставаться с детьми? И что, если мужьям нравится расставаться с женами? Может, каждое расставание — это освобождение и очищение? Может, расставаясь, мы избавляемся от своей материальности? Эта идея мне нравится — потому что в таком случае в мире должно быть гораздо меньше горя, чем мне казалось раньше, — и, обрадованная этим открытием, я иду по пешеходной зоне дальше, однако вскоре понимаю, что обрадовалась зря. Нет, думаю я, горя в мире от этого меньше не станет, потому что общее количество горя никогда не меняется. Как в старинной загадке про спуски и подъемы, поначалу всегда сбивающей с толку\*. Просто люди-деревья решили жить наоборот: расставаньям — радоваться, а от встреч — горевать. Мне хочется вернуться и спросить их: «А что вы делаете весной, когда все цветет? Скорбите?» — но у меня уже нет на это времени. Сегодня в университете у меня приемный час, и мне не хочется опаздывать. Однако когда я смотрю на часы, чтоб узнать, сколько у меня еще в запасе, то вижу, что приемный час уже пятнадцать минут как начался. В панике я бросаюсь в ближайшее кафе и набираю номер нашей ассистентской. На мое счастье, там оказывается Нета. Никогда не думала, что буду так рада услышать ее гнусавый голос.

— Слушай, — прошу я ее, — сделай мне одолжение, а? Подмени меня сегодня. Я тебя тоже при случае подменю.

— Именно этим я сейчас и занимаюсь, — гнусавит она.

— А много студентов пришло на прием?

— Приняла уже двух, а в коридоре ждут еще несколько. Им нужна помощь с вводным курсом. А где тебя носит-то?

---

\*Имеется в виду загадка, которая звучит так: чего в мире больше — спусков или подъемов? Ответ: одинаково. Потому что каждый спуск — это одновременно и подъем, а каждый подъем — спуск.

— Я в центре города. Сошла тут по дороге с автобуса, чтобы платье в магазине примерить, и забыла на часы посмотреть.

— Ну, с обновкой тебя тогда.

— Нет, — говорю я пристыженно, — я его так и не купила. Слишком уж дорого.

Она смеется, и я представляю, как она встряхивает своей густой черной гривой, шевелящейся, как многоногое насекомое.

— Спасибо тебе, Нета, — благодарю я ее, хотя и улавливаю победную интонацию в ее голосе. В напряженной гонке за место на кафедре, в которой мы с ней участвуем уже два года, каждая моя ошибка — очко в ее пользу. Даже если про это никто не знает; достаточно и того, что знаем мы.

Ехать в университет уже не имеет смысла, и я присаживаюсь за один из столиков, стоящих перед кафе. Странная процессия уже исчезла, но ощущение странности происходящего не проходит. Я смотрю на чахлые деревья, огороженные высокими заборчиками, словно кто-то боится, что они сбегут; на старые дома, у которых отреставрированы только верхние этажи, хотя на верхние этажи никто никогда не смотрит; на магазины, торгующие военной атрибутикой: погонами, формой и никому не нужными флажками; на гуляющих по пятнистым плиткам пешеходной зоны людей, чьи руки и ноги движутся в едином темпе и ритме, словно они заранее об этом сговорились; на чернявого мальчугана, торгующего павлиньими перьями, которые никто не покупает и чьи цветные глаза покачиваются на тонких ножках... Я смотрю на все это и думаю: «Интересно, кто-нибудь из этих людей когда-нибудь испытывал то, что несколько минут назад испытала я?» Потому что это было как проглотить огонь. Мне всегда хотелось знать, как это — глотать огонь. Что чувствуешь за мгновение до того, как суешь горящий факел в рот? Что испытываешь, когда он у тебя внутри, зная, что он может выжечь твои

внутренности? И вот теперь я это знаю. Но что мне с этим знанием делать? Куда его применить?

Я думаю про свернувшийся в трусах у Арье член и девицу с аккуратной прической. Кто она такая? Хорошо бы, если б она была его дочерью, но в это мне почему-то не очень верится. С другой стороны, для жены она слишком молода. И куда, интересно, они пошли с этим огромным пакетом и членом, спрятавшимся в трусах? Почему не взяли меня с собой? Ведь я там кое-что потеряла, в этой маленькой примерочной кабинке. Потеряла нечто, о чем даже не подозревала, что оно у меня есть: незнание того, что чувствуешь, когда глотаешь огонь. А со знанием приходит ужасное ощущение, что все потеряло вкус. Потому что ничто меньше этого меня больше никогда уже не возбудит.

Чувствуя внезапную слабость — все мое тело в одно мгновение словно обмякает, — я кладу голову на круглый, нагретый от осеннего солнца столик, как будто это моя любимая подушка, и пытаюсь вспомнить, что я до этого планировала сделать. До конца года защитить диссертацию, после защиты родить ребенка, после родов купить квартиру, а в промежутках между всем этим ужинать с Йони (один раз готовит он, другой — я), встречаться с завкафедрой, который мной восхищается, считая, что у меня большое будущее, мерить платья в тесных примерочных, с зеркалом или без... Однако сейчас все эти мои планы словно покрылись пылью: как будто из пустыни налетел ветер и накрыл весь мир тонким слоем серого песка.

Помнится, однажды такое со мной уже было, это ощущение, что падаю в пропасть — может, и не такое сильное, но похожее, — когда несколько лет назад, вскоре после демобилизации, я влюбилась в парня, жившего возле пекарни. В ту единственную ночь, которую я с ним провела, постель благоухала свежим хлебом. После этого я его больше не видела и одно

время очень переживала: мне казалось, что никогда уже больше я такого не испытаю — этого потрясающего ощущения свежести — и никогда больше не лежать мне на пахнущих хлебом простынях, — однако довольно скоро я повстречала Йони и про все это забыла; только когда ела свежий хлеб, вспоминала. И вот сейчас я не только снова ощущаю запах хлеба, но вдобавок ко всему у меня в голове еще и пылает огонь, а вокруг, как пули, трассируют угольные глаза Арье Эвена. И вдруг — о Боже! — я вижу на пешеходной зоне его самого. Он идет походкой охотника. Взгляд у него тоже как у охотника, а с плеча свисает мое — до ужаса безжизненное, превратившееся в грудку мяса и шерсти — тело. С трудом удержавшись, чтоб не заорать, я вскакиваю и, точно услышавшее выстрел лесное животное, бросаюсь наутек...

...Я снова чувствую себя в безопасности лишь тогда, когда добегаю до дороги и вижу проезжающие машины.

\* \* \*

Через некоторое время я подхожу к родительскому дому, и гниющие на ступеньках у подъезда листья снова тихонько шуршат у меня под ногами. Поднявшись по лестнице, я вспоминаю, как неделю назад мне открыл Арье, стоявший в дверном проеме с таким видом, словно он тут живет, но сейчас вместо него передо мной стоит мама, и мне хочется сказать ей: «Съезжай-ка ты отсюда. Это больше не твоя квартира, а его».

— А ты разве не должна быть сейчас в университете? — удивленно спрашивает она.

— Да, я туда сейчас и иду. Просто забыла надеть пиджак, а на улице холодно.

Мама бросается к шкафу, достает из него старенький клетчатый пиджак, но затем недоверчиво выглядывает в окно, смотрит на сияющее в небе утреннее солнце и спрашивает:



— Ты уверена, что тебе не будет жарко?

— Не будет. На улице холодно.

Она пожимает плечами и предлагает мне выпить кофе.

— А я тут в центре города с вашим другом повстречалась, с Арье Эвеном, — говорю я как бы между прочим, когда мы приходим на кухню. — Он был с дочерью.

— Во-первых, он папин друг, а не «наш», — поправляет меня мама. — А во-вторых, дочери у него нет. У него вообще нет детей.

— Тогда это, наверно, была его жена, — забрасываю я еще один крючок, не подавая виду, что расстроилась. — Как она выглядит?

— Как постаревшая французская кокотка, — говорит мама с торжеством в голосе. — Я, правда, уже много лет ее не видела, но годы наверняка сделали свое.

Она даже не скрывает своего злорадства по поводу того, что старость пришла не только к ней, давно уже переставшей за собой следить, но и к этой изнеженной француженке.

— А почему у них нет детей? — спрашиваю я, вспоминая, как у меня в руках шевелилось его набухшее мужское достоинство.

— Проблемы, — односложно отвечает мама. — А почему тебя это интересует?

— Проблемы у нее или у него? — не отстаю я.

— У него. А тебе-то что за дело?

— На кофе уже нет времени, — говорю я ей в отместку, — скоро начинается приемный час. — И, взяв пиджак, ухожу.

\* \* \*

На улице уже совсем тепло. Я иду домой, и лицо у меня горит. Теперь я точно знаю, что это не его дочь и не его жена. Совершенно очевидно, что это его лю-

бовница! Тем более что они своих отношений и не скрывали.

Чем ближе я подхожу к своему дому, тем здания вокруг становятся все более серыми и старыми, а люди, наоборот, все более и более молодыми.

Навстречу мне идут молодые мамыши — кто с коляской, кто с ребенком на руках, — и я начинаю думать о бесплодии Арье. Я думаю о нем так сосредоточенно, что оно начинает казаться мне какой-то самостоятельной сущностью. Как будто Арье — сам по себе, а бесплодие — само по себе. Оно изогнутое, как месяц, колючее и полое. Арье состоит из плоти, а оно изнутри пустое, да еще и смеется над ним. «Ну, — дразнит оно его, — и чего, спрашивается, сто́ит этот твой чванливый, обитающий в черных трусах орган, если он неспособен сделать то, для чего предназначен?»

Придя домой, я, как больная, валюсь в постель, но не могу успокоиться и там. Меня мучает чувство какой-то тяжелой утраты, а изнутри грызет прожорливый зверь. Я смотрю на маленькое, занавешенное шторой окно и говорю себе: «Жди, жди, жди», — хотя понятия не имею, чего именно я должна ждать. Следующего приемного часа? Самого короткого дня в году? Самого длинного дня в году? Ждать, пока высохнет стирка, которую я развесила утром? Пока на улице похолодает?

Чувствуя, что больше ждать не могу, я снимаю трубку и набираю непрерывно звучащий у меня в голове номер Арье, но после десяти гудков решаю сдатьсь и снова лечь в постель, как тут вдруг он подходит к телефону. «Алло» у него какое-то странное, кокетливое (наверное, в парижском стиле), а голос — тяжелый и глухой.

— Разбудила?

— Нет, — говорит он, тяжело дыша, как будто я помешала ему что-то делать.

— Это Яара, — говорю я и прикусываю язык.

— Я понял, — отвечает он и замолкает.

— Я просто хотела сказать, что передала папе вашу просьбу, — лепечу я.

— Отлично, спасибо, — говорит он, и снова воцаряется молчание.

Что еще сказать, я не знаю, но мне страшно не хочется, чтоб он сейчас повесил трубку. Именно это я ему и говорю:

— Не вешайте трубку.

— Почему?

— Не знаю.

— Чего ты хочешь?

— Увидеться.

— Зачем?

— Не знаю, — повторяю я.

— Что-то ты слишком многого не знаешь, — смеется он.

Камень у меня с сердца сваливается, и я тоже смеюсь. Но он вдруг холодно говорит:

— Я сейчас занят.

— Ну, может, когда освободитесь?

Он долго молчит, а затем, внезапно передумав, говорит: «Ладно, приезжай через полчаса» — и, словно заказывая такси, диктует мне адрес.

В шкафу у меня нет ничего, что могло бы сравниться с впечатляющими желтыми бриджами «мундштука» и ее пиджаком медового цвета, и я ужасно жалею, что не купила платье, но в конце концов я надеваю облегающие брюки и черную вязаную кофту, закрепляю волосы позолоченным гребнем, подвожу черным карандашом глаза — это подчеркивает их голубизну — и остаюсь вполне довольна результатом.

Таксисту, судя по всему, результат тоже нравится, потому что, как только я сажусь в машину, он спрашивает:

— Замужем?

— Да, конечно.

Он вздыхает так тяжело, словно я разбила ему сердце, но быстро утешается и спрашивает:

— Давно?

— Давно. Почти пять лет.

— Ну, значит, пришло время для чего-нибудь новенького, — приободряется он.

— С какой это стати? Я люблю своего мужа.

Таксист смотрит на меня иронически, и я чувствую себя последней дурой. В самом деле, нашла время и место делать подобные заявления. Однако сейчас мне просто необходимо слышать чей-то голос.

— Можно любить двоих, — шепчет он, обдавая меня вонью изо рта. — Сердце, оно большое, — и показывает пальцем на свое, как бы еще раз давая понять, что я его разбила.

— У меня оно маленькое.

— Это тебе только кажется, что маленькое, — смеется он. — Ты даже не представляешь, насколько оно может увеличиться. Думаешь, только член способен увеличиваться?

Разговаривать с ним мне вдруг становится противно, и я начинаю смотреть в окно на улицы, которые мы проезжаем. Наконец, когда мы подъезжаем к небольшому ухоженному дому в самом конце одной из них, такси останавливается.

На прощанье таксист снова прикладывает руку к сердцу.

\* \* \*

Дом, как мехом, покрыт ползучими растениями, но, когда я подхожу ближе, то вижу, что в их густой листве копошится множество весело жужжащих пчел. Это знак, говорю я себе, знак, что отсюда надо бежать! Потому что у меня всегда было ощущение, что я принадлежу к категории людей, умирающих от пчелиных укусов. Знать этого, конечно, наверняка нельзя; узнать можно только экспериментальным путем; но тогда уже будет слишком поздно. Я начинаю пятиться, а затем поворачиваюсь к дому спиной.

Однако знакомый мне мир — все эти белые жилые дома с маленькими городскими палисадниками, потребляющими слишком много воды; деревья, названия которых я всегда забываю; квартиры, которые то зарастают грязью, то вычищаются; почтовые ящики, которые то наполняются, то опустошаются, — вся это огромная машина, которой не остановить никакому укусу пчелы, кажется мне вдруг страшно пресной, унылой и безнадежной без этого ухоженного дома, покрытого, как мехом, ползучими растениями, в листве которых копошатся пчелы. Поэтому я снова поворачиваюсь к дому лицом и решительно вхожу в подъезд. Однако Арье отнюдь не спешит впускать меня в свое логово. Лишь после того, как я звоню в дверь дважды, она наконец открывается, и он молча ведет меня в большую, очень ухоженную гостиную. Стены в ней увешаны картинами, а пол — покрыт ковром, и мне даже кажется, что пол — это отражение стен, а стены — отражение пола.

На Арье новые коричневые брюки и новая рубашка, но их новизна только подчеркивает его возраст, и он вдруг кажется мне старым. Старше папы. Его щеки и лоб покрывают глубокие, напоминающие шрамы, морщины, волосы уже скорее белые, чем серебристые, и скорее жидкие, чем густые, а под глазами, словно тучи, чернеют круги. Интересно, что только дома люди выглядят такими, какие они есть; на улице их лица как бы искусственно подсвечиваются. Но мне это даже нравится — что старость так расцарапала его своими страшными когтями. «Значит, — думаю я, сидя на светлом диване, — он вот-вот умрет (например, от инфаркта, причем не исключено даже, что на моих глазах) — и перестанет меня мучить».

В ожидании этого момента я начинаю бесстыдно разглядывать левый карман его рубашки, за которым (из последних уже, надо полагать, сил) бьется его усталое сердце, а заодно представляю себе и все прочие его красно-синие — как половые органы в



разрезах — внутренности. Они отвратительны, но в то же время в них есть что-то завораживающее, и они напоминают мне внутренности, которые я видела много лет назад, когда ходила с мамой по мясным лавкам. Разделочные доски, заваленные маленькими материальными остатками жизни, вызывали у меня не только тошноту, но и какую-то смутную, щемящую тоску, и я начинала тянуть маму за рукав, чтоб она меня оттуда увела.

Увлеченно наблюдая за тем, как карман Арье то вздымается, то опускается, я пытаюсь дышать с ним в такт, стараясь понять, насколько плохи его дела, и подсесть на его волну, чтоб поймать тот момент, когда он вздохнет в последний раз, но карман вдруг резко взмывает вверх и оказывается прямо передо мной.

— Что будешь пить? — спрашивает Арье.

— Я не хочу пить, — гордо заявляю я, чувствуя внезапное и радостное облегчение.

Да! Я не хочу ни пить, ни есть! Мне вообще от него ничего не надо! И меня совершенно не волнует ни кем приходится ему девица с мундштуком, ни чем они занимались, когда ушли из магазина! Какое мы вообще имеем друг к другу отношение?!

Я решительно встаю с удобного дивана. Нет, мы не имеем друг к другу решительно никакого отношения, и я обязана вернуться домой — к Йони и диссертации, которую должна сдать до конца года!

— Простите меня, — говорю я, стараясь, чтоб мой голос не дрожал, и чувствуя какое-то злорадство, — я не должна была сюда приходить. У вас — своя жизнь, а у меня — своя, и они никак не пересекаются, да и не обязаны пересекаться.

Он внимательно, хоть и без удивления, на меня смотрит и молча провожает до двери, но перед тем, как ее открыть, тихо, словно беседуя сам с собой, говорит:

— Странно. Я думал, ты из тех, кто просто обязан немедленно получить то, что хочет.

Скорее всего, его волнует не факт моего внезапно-го ухода, а то, что он меня неправильно понял, но я проглатываю наживку и спрашиваю:

— А чего я хочу?

Он снова, как и тогда, в магазине, берет мою руку и абсолютно естественно, с какой-то даже усталостью, кладет себе на ширинку.

— Ты ведь за этим сюда пришла, правда? — спрашивает он, сильно прижимая мою руку к своим чреслам, и добавляет: — Можешь уйти прямо сейчас, а можешь через несколько минут, после того, как его получишь.

Я смотрю на часы, делая вид, что проверяю, сколько у меня свободного времени, но от волнения не вижу цифр на циферблате.

— А что посоветуете вы? — спрашиваю я шепотом, потому что у меня неожиданно перехватывает горло.

— Решать тебе.

— Но чего хотите вы?

— Мне совершенно все равно. Это же ты ко мне пришла, а не я к тебе, — говорит он, но, несмотря на это, начинает медленно расстегивать коричневый ремень. Меня вдруг охватывает ужасная слабость, а ноги становятся как ватные и категорически отказываются куда-либо идти, однако идти мне, собственно, никуда и не приходится, потому что Арье вдруг разворачивает меня к себе спиной, стягивает с меня брюки, и, не дотрагиваясь до меня даже мизинцем, пригвозждает своим отвердевшим органом к двери. Я стою со спущенными до колен брюками и поднятыми вверх, как у военнопленного, руками, вцепившись в дверную вешалку, а он монотонно, резко, грубо и равнодушно спрашивает, вернее, не спрашивает, а скорее, информирует, и даже не информирует, а громко, на всю квартиру — словно хочет, чтоб его слова занесли в какой-то тайный протокол — объявляет: «Тебе хорошо, тебе хорошо, тебе хорошо».

Моя прозрачная, липкая, как слизь улитки, слюна стекает по двери, а ее древесные узоры рисуют на

моих щеках морщины, но тут вдруг его высокомерный орган из меня выскальзывает, проворно уползает в свою норку, и я слышу, как где-то там, у меня за спиной, его запирают на молнию.

С трудом ворочая затекшей шеей, я оборачиваюсь и смотрю на Арье, но по его виду сразу понимаю, что даже после случившегося мы с ним ближе не стали.

Его бесплодное семя течет у меня по ногам, и мне ужасно стыдно: я чувствую себя как девочка, которой приходится писать на людях, — однако ни салфетки, ни туалетной бумаги он мне не предлагает, а где находится туалет, я спросить стесняюсь. Да и идти туда со спущенными брюками мне не улыбается.

— Вот сейчас бы я как раз чего-нибудь выпила, — хрипло шепчу я, натягивая брюки и чувствуя, как трусы покорно впитывают остатки спермы.

— Что именно? — спрашивает он вежливо, но с таким неприятным, замкнутым выражением лица, словно за что-то на меня сердится.

— Кофе.

— Ты знаешь, вот-вот может прийти моя жена, так что давай ограничимся чем-нибудь попроще, — говорит он холодным светским тоном и уходит, однако вскоре возвращается и протягивает мне стакан апельсинового сока.

С трудом сдерживая ярость и глотая кисловатую жидкость нарочито медленно, чтоб протянуть время, я стою и думаю: «Мы же ведь теперь, по идее, должны сблизиться. Почему же он держится еще более отчужденно, чем раньше? Йони после секса всегда ко мне ластится, а этот даже доброго слова не сказал».

Наконец я допиваю сок и протягиваю пустой стакан Арье (который все это время смотрит на меня с таким нескрываемым нетерпением, как будто он хозяин магазина и ему хочется поскорей закрыться), а он проворно относит стакан на кухню, возвращается и повторяет:

— Вот-вот придет с работы моя жена.

— Да-да, я уже ухожу, — говорю я шепотом, стараясь держать себя в руках и пытаюсь выжать из его серых глаз хоть немного тепла. Но они остаются совершенно потухшими.

— А кто была та девушка с мундштуком? — не утерпев, спрашиваю я.

— Племянница моей жены, — отвечает он без запинки, как человек, которому нечего скрывать. — Из Парижа прилетела. А что?

— Да так, ничего.

— А-а, — говорит он, давая мне понять, что разговор закончен, распахивает передо мной дверь, которая все это время, оказывается, даже не была закрыта, и, мило улыбнувшись, добавляет: — Передавай своим привет.

— Спасибо, — говорю я.

Оказавшись на лестничной площадке, я слышу, как щелкает замок. Только теперь он счел нужным запереть дверь.

\* \* \*

Медленно, пошатываясь, как ребенок, делающий первые неуверенные шаги — хотя и не испытывая, в отличие от него, никакой радости, — я начинаю спускаться по узкой лестнице, и вдруг меня накрывает слепота. Она приходит внезапно, как пощечина. Полдень, светло — а я ничего не вижу. Совершенно забыв о пчелах, я в ужасе сажусь на ступеньки у подъезда, закрываю глаза, кладу голову на колени и чувствую, что тону. «Что ты наделала? Что ты делаешь? Что ты будешь делать? — бормочу я, словно нахожусь на уроке, где проходят спряжение глаголов. — Что ты наделала? Что ты будешь делать? Что ты делаешь?» Но тут возле дома останавливается и начинает сигналить машина. Наверно, это его жена вернулась с работы; зовет, чтоб помог ей с покупками. Пора уносить ноги. Однако, когда я пытаюсь встать, то чуть

не падаю. Тут вдруг какой-то человек протягивает мне руку.

— Проезжал вот тут мимо... Ну и решил посмотреть, не нужно ли подбросить тебя домой, — говорит он, и сквозь застилающую глаза пелену я вижу своего водителя такси. Я рада ему так, словно он мессия. — Что случилось? — спрашивает он, открывая дверцу машины и осторожно усаживая меня на сиденье.

— Я плохо себя чувствую.

— Всего полчаса назад ты чувствовала себя прекрасно, — говорит он и озабоченно цокает. — Такая женщина, как ты, не должна шляться где ни попадая. Тебе надо дома сидеть. Если кто-то тебя хочет, пусть сам к тебе и приходит.

И тут — от унижения — я начинаю рыдать.

Я рыдаю, раскачиваясь взад и вперед, как верующий во время молитвы, а водитель, не перестающий цокать, пытается меня утешить.

— Все будет хорошо, не переживай, — говорит он, а затем кладет мне руку на колено и, словно размышляя вслух, спрашивает: — А может, у тебя и впрямь сердце маленькое, а? Как у младенца. Ну ничего, не волнуйся, оно еще вырастет.

На руке у него толстый женский золотой браслет, блеск которого меня ослепляет, и я прикрываю свои израненные глаза. Но даже сквозь полузакрытые веки вижу, как под рубашкой у него все больше и больше разбухает сердце, подобно тому, как разбухает, наполняясь молоком, теплая, ласковая материнская грудь.

\* \* \*

В темной спальне, куда почти не проникает свет, я начинаю видеть немного лучше, но ощущение, что я тону, не проходит, и, чтобы успокоиться, я пробую перебраться на ту сторону кровати, где обычно спит Йони. Но у меня не получается. Как будто там вырос-



ла стена. Стена измены. У нас с ним всякое бывало: различия во взглядах, ссоры, обиды — но измены еще не было, и мне кажется, что кровать разделилась на две половинки. Я протягиваю руку на его сторону, но она натывается на стену, и я снова начинаю плакать. Что я наделала! Что я наделала! Ведь даже когда я его терпеть не могла и ненавидела нашу с ним жизнь, я и представить себе не могла, что изменю. Потому что общность нашей судьбы значила для меня даже больше, чем любовь, и измена ему казалась мне изменой судьбе. Да, иногда я мечтала о другой жизни, но мечтала о ней так, как мечтают о чуде, о чем-то, находящемся за пределами человеческих возможностей, мне неподвластном, а сейчас моя жизнь словно перевернулась с ног на голову. Перевернулась и бьет меня ногами, а я не знаю, как ее утихомирить. Я пытаюсь рассуждать, как в истории с котом Ширы: мол, всегда буду это отрицать и правда в конце концов отступит перед ложью — но сейчас меня это уже не утешает. Потому что кот Ширы умер, а Арье Эвен жив, и, пока он жив, будут жить моя измена, мое унижение и моя горькая, как поднимающийся изнутри бурый желудочный сок, любовь.

Да, отрицать это уже бессмысленно. Любовь.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Только еще один разок, всего только один разок. Чтобы стереть из памяти нашу предыдущую встречу, чтобы превратить мое унижение в победу. Потому что жить с воспоминанием о руках, поднятых вверх и вцепившихся в холодные металлические крючки вешалки, невозможно. И какая, в сущности, разница — изменить один раз или два? Ведь оба греха будут сидеть в одной и той же клетке. Да и вообще, если уж я это сделала, пусть у меня останутся, по крайней мере, сладкие, а не горькие и удушающие, как сейчас, воспоминания.

Я говорю это себе, проверяя контрольные студентов, листая книги в библиотеке, глядя по ночам на круглое лицо Йони, на его мягкую спину, но, когда, дрожа от волнения, наконец-то звоню Арье, он говорит:

— Давай оставим все как есть.

— Что значит «как есть»?

— «Как есть» значит «как есть».

— Но я обязана вас увидеть.

— Поверь мне, Яара, лучше оставить все как есть.

«Оставить все как есть»... Оставить все как есть означает ходить весь день с одной и той же лихорадочно долбящей тебя изнутри, извивающейся, умоляю-

щей мыслью в голове, с мыслью, которая, как заноза, застревает в мозгу и отказывается уходить. На короткое время она куда-то прячется, и тогда я облегченно вздыхаю, но тут она снова, с бешеной силой — как сквозняк, как неожиданно проснувшийся мокрый, голодный, распахивающий окна и издевательски дышащий в затылок зимний ветер — набрасывается на меня.

— Ты же вроде раньше зиму любила, — удивляется Йони.

— А теперь я ее ненавижу, — злюсь я. — Мне что, даже измениться нельзя? Всегда должна быть одинаковой? Какой была в двадцать лет, такой и оставаться? До самой смерти?

— Но ты же меня раньше любила, любила, любила... — говорят его глаза.

\* \* \*

Как же мне снова увидеть Арье? Мне кажется, если я увижу его снова, то смогу от него освободиться, и я брожу по тем местам, где его можно встретить: заглядываю в магазин одежды в центре города (на манекене уже толстый шерстяной свитер), несколько раз поднимаюсь по лестнице в доме родителей...

Я вхожу в их полутемную гостиную и вспоминаю, как он, вольготно развалившись, пуская клубы дыма и абсолютно естественно сидел в большом кресле так, словно принимал в гостях моего сторбленного, боязливого папу.

Как это было здорово повстречаться с ним тогда, в магазине. Случайно, не прилагая никаких усилий, ничего не планируя. Однако сейчас это кажется мне чем-то невообразимым и несбыточным. Нет, он больше никогда не будет расхаживать перед зеркалом, с удовлетворением осматривая свой зад, и никогда не поднимется по этим мокрым ступенькам.

Как-то ночью мне кажется, что выход найден, и я испытываю нечто похожее на счастье. Я вдруг по-

нимаю, что главную роль в этой истории должен сыграть мой папа. Причем это даже не потребует от него особых усилий. Все, что ему надо сделать, — это перестать жить. В смысле — умереть. Потому что, если он умрет, Арье обязательно придет на похороны, а если он придет на похороны, я буду плакать у него на плече. Я прижмусь к нему так, словно он мой новый отец, и он не сможет меня оттолкнуть. Осталось только узнать, что скажет на это папа; все зависит теперь от него. Завтра утром я приду к нему и скажу: «Пап, настал момент истины. Насколько тебе важно мое счастье?» И может быть, добавлю: «Я поняла, что на данном этапе моей жизни и при сложившихся обстоятельствах твоя смерть поможет мне гораздо больше, чем твоя жизнь. А если тебя это огорчает, то знай: бывают ситуации и похуже. Например, у меня есть подруги, которых даже смерть родителей уже не спасет. Представляешь, как плохи их дела?» Папе уже под шестьдесят, и я понятия не имею, насколько дорога ему жизнь, насколько он за нее цепляется. Может, ему уже все равно. Он много говорит о прошлом — только и делает, в сущности, что говорит о прошлом, — но очень редко говорит о будущем. Никаких особых планов на будущее, насколько я знаю, у него нет. А если даже и есть... Планы ведь на то и существуют, чтоб их отменять.

Однако то, что представляется нормальным ночью, днем кажется диким, и наоборот. Стоит мне на следующий день увидеть папино озабоченное, с тонкими чертами, лицо, как я сразу передумываю. Нет, не хочу, чтоб он умирал. Пусть это будет неизлечимая — причем, разумеется, инсценированная — болезнь. Она напугает его друзей, и они будут часто его навещать, а я буду играть роль преданной дочери, на плечах у которой вся семья. И когда Арье наконец-то придет — а он наверняка в конце концов придет, — я ему скажу: «Папа про вас спрашивал, хотел видеть». Услышав, что я говорю в прошедшем времени,

он испугается и спросит: «Я опоздал?» А я его успокою: «Нет, пока еще нет».

— Ну, и как там этот твой друг, Арье Эвен? — спрашиваю я папу.

— Нормально. Я как раз вчера с ним разговаривал.

— Может, пригласите его с женой на ужин? — предлагаю я,

— Ага, — орет мама из кухни, — только его мне здесь и не хватало! Этого надутого индюка!

— Как ты смеешь так говорить о моем лучшем друге?! — вскипает папа.

— Если он такой хороший друг, — выскакивает из кухни с перекошенным лицом мама, — где же он тогда все эти годы был? Почему не поддерживал отношения?

— Вечно ты со своим мелочными придирками, — кричит папа. — Я с друзьями счетов не свожу.

— Потому что ты в лучшем случае наивный, а в худшем — идиот.

Они так увлекаются этой своей очередной перебранкой, что даже не замечают, как я уйду.

\* \* \*

Я иду и внимательно, не пропуская ни одной мелочи, изучаю все, что вижу вокруг. Я подсчитываю, сколько шагов, светофоров, мини-маркетов, овощных лавок, аптек и дорожных переходов отделяют меня от Арье, и в голове у меня постепенно вырисовывается карта, на которой отмечены расстояния от одной точки до другой. Город живет своей обычной жизнью, но мне кажется, что я попала в какой-то другой, совершенно новый для меня мир. Никогда еще я так не воспринимала нарисованные фосфорными красками полосы дорожных переходов, плюющиеся огнем светофоры и обдающие меня мощным горячим дыханием мини-маркеты, которые вдруг кажутся мне какими-то таинственными и исполненными глубокого смысла.



Даже иду я как-то по-новому. Раньше я не знала, что значит идти, когда ноги преследуют друг друга, словно хищные звери, и теперь это меня поражает, кажется каким-то чудом. Я чувствую себя скульптурой, которая ожила и пошла.

\* \* \*

Я стою перед дверью Арье и смотрю на светлую прямоугольную табличку с его фамилией, располагающуюся примерно там, где в прошлый раз — по другую сторону двери — находился мой лоб, и мне кажется, что тогда я даже чувствовала уколы шурупов, которыми эта табличка привинчена. А вдруг мои стоны впитались в деревянную дверь и стали ее неотъемлемой частью? Что, если жена Арье их слышит и они тревожат ее слух? Я даже не знаю, ненавижу я ее или жалею. Да, он ей изменяет. Но ведь она может видеть его, когда захочет; ей не надо, стораая от стыда, стоять у двери и придумывать, как объяснить свой приход.

Впрочем, мне тоже ничего объяснять не приходится, потому что на этот раз лицо у него приветливое. Кажется даже, что он рад меня видеть.

— Я должен тебе кофе, правда? — говорит он, и я киваю так восторженно, словно он предложил мне божественной амброзии.

— Не люблю быть в долгу, — объявляет он и идет на кухню.

Вслед за ним туда плетусь и я.

Кухня у него роскошная и ослепительно чистая; непонятно даже, почему при таком слабом зимнем освещении она выглядит настолько светлой.

Настроение у Арье приподнятое, а я недоумеваю. Если он действительно рад меня видеть, то почему тогда пытался меня прогнать? Почему сказал «Давай оставим все как есть»? Хотел проверить мою решимость? Силу моего желания? И вот теперь, когда я выдержала экзамен, он мной доволен? Гордится мной, словно он мой учитель, а я его ученица-отличница?

Он наливает мне кофе в полупрозрачную голубую чашку, пропускающую солнечный свет, зевает и говорит:

— Смертельно устал. Рано утром вернулся из-за границы.

— Правда? — удивляюсь я. — А где вы были?

— Главным образом во Франции.

— Путешествовали?

— Какое там, — смеется он. — Работал.

— А какая у вас работа? — спрашиваю я, вспомнив, как мама говорила, что он вроде бы занимается чем-то секретным, связанным с обороной.

— Физическая и немножко мозговая, — снова смеется он и показывает на свою мокрую седую голову (видимо, только что вышел из душа), после чего опять зевает.

Однако зевки у него какие-то преувеличенные, нарочитые, и мне кажется, что про границу он все выдумал. Ведь папа сказал, что вчера с ним разговаривал. Наверно, Арье просто неприятно, что я застала его дома бездельничающим и спящим допоздна.

— А от папы какие-нибудь новости есть? — не удержавшись, спрашиваю я.

— Нет, пока еще нет. Надо бы ему и в самом деле сегодня звякнуть. Может, у него уже есть для меня ответ.

Что все это значит? Кто-то из них явно врет. Интересно, у кого более убедительная причина для вранья? Арье хочет доказать, что действительно ездил за границу, а папа хочет позлить маму: пусть, мол, знает, что они общаются. Кому же из них верить?

Тем временем Арье, словно желая подкрепить свою версию доказательствами, достает из шкафа коробку шоколадных конфет с наклейкой из дыти-фри и начинает деловито снимать обертку.

— Ну и как там было? — спрашиваю я.

— Тяжело, — говорит он, сделав серьезное и важное лицо, и я снова думаю, что у себя дома он почему-

то выглядит менее привлекательным. Он напоминает мне сейчас прирученного леопарда.

Налив себе кофе и сев напротив меня, он любезно, как и положено хозяину, принимающему гостей, улыбается, отпивает из своей чашки, с наслаждением выдыхает «Ах, как хорошо!» (во время нашего соития он, судя по всему, такого удовольствия не испытывал) и закуривает. Вокруг начинают плясать клубы дыма. Видя эту его неожиданную приветливость, я расслабляюсь, но по-прежнему смотрю на него с недоверием и, жуя горьковатые шоколадные конфеты, думаю о том, что между нами как не было, так и нет никакой близости. Его тело остается для меня совершенно чужим и загадочным, и, даже несмотря на его приветливость, мы по-прежнему посторонние. Как будто между нами ничего не произошло, ничего вообще. Более того, кажется даже, что больше никогда и не произойдет и я больше никогда не почувствую, как его естество властно в меня вторгается. Да, в тот день это было не слишком приятно — отрицать не стану, — но все равно волновало.

— Расскажи что-нибудь, — просит он.

— Да нечего, в сущности, рассказывать, — смущаюсь я.

И в самом деле. О чем мне рассказывать совершенно чужому для меня человеку? Что у нас с ним общего? Я понятия не имею, с чего начать.

— Ну, расскажи, например, как ты прожила последние две недели.

Я вспоминаю эти невыносимые, полные томительных страхов, мук унижения, угрызений совести и вспышек страсти дни, и они кажутся мне сейчас каким-то непрерывным, бессмысленным кошмаром. Словно это была болезнь, которой стыдишься, когда выздоравливаешь.

— Тяжело, — говорю я, употребив использованное им применительно к своей поездке слово, и в подражание ему тоже состраиваю серьезную и значительную мину.

— Почему тяжело? — спрашивает он с таким видом, словно не имеет к этому никакого отношения.

— Вы знаете почему, — говорю я, чувствуя, что он к чему-то клонит.

Да, он расспрашивает меня явно неслучайно. И встретил меня сегодня приветливо тоже неслучайно.

— Понятия не имею, — говорит он.

— Потому что я вас хотела, — шепчу я.

— Меня? — улыбается он с нарочитым удивлением. — Правда?

— Да, вас.

Я не знаю, как выразить это словами — и на его ослепительно чистой кухне мои слова все равно прозвучали бы глупо — поэтому повторяю:

— Мне было тяжело.

— Но почему?

— Потому что я вас люблю, — шепчу я.

Мне стыдно, что я сказала эту избитую фразу, но он улыбается — как учитель, которому удалось-таки добиться от ученицы правильного ответа — и спрашивает:

— Почему? За что ты меня любишь?

«А в самом деле, — думаю я со странным чувством, что именно ради этого вопроса он весь этот разговор и затеял. — За что я его люблю? Ведь я его совсем не знаю. За что же мне его любить?» Однако раз уж я это сказала, надо отвечать — тем более что он, как мне кажется, ждет ответа с большим нетерпением.

— Не знаю, — бормочу я, прервав наконец-то свое затянувшееся неловкое молчание. — Я не знаю, за что конкретно вас люблю. Я знаю только, что люблю.

— Как же ты тогда можешь меня любить? — спрашивает он разочарованно и с ноткой недовольства в голосе. — Значит, это было просто голословное заявление?

— Нет-нет, — протестую я, чувствуя, что запутываюсь, — я просто вас недостаточно знаю. Но ведь когда любишь, какие-то вещи знаешь интуитивно, правда?

Честно говоря, на какое-то мгновение мне и самой кажется, что я бросаюсь пустыми заявлениями. О какой любви я говорю? Какая, к черту, любовь?! Но тут, словно в отместку за так и не полученный от меня ответ, он говорит:

— Мне нужно идти.

— Не надо! Не уходите! — истерично кричу я, чувствуя, что, если он сейчас уйдет, мир снова рухнет, а он приосанивается и назидательно говорит:

— Видишь ли, Яара, ты ведешь себя неосмотрительно. Мало того что ты делаешь голословные заявления, так еще и собираешься натворить нечто такое, к чему морально не готова. В настоящей, а не выдуманной жизни людям и в самом деле приходится принимать трудные решения, но ты на это неспособна. Так что мой тебе совет: продолжай-ка ты жить той жизнью, которой живешь, и не позволяй каждому препятствию сбивать себя с правильного пути.

— Но как узнать, где препятствие, а где правильный путь? — спрашиваю я, задыхаясь от желания доказать ему свою моральную готовность и решимость.

— Мне кажется, это знают все. Я думаю, каждый, кто собирается совершить ошибку, знает это заранее, просто не может остановиться, и потом сам этому удивляется. Только не факту совершения ошибки, а ее масштабу.

Эта нравоучительная проповедь не мешает, однако, его смуглой руке с длинными пальцами расположиться на моем бедре. Не решаясь погладить кисть его руки, я начинаю гладить его длинные пальцы каждый по отдельности, а затем направляю его руку себе под юбку, однако, так и не дойдя до того места, куда бы мне хотелось, чтоб она пришла, рука останавливается. Тем не менее она очень близко, и я с замиранием сердца жду, когда его пальцы перестанут наконец-то колебаться и распахнут дверь моего тела; от сильного волнения я даже не могу больше пить кофе. Но тут он вдруг выдергивает руку, как будто под юбкой его кто-то укусил, и демонстративно смо-



трет на свои огромные черные часы. Цифр на циферблате нет, а стрелки — прозрачные, так что понять, который час, невозможно, однако совершенно ясно, что ничего хорошего мне уже не светит.

— Мне пора, я опаздываю, — говорит он и резко встает со стула, но я никак не могу его сейчас отпустить и начинаю лихорадочно соображать, как его задержать. «Мне надо в туалет», — объявляю я наконец, и он, явно теряя терпение, показывает мне, куда идти.

Какое-то время я — в полном одеянии — сижу на унитазах, размышляя о том, как удержать Арье и установить над ним контроль, а затем, подойдя к раковине с висящим над ней зеркалом, начинаю мыть руки, и вдруг вижу, что вместе с водой в отверстие утекает прямой тонкий красный волос, но, к счастью, буквально за секунду до того, как он исчезает, мне удастся его схватить и рассмотреть. Никаких сомнений в том, с чьей головой он расстался, быть не может. Перед глазами у меня — словно возникнув из висящего на стене зеркала — всплывает аккуратное, ухоженное каре. Я с беспокойством смотрю на ванну: у меня такое ощущение, что загадочная племянница жены Арье вот-вот оттуда выскочит — и действительно, на стенке ванны я нахожу еще один волос, на этот раз темный и вьющийся, из паха. Что все это значит? Она здесь живет, что ли? С Арье и его женой? То есть она действительно родственница? На какое-то время эта мысль меня успокаивает, но я чувствую: что-то здесь не так. В конце концов я вырываю из головы волос, кладу его в знак протеста в раковину вместе с ее, потом кладу еще один в ванну — чтоб и второй (кстати, на удивление похожий на мой) волос в одиночестве не оставлять, — а затем возвращаюсь к Арье, который уже не выглядит таким озабоченным.

— Мне позвонили и сказали, что встреча отменяется, — сообщает он. — Так что у меня есть еще несколько минут.

Мне становится жалко, что я потратила так много драгоценного времени на туалет, однако тот факт, что я не слышала телефонного звонка, меня несколько озадачивает.

Кофе в голубой чашке уже остыл. Сидя возле него, я тоскливо смотрю на холодное, замкнутое лицо Арье и думаю, что делать.

— А чего ты, собственно, хочешь? — неожиданно спрашивает он.

— А вы? — уныло спрашиваю я. — Разве у вас нет никаких желаний?

— Есть. У меня тоже есть желания. Но сейчас мы с тобой в совершенно разной ситуации. Ты страшно голодна — а я очень сыт.

Я перестаю жевать круглую шоколадную конфету, собираясь ему возразить, и вдруг понимаю, что он прав. Да, меня терзает голод, именно голод; это слово подходит в данном случае гораздо лучше, чем более изысканное слово «страсть». Потому что тот, кто голоден, ест все подряд.

Видя, что Арье разглядывает свои ухоженные ногти, я тоже начинаю смотреть на его руки. Как же сделать так, чтоб они ко мне вернулись? И тут вдруг он холодным официальным тоном говорит:

— Сегодня я с тобой спать не буду.

— Почему?! — опешиваю я.

— Потому что сегодня я уже с женщиной спал, — говорит он с таким серьезным и суровым выражением лица, словно информирует меня, что мясо он уже сегодня ел, а есть его два раза в день врач ему не позволяет.

— И что?

— Я не сплю с разными женщинами в один и тот же день; у меня такое правило.

Мне кажется, что он шутит, и я жду, что он вот-вот громко и весело рассмеется, но смеяться он, судя по всему, не собирается, и в конце концов, не выдержав, начинаю смеяться я. Правда, не очень громко и не слишком весело.

— Что в этом смешного? — спрашивает он.

— Нет-нет, ничего, — говорю я, пытаюсь перестать смеяться, потому что смешного в этом и впрямь ничего нет, скорей наоборот. — То есть я так понимаю, к вам надо приходиться спозаранку, да? Кто рано встает, тому Бог подает? Или, может, лучше договариваться о встрече заранее? Или как?

— Давай оставим все как есть, — холодно говорит он, морщась от моего насмешливого тона. — Я просто хотел избавить тебя от отрицательных эмоций.

Однако у меня вдруг пропадает всякое желание отказываться от отрицательных эмоций, и меня разбавляет азарт: мне страшно хочется нарушить это его неколебимое правило.

— У каждого правила есть исключение, — говорю я.

— Да, я про это слышал, — говорит он, глядя на меня потухшими глазами, и я пытаюсь представить себе, как они горели, когда он спал с «мундштуком». Ведь она вполне может быть и племянницей жены, и любовницей; одно другому не мешает. Или, может, он и с ней был потухшим и холодным, как со мной?

Тем временем он подходит к вешалке, снимает с нее черное пальто, упаковывает себя в него столь же тщательно, как упаковывают дорогую посуду, и — как бы между прочим — говорит:

— Завтра утром я буду свободен.

— В котором часу? — спрашиваю я жадно, как собака, которой бросили кость.

— Освобожусь в районе девяти, — говорит он, открывая дверь и делая мне знак следовать за ним.

\* \* \*

«Что я буду делать до завтра, до девяти утра?» — думала я, когда мы расставались, но время, как ни странно, летит быстро. Шира, правда, сегодня занята — или, может, просто сказала, что занята, чтоб от меня отвязаться (с тех пор, как пропал ее кот, она во-

обще держится отчужденно) — но я не расстраиваюсь и начинаю делать уборку. Включаю музыку, кладу руки на жесткую спину метлы и начинаю с ней танцевать. Настроение у меня праздничное: наконец-то мне есть чего ждать, но думать о том, что будет потом — завтра, в двенадцать часов дня, или завтра в такое же время, как сейчас, — мне страшно, и я стараюсь думать только об уборке.

Когда Йони приходит домой, он радостно и недоверчиво оглядывается вокруг — как человек, который не в силах поверить свалившемуся на него счастью, — и мне ужасно приятно видеть, как он радуется тому, что я снова начала заниматься домашними делами. Я даже испытываю некоторую гордость.

— У тебя такой вид, словно ты болела и выздоровела.

— Да, именно так я себя и чувствую.

— А то я, кротенок, совсем уж было отчаялся. Совершенно не понимал, что с тобой происходит.

Он обнимает меня, но тут же отстраняется, опасаясь, что я рассержусь.

— Сейчас мне, крысенок, уже гораздо лучше, — говорю я, прижимаясь к нему. — Прости, если я тебя обидела.

— Проси прощения у себя, а не у меня, потому что в первую очередь ты навредила самой себе.

— Ты прав, — говорю я и вспоминаю, как старалась его вначале любить.

Я думала о нем тогда с такой одержимостью, с какой скорбящий человек думает об умершем, не позволяя себе думать ни о чем радостном. И вот теперь моя любовь к нему возвращается. Она возвращается, как возвращается домой пропахшая пугающими запахами большого мира, не уверенная, что ей рады, пропавшая кошка, и я встречаю ее со счастливым удивлением. Как он был прав, тот водитель такси! Да, можно любить двоих! И даже легче любить двоих! Потому что тогда в душе наступает равновесие: две

любви друг друга дополняют. И это совсем не страшно. Почему мне это раньше в голову не приходило?

Меня ужасно волнует то, что ожидает меня завтра, и из-за этого мне кажется, что Йони волнует меня тоже.

— А давай куда-нибудь сходим? — мяукаю я ему на ухо, сядя на колени и целуя в шею. — Надоело все время дома сидеть.

— Именно сейчас, когда в доме чисто? — смеется он. — А по-моему, именно сейчас-то как раз стоило бы дома посидеть.

— Не волнуйся. Пока нас не будет, ничто не запачется, — говорю я, беру его за руку и веду к выходу.

\* \* \*

Мы идем с ним вверх по центральной улице, и я вижу, что у самого перекрестка открылась новая кафешка.

— А давай пригласим Ширу посидеть с нами в кафе, — предлагаю я, когда мы доходим до ее переулка и останавливаемся на том самом месте, где я слышала в тот день глухой и душераздирающий звук удара.

Сначала Йони от этой идеи не в восторге, но в конце концов соглашается.

Шира открывает нам дверь с унылой физиономией.

— Нет, — говорит она, — абсолютно никакого желания никуда идти. Да и холодно на улице, а я простужена. Кстати, я думала, ты болеешь. Видела сегодня в университетском кафетерии Нету, и она сказала, что ты снова не пришла на свой приемный час.

— Черт! — хлопаю я себя по лбу. — Как же я могла забыть, что сегодня среда?! — А про себя думаю: «Господи, да что же это со мной творится? Как будто на свете уже ничего, кроме Арье, не существует! Не видать мне теперь места на кафедре, как собственных ушей».



Свободная ставка на кафедре появляется только раз в несколько лет, и теперь она точно достанется не мне, а Нете.

Увидев, как я разнервничалась, Шира, похоже, испытывает глубокое удовлетворение. Наверно, это ее маленькая месть. После того вечера она меня вообще не слишком жалует.

— Ну, — не удержавшись, спрашиваю я, — как там Тулья? Вернулся?

— Нет еще.

— Наверно, у него течка, — успокаивает ее Йони. — Коты во время течки всегда пропадают. Однако потом возвращаются.

— Но сейчас не сезон течки, — возражает Шира.

— Как раз-таки он самый, — говорю я. — Я вижу на улицах много возбужденных кошек. Это даже в воздухе чувствуется.

— Я ничего не чувствую, — равнодушно пожимает плечами Шира, прислоняясь к дверному косяку. — И вообще, вы мне всю квартиру выстудите. Решайте уже: вы заходите или уходите?

— Уходим, — говорю я.

— А может... — пытается уговорить ее Йони. — Может, ты все-таки с нами пойдешь?

И меня вдруг берет злость. Ну почему, почему он такой бесхарактерный? Сначала не хотел, чтоб она с нами шла, теперь вдруг хочет... Но у Ширы, в отличие от него, характер есть.

— Нет, — говорит она, — не пойду. Как-нибудь в другой раз.

\* \* \*

Когда мы снова выходим к дороге, на душе у меня муторно. Я больше не чувствую себя счастливой, как прежде. «Счастливой», впрочем, слово неточное. Скорее, я ощущала не счастье, а целостность — редкостную целостность, сгладившую обозначившийся в моей жизни конфликт. С одной стороны, я люблю Йони, а с другой — меня тянет к утрюмому пожило-

му мужчине, но еще недавно, вместо того чтобы ощущать себя разорванной на части, я чувствовала, что две мои половинки срослись в единое целое. Однако строгий взгляд Ширы и мысль о пропущенном приемном часе снова вывели меня из равновесия.

Йони, по-видимому, чувствует, что отпущенное ему время кончилось, и начинает нервничать. Когда мы приходим в кафе и садимся за круглый столик, он начинает барабанить своими толстыми пальцами по поверхности и раздраженно качает ногой.

Мы заказываем луковый суп, и я пытаюсь успокоиться: мне хочется вернуть утраченное ощущение целостности. Однако вернуть его уже невозможно: целостность нарушилась, и я снова раскололась надвое. Все, решаю я, завтра встречаюсь с Арье в последний раз и начинаю работать над диссертацией!

— Слушай, а что у тебя было с Широй? — спрашиваю я Йони в который раз.

— Ничего.

— Почему же она всегда смотрит на тебя с такой тоской?

— Не знаю. У нас с ней правда ничего не было. Просто дружили. Как брат и сестра.

Мне вдруг становится так грустно, что даже схватывает живот. Потому что мы с Йони тоже превратились в брата и сестру, и с этим уже ничего не поделаешь. Да, он все еще способен меня взволновать, но только на короткий миг и исключительно благодаря тому, что меня волнует угрюмый пожилой дядька.

Я беру его руку, кладу себе на колени — туда, где еще недавно гуляла совсем другая, смуглая и безволосая, рука — и заталкиваю под юбку, но Йони продолжает нервно барабанить и там. Моя юбка то вздымается, то опускается, как будто под ней скачут кузнечики, и, лишь когда нам приносят суп, он наконец-то прекращает барабанить, вытаскивает руку из-под стола, с нескрываемым облегчением хватается за ложку и начинает жадно есть.

Музыка такая громкая, что говорить трудно, и мы едим молча, макая хлеб в острый суп.

В самом начале нашего знакомства я испытывала постоянную радость и воспринимала ее как подарок, но очень быстро оказалось, что подарок мне не подходит, и меня это стало тяготить. Однако когда я это поняла, менять подарок было поздно. К тому же я знала, что другого такого подарка уже больше никогда не получу.

— Что новенького на работе? — спрашиваю я Йони (который трудится в компьютерной фирме своего отца), и он рассказывает, что они работают сейчас над новой программой.

— Она произвела на заказчиков хорошее впечатление, и есть шанс ее продать, — говорит он и просит официанта уменьшить громкость музыки, потому что мы почти друг друга не слышим.

— Хорошо, — говорит официант, — нет никаких проблем, — но не только ничего не уменьшает, а, наоборот, увеличивает.

Йони просит его еще раз, и официант, сделав вид, что слышит эту просьбу впервые, снова говорит: «Хорошо, нет никаких проблем», но опять не уменьшает звук.

Тогда Йони покорно вздыхает и больше уже не просит. Он вообще предпочитает избегать конфликтов и, как правило, пока это в его силах, молча терпит.

— Пошли отсюда, — говорю я, но наш демарш ни на кого никакого впечатления не производит. Тотчас же откуда-то выскакивают двое парней и усаживают-ся на наше место.

\* \* \*

Домой мы идем держась за руки. Затянутое толстым слоем облаков небо висит так низко, что щекочет нам макушки, как будто это не небо, а хупа\*, которую дер-

---

\*Хупа — ритуальный балдахин, под которым совершается еврейский обряд бракосочетания (*иер.*).

жат четыре усталых низкорослых человека, и, может быть, именно поэтому ночью, не в силах заснуть, я начинаю думать о своем усталом, низкорослом папе.

Когда-то давно он казался мне высоким, но потом вдруг уменьшился, как будто его разрезали надвое, причем одна половинка осталась у нас, а вторую он взял себе. Я пытаюсь представить себе его на фоне низких гор, которые можно было видеть из нашего района — района, где прошла моя первая жизнь. Эти горы были слишком низкими и лишенными амбиций. Почему он тогда казался мне высоким, а сейчас такой низенький? Вряд ли это потому, что тогда я была девочкой, а сейчас женщина. Мне никогда не удавалось поделить свою жизнь на детство и взрослость: я и сейчас еще девочка, как и тогда. Поэтому я предпочитаю делить свою жизнь на первую и вторую. Между ними нет никакой связи, и в каждой из них я одновременно и девочка, и взрослая. А может быть, папа поделился не только надвое, но и натрое? Или даже на четыре части? Может, именно это и надо делать, чтоб успешно прожить жизнь? Поделиться на несколько частей?

Чем больше я думаю о папе, тем труднее мне заснуть. Я испытываю к нему какую-то застарелую, даже самой мне не очень понятную жалость, и мне вдруг вспоминается история об одной студентке. Я читала про нее когда-то в газете. Эта студентка работала в отеле эскортницей, и однажды к ней, в качестве клиента, пришел ее отец. «Кто из них несчастнее, он или она?» — подумала я тогда. Йони, помнится, сказал, что оба, но его ответ меня не устроил. Мне нужно было обязательно знать, кто больше. Кому из них я должна отдать свою жалость? Кроме того, поскольку она была студенткой, я стала подозревать всех девушек, с которыми училась, в том, что эта статья про них. Даже Нету одно время подозревала, пока не узнала, что у нее нет отца.

Я снова начинаю думать о прошлом своего папы, о том периоде его жизни, когда я еще не родилась.

Что в нем было такого особенного? По словам папы, оно было настолько замечательным, совершенным и потрясающим, что практически ничего, кроме этого прошлого, его не интересует: только пейзажи детства, друзья юности, учеба в университете и съемные квартиры. С этим великолепным прошлым просто невозможно конкурировать. Однако я, к своему несчастью, быть его частью не могу. Я могу быть только частью серого и разочаровывающего настоящего. Завтра — в девять утра или в пять минут десятого — я расспрошу об этом Арье Эвена. Об этом прекрасном и светлом прошлом моего низкорослого, усталого отца.

Но когда наступает завтра, из этого ничего не выходит. Потому что лежа на роскошном диване в гостиной Арье (вернее, на жестком узком полотенце, которое он предусмотрительно подложил мне под зад, обозначив тем самым границы моей свободы передвижения) я об этом совершенно забываю и вспоминаю только через несколько недель, по дороге в Яффо\*.

---

\*Яффо — живописный район Тель-Авива.



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В зеркале над раковиной, в которую я демонстративно положила свой длинный толстый волос, я выглядела бледной, чуть не анемичной, но сейчас, возле вешалок в магазине, вся сияю. Щеки у меня разругались, а глаза сверкают от возбуждения и злости. Это моя ему месть! Месть за отчужденность, холодность и неразговорчивость. Потому что сегодня утром он почти со мной не говорил, только кашлял мне в лицо. Этим своим застарелым, рефлекторным, безнадежным кашлем старого курильщика.

К моей радости, предыдущей продавщицы в магазине нет (вместо нее работает молоденькая девушка, с трудом справляющаяся со своими обязанностями), и, роясь в платьях, висящих на вешалках, я думаю: «Если оно окажется здесь, это будет знак». И да! Оно — мое винного цвета платье — там действительно висит. Когда-то его все ужасно хотели, но сейчас на него желающих нет.

Я иду с ним в узкую примерочную, и — в точности, как утром — мое тело пронизывает острое волнение. Когда я увидела равнодушное лицо Арье, мое волнение — подобно животному, которое пнули ногой, — уползло и спряталось, но теперь оно вылезло снова. Когда оно остается со мной наедине, то ничего не боится.

Пока я раздеваюсь, от меня исходит смолистый запах тела Арье, аромат его дорогого лосьона после

бритья и странный, отталкивающий запах его бесплодного семени, но, как только надеваю красивое бархатное платье, все эти запахи разом исчезают. Я знаю, что платье красивое, — знаю это, несмотря на то что в крошечной кабинке, когда-то вместившей нас обоих, нет зеркала, — и с ностальгической тоской вспоминаю сосредоточенный, до боли пронзительный взгляд Арье, которым он тогда на меня смотрел. Не то что сегодняшний, чужой и холодный, с которым он встретил меня у входа. Что это тогда было? Почему он смотрел на меня в кабинке так пронзительно? Потому что неподалеку находилась девица, с красными волосами которой я так отчаянно воюю?

Поверх платья я натягиваю синий свитер и широкие джинсы, под которыми платье не видно, и, выходя из кабинки, чувствую, как меня пробирает дрожь — от нервного напряжения и удовольствия одновременно, — но вместо того, чтоб сразу оттуда бежать, начинаю, растягивая наслаждение, шляться по магазину и рыться в развешанной на вешалках одежде. В точности, как тогда — еще в первой моей жизни, — когда умер мамин грудной ребенок и я бродила с ней по наводящим уныние улицам нашего района. «Чем мне тебя утешить?» — спрашивала я ее, а она смотрела на меня своими безумными от горя глазами и молчала. Однажды мы проходили мимо витрины, на которой было выставлено платье с вышивкой, из тех, что она любила. «Может, хоть это платье тебя утешит?» — спросила я и зашла в магазин. Мама осталась ждать меня на улице, на лавочке, а я, как сегодня, надела платье под одежду. Мне было тогда лет десять, но я была очень высокой. После этого я немного покрутилась по магазину — специально, чтоб пережить остроту момента сполна, — а затем вышла, сунула маме руку и мы, хохоча как сумасшедшие, бросились бежать. Рукава платья торчали у меня из-под пальто, и я спросила: «Мам, тебя это утешает?» Она ничего не ответила — ни «да», ни «нет», — но

вечером, чтоб сделать мне приятное, надела платье, и мы в обнимку гуляли с ней по улицам.

С тех пор, каждый раз, когда я видела, что ей грустно, я делала ей сюрпризы: возвращалась домой возбужденная и вываливала содержимое сумки на кровать в своей комнате. Только чтоб увидеть, как она смеется, посмеяться вместе с ней, почувствовать, что она все еще жива...

Когда все это кончилось? Может, когда я увидела, что ее это больше не смешит? Я продолжала натаскивать в свою комнату одежды, побрякушки, книжки, но мама вдруг сделалась толстой и противной, стала носить уродливую одежду и выбросила все свои украшения. Меня это в конце концов тоже заводит перестало — стало казаться слишком легким, — но теперь, много лет спустя, это заводит меня опять, и когда я, улыбнувшись новой продавщице, направляюсь к выходу, то в самый напряженный момент, уже на пороге, думаю: «Так ему и надо! Так ему и надо!»

Настроение у меня улучшается, и на смену горечи разочарования приходит ощущение маленькой победы. Да, эта победа является только моей — личной и тайной — победой, но для меня она — предвестница другой, более важной, победы, которая — я в это верю — еще придет: любви Арье.

Украденное платье обнимает меня, как заботливые материнские руки, и защищает, как броня — броня, под защитой которой я отправляюсь на свою новую войну.

\* \* \*

Когда через несколько недель, утром, Арье звонит и предлагает поехать с ним в Яффо, я понимаю, что это начало победы. На самом деле он не то что предлагает, а просто — как ему свойственно — говорит, словно беседуя с самим собой: «Я еду в Яффо, один». Но слышать его голос по телефону мне так удивительно — я и не знала, что у него есть мой номер, — что от радости я начинаю его подначивать:

— А почему бы вам не поехать с мундштуком?

Так я называю всех его подружек, даже не зная, существуют ли они в природе. Сам он никогда мне ничего не рассказывает, только иногда говорит: «я занят», «я был занят», «я буду занят». Но говорит он это всегда так загадочно, с таким подтекстом, словно возле его дома пасется целый табун женщин.

— Все мундштуки сегодня заняты, — парирует он. — В списке осталась только ты.

— А может, я тоже занята.

— Может быть, — усмехается он.

Вообще-то я и в самом деле сегодня занята. Утром у меня — семинар, а после него — встреча с завкафедрой. Хочет поговорить со мной о теме диссертации. Этот выживший из ума старик упрямо продолжает в меня верить, все время подстегивает и, хотя идеи у меня весьма туманные, всегда находит для меня время. Шира даже утверждает, что он в меня влюблен. Я, разумеется, это отрицаю, но в глубине души знаю, что он действительно питает ко мне какие-то чувства. Впрочем, я знаю и другое: что чувства недолговечны и что испытывать терпение завкафедрой мне не стоит. Тем не менее звоню в секретариат и оставляю сообщение, что больна, а Йони пишу сбивчивую записку. Я рассчитываю на то, что вернусь еще до его прихода, но, кто его знает, может, и не вернусь вообще. Останусь жить в Яффо, в съемной квартире, в качестве любовницы, буду смотреть на море и заниматься любовью, а по ночам — есть рыбу и пить белое вино.

На прощанье я окидываю взглядом нашу маленькую квартирку. По ошибке мы покрасили стены в бледно-желтый цвет, и все нас жалели; говорили: «Скоро они выцветут». Однако со временем они пожелтели еще больше. Странно, но к этой квартире я так и не привязалась. Уже много лет я живу по этому адресу, но моим домом он так и не стал. По-видимому, за всю мою жизнь у меня был только один-единственный дом: самый первый, в котором я жила в своей первой жизни. А теперь вот и мужчина

будет только один, и я буду хотеть от него только одного...

Но когда я надеваю свое винного цвета платье (которое вообще-то для такой холодной погоды не подходит), плюс блестящие колготки и сапоги, то вдруг с ужасом понимаю, что не знаю, о чем с Арье говорить. Ведь я никогда не оставалась с ним наедине надолго. Максимум на какие-нибудь час или два, как правило днем, да и то всегда одним глазом косясь на темный циферблат его часов. А тут вдруг целый день! Это все равно как если бы мне предложили съесть целый — крайне соблазнительный, но вредный для фигуры — торт. Конечно, можно просто слушать его самодовольную болтовню: больших усилий это от меня не потребует. Но что я скажу, если он замолчит? Что я вообще могу сказать, кроме того, что люблю его, сама не зная почему? Но тут я вдруг думаю: «Так вот же она, эта уникальная возможность! Я ведь ждала ее много лет! Я поговорю с ним о папе! О том, каким он был в молодости! О папе, которого мне так и не довелось узнать!» — и Арье вдруг кажется мне чуть не близким человеком. Не такие уж мы с ним и чужие! У нас есть общий знакомый. Мы оба его хорошо знаем. Да, мы знали его в разное время, но так даже интереснее. Папа! Вот кто спасет нас от молчания!

— А расскажите мне про папу, — выпаливаю я, едва сев в машину и даже еще не пристегнувшись.

Меня мучает страх, что, если даже на одну-единственную секунду между нами возникнет стена молчания, Арье сразу раскается, что пригласил меня — не кого-нибудь, а именно меня! — провести с ним целый день его драгоценной жизни, и я снова с тоской думаю о своих невидимых конкурентках. Они настолько невидимы и неконкретны, что я даже не знаю, с кем конкурирую. С его женой? С мундштуком? Временами мне кажется, что со мной конкурируют все женщины в мире, и меня это ужасно напрягает.

— Про твоего папу? — удивленно спрашивает Арье, засовывая в рот сигарету. Губы у него мясистые и пе-



пельно-коричневые. — Я думал, ты знаешь его лучше меня.

— В общем-то да, — вынуждена согласиться я, — но ведь родителей невозможно знать по-настоящему: они же притворяются. Кто же покажет ребенку свое истинное лицо?

Тут я вспоминаю, что у него нет детей, и прикусываю язык.

На этом наша короткая беседа себя исчерпывает, и я начинаю думать, о чем бы поговорить еще, но в этом момент мы проезжаем мимо работы Йони и, сделав вид, что ищу что-то в сумке, я пригибаюсь. Вдруг Арье, словно беседуя сам с собой, говорит:

— А он был талантливым парнем. Все говорили, его ждет блестящее будущее. Но болезнь ему все испортила.

Подумав, что ослышалась, я быстро выпрямляюсь, с удивлением вижу, как мимо нас проплывает дерево с красной кроной — стоит зима, а оно пылает на городских улицах, как загадочный костер, — и переспрашиваю:

— Болезнь? Какая болезнь?

— Разве он тебе не рассказывал? — испуганно спрашивает Арье, чуть не подавившись сигаретой, и его пепельные губы скрываются в клубах дыма.

— О чем? Я не знаю, о чем вы говорите.

— Прости, — бормочет он. — Наверно, я сделал ошибку.

— Нет! — кричу я. — Если уж начали, то рассказывайте! Какая болезнь? Тела? Души?

Однако он включает радио и начинает сердито переключать каналы.

— Скажите хотя бы, передается ли это по наследству, — делаю я еще одну попытку, когда машина, плавно скользя по шоссе, выезжает из города.

— Не волнуйся, — говорит он, — не волнуйся. Забудь об этом, я пошутил.

«Что это может быть? — думаю я, прижавшись лбом к холодному стеклу и глядя на упрямо следую-

щую за нами длинную, желтую, извивающуюся, как змея, обочину шоссе. — Врачи у нас дома никогда не толпились — разве что заходили время от времени, — и ничего такого с папой вроде не случилось: операций ему не делали, в больницу не клали. Только гриппы да ангины, как у всех. Даже лекарств в доме почти не было. Что же это может быть?» И тут я вспоминаю тот день — это было примерно в середине моей первой жизни, — когда сумасшедшая собака загрызла только что родившего у нашей кошки котенка. Я подумала тогда, что с моим папой что-то не так.

\* \* \*

Эта собака обожала есть кошек, но никогда не доедала их до конца: всегда что-нибудь оставляла. Наверное, чтобы жители нашего района знали, что она кого-то съела. Чтоб исчезновение кошки с лица земли не прошло незамеченным. И вот, когда мой папа нашел на ступеньках у входа недоеденного котенка, он весь побагровел (я его таким никогда не видела), взял котенка за ухо (видимо, у того еще оставалось ухо), побежал к хозяевам собаки, нашим соседям, которые в это время как раз обедали (из их кухни доносились аппетитные запахи), положил котенка им на стол (по-моему, даже соседу в тарелку, рядом с горохом и стейком) и заплакал.

Когда он ушел к соседям, я побежала за ним, потому что его поведение меня поразило. Он всегда был такой тихий, уравновешенный, все время боялся, что люди скажут, и постоянно одергивал маму, производившую гораздо больше шума, чем он. И вдруг такое полное равнодушие к мнению других! А ведь он даже и кошек-то не любил: никогда их сам не гладил, всегда от нас требовал, чтоб мы мыли после них руки... И вот теперь вся улица видела, как он сходит с ума из-за какого-то там котенка, к которому даже и привязанто не был. Я бежала, наступая на пятна крови и опасно прячась за кустами: боялась, что он меня увидит

и обратит свой гнев на меня, — а когда добежала, то увидела, что он, худой и сторбленный, уже оттуда выходит. С соседской кухни по-прежнему пахло едой, а он подошел к акации, нагнулся и стал блевать. Он блевал и плакал, но я к нему не подошла. Потому что вдруг ощутила странную радость. Радость от того, что он страдал так открыто. Я вообще-то и раньше чувствовала, что он страдает, но он всегда делал это втайне, незаметно, где-то внутри себя. Настолько внутри, что не было никакой возможности ему посочувствовать, помочь. И вдруг его горе вышло наружу, обнажившись при тусклом свете зимнего солнца, как обнажаются подкладка и швы у надетого шиворот-навыворот пальто. «Теперь, — думала я, дожидаясь, пока его перестанет рвать, — у меня будет совсем другой — веселый — папа, потому что страдание, которое он в себе носил, вылилось из него и впиталось в землю». И после того, как он, с красным лицом и воняющий рвотой, покачиваясь, приплелся домой, целый день за ним наблюдала: ждала, когда он наконец изменится. Но он почти не выходил из своей комнаты и даже не захотел с нами ужинать.

Ночью из-за его рыданий я никак не могла заснуть: все время слышала, как он плачет. Словно он этого котенка проглотил, и тот мяукал у него внутри. Но под утро в мою голову начали закрадываться подозрения. «А в самом деле, — думала я. — Где он, этот недоеденный котенок? Может, папа вовсе не положил его в тарелку соседа, рядом с горохом и стейком, а в приступе безумия съел? Может, он тоже, как эта собака, сошел с ума и именно поэтому блевал возле дерева?» От этой мысли мне стало так обидно, что я чуть не заплакала, потому что этот только что родившийся котенок был мой и мне казалось, что папа воюет с соседями за меня, на моей стороне. Только ближе к утру я поняла, что это, наверно, какая-то другая — его личная и тайная — война, которой мне никогда не понять.

Утром я пошла к огромной акации, где его рвало, и стала ползать в грязи, пытаясь найти среди камней остатки котенка, извергнутые из его желудка. Но ночью прошел дождь, земля размокла, и точное место найти было трудно. Кроме того, там было много мягких мокрых веточек, похожих на кошачьи хвосты. Я положила их в ряд и попыталась рассортировать, но снова пошел сильный дождь, и я побежала домой. Когда же я хотела пойти туда еще раз, мама положила мне руку на лоб и сказала, что я вся горю, что у меня с самого утра болезненный вид, и уложила в кровать, которую я сразу облевала.

Так или иначе, но в конечном счете я поняла, что нового папы у меня не будет и любые перемены будут только к худшему.

\* \* \*

— А болезнь папы, случайно, не связана с кошками? — спрашиваю я, но даже мне самой этот вопрос кажется ужасно глупым. Арье, по-видимому, тоже. Он сильно — с той неприятной властностью, с которой относится и ко мне — сжимает руль и спрашивает:

— Какая болезнь?

Поняв, что больше мне из него ничего не выжать, я начинаю думать, о чем нам теперь говорить. По идее, я должна быть сейчас обаятельной, веселой, привлекательной, но все, чего мне хочется, — это спать. Жалко, что я не какая-нибудь голоснувшая на дороге девушка, которую он согласился подвезти. Тогда бы у нас с ним все было гораздо проще, откровенней и естественней.

— А давайте притворимся, что я пассажирка, которую вы подвозите, — предлагаю я неуверенно, но, к моему удивлению, Арье приходит от этой идеи в восторг. Более того, даже велит мне — тоном, не допускающим возражений, — выйти из машины и говорит, что через некоторое время меня подберет. «Мы должны поверить в это по-настоящему», — добавля-

ет он, когда я выхожу, дает задний ход и останавливается у находящейся неподалеку бензоколонки. «А что ему может помешать проехать мимо и не остановиться? — думаю я. — Как мало, однако, я ему доверяю. Впрочем, я ведь тоже могу его обмануть: взять да и голоснуть кого-нибудь другого». Однако, как ни странно, подъехав ко мне, он останавливается и с широкой улыбкой смотрит на меня через вымытое стекло.

— Я еду в Яффо. А вам куда? — спрашивает он, когда я открываю дверь.

— Мне тоже в Яффо, — говорю я, садясь в машину (в салоне которой стоит резкий запах хвойной смолы) и глядя на него испытующим, полным подозрения взглядом. Ведь каждая такая поездка может стать последней.

— Вам нечего опасаться, — говорит он, заметив мой взгляд. — Я кто угодно, но не насильник.

— А кто? — спрашиваю я в надежде, что он наконец-то мне это расскажет.

— Коммивояжер, — смеется он. — Я коммивояжер.

Я смотрю на его темный профиль — смуглую кожу, серебристые волосы, высокие скулы, — и он вдруг кажется мне индийцем. Старым, умудренным жизнью индийцем. Я представляю его с тюрбаном на голове, и мне становится смешно. Что у меня с ним общего?

— А вы кто? — спрашивает он, несколько обескураженный моим смехом.

— Я Авишаг. Живу на юге, в кибуце.

С Авишаг я служила в армии. Мы жили в одной комнате, и я ужасно ей завидовала. Потому что она всегда засыпала без задних ног. Я же всю ночь устало ворочалась с боку на бок, проклинала свою чертову бессонницу и мечтала быть Авишаг.

— Авишаг? — переспрашивает он с восторгом. Моя новая персона явно нравится ему больше предыдущей. — А что у вас под колготками?

— Трусы. А вы что подумали?



— Именно это я и подумал, — говорит он разочарованно. — А знаете, Авишаг, я много лет жил в Париже и представляете, что обнаружил?

— Понятия не имею, — говорю я холодно, чувствуя, что мое новое имя меня от него защищает.

— Я обнаружил, что женщины в Париже под колготками ничего не носят, и, поверьте, им это окупается. Снимите трусы — и увидите, что они вам не нужны.

— И мне это окупится, — усмехаюсь я.

— А вы не делайте это для меня, — говорит он своим прежним надменным тоном. — Сделайте это для себя и, уверяю вас, сразу почувствуете себя ближе к собственному телу.

Вообще-то никакого особого желания сблизиться с собственным телом у меня нет; гораздо больше мне хочется сблизиться с телом Арье (даже не с самим его телом как таковым, а с тем, что я в нем люблю и, за неимением другого слова, с сожалением называю «телом»: с его длинными пальцами, гладкой темной кожей, точеными губами и ожившими вдруг глазами, которые с нескрываемым нетерпением смотрят на мои ноги, время от времени поглядывая на широкое гладкое шоссе); тем не менее я начинаю раздеваться: сначала снимаю сапоги, потом — колготки (стараясь, чтоб они не порвались, и извиваясь, как огромная паучиха с длинными заплетающимися ногами), а затем и лишнюю, по мнению Арье, принадлежность моего туалета. После этого я снова надеваю всё, кроме трусов, и машу ими в воздухе. Арье улыбается и с довольным видом сует их в брючный карман, как если бы это был носовой платок.

\* \* \*

В Яффо мы выходим из машины и куда-то идем. Я сознательно не спрашиваю куда. Во-первых, мне хочется, чтоб это было настоящим приключением, а во-вторых, я знаю, что именно этого-то он от меня и

ждет и, если спрошу, рассердится. Он ведь хочет, чтоб я доверяла ему полностью и безоговорочно. «Ну что ж, — говорю я себе, глядя на трусы, торчащие у него из кармана, — будем сегодня прорабатывать тему взаимного доверия и учиться жить без трусов. А что? Разве это не возвышенная цель — научиться жить без трусов? Пусть это будет очередным занятием на курсах “Как стать настоящей женщиной, верней, любовницей”». Я представляю, как люди спрашивают меня, кем я работаю, и я отвечаю: «Любовницей» — причем с такой гордостью, что спрашивающие удивляются.

Я думала, мы пройдемся по художественным галереям или пойдем смотреть на море, но вместо этого мы сворачиваем в узкий переулок и поднимаемся по старой лестнице. Арье — у которого всё еще торчат из кармана мои трусы — стучит в дверь, и через несколько минут она открывается. На пороге стоит сонный мужчина.

— Арье! Как я рад тебя видеть! Я уж и не надеялся, что ты придешь, — восклицает он тоненьким голоском, сияя от счастья, после чего вопросительно — хоть и не без удовольствия — смотрит на меня.

— Это Авишаг, кибуцница с юга, — говорит Арье. — Я ее подбросил.

Мне нравится быть Авишаг. Интересно, что бы она сейчас сказала? Наверно, ее вообще бы сюда не занесло. Тот, кто хорошо спит по ночам, днем по таким дырам не шляется. Вообще-то, конечно, это не совсем дыра, но и нормальной квартирой ее тоже не назовешь. В ней только одна большая комната, в углу которой стоит семейная кровать. Еще здесь есть круглый медный столик и маленький холодильник. Одним словом, некое подобие студенческой квартиры. Однако хозяин больше похож на пенсионера, чем на студента.

Видимо, заметив, что я удивлена, Арье говорит: «Тут Шауль грешит, это его греховная квартира», — и мне кажется, что при этом он косится на кровать.

— Да нет же, что вы, — смущенно смеется Шауль и начинает оправдываться, как какая-нибудь невинная девушка: — Я тут просто отдыхаю. Уединяюсь в промежутках между судебными заседаниями и отдыхаю.

Я смотрю на него с недоумением. За что его все время судят? Он что-то натворил? Но потом думаю: «А может, он адвокат? Или даже судья?» В это, правда, поверить трудно, потому что в его поведении нет никакого присущего юристам величия, но мне даже нравится, что он такой стеснительный и скромный: его присутствие меня немного успокаивает.

Странно, что они оба именуются мужчинами. Помоему, они совершенно разных полов. И вообще. Почему есть только две категории: мужчина и женщина? Как чай или кофе. В жизни ведь все гораздо сложнее. В любом случае я рада что Шауль не такой, как Арье, и в благодарность за это ему улыбаюсь.

— Что будете пить? — спрашивает он.

Я задумываюсь, что попросить: чай или кофе, — но он начинает перечислять различные сорта пива, виски и бренди, а особенно горячо рекомендует прекрасный, привезенный им из Венгрии коньяк.

— Всего неделю, как оттуда, — поясняет он. — Прикупил там еще и отличных колбас. А, в Париже, проездом, затарился несколькими сортами сыра.

Он говорит о Европе так, словно это огромный супермаркет, по которому расхаживают покупатели с тележками и наполняют их, наполняют, наполняют...

Через минуту он вываливает все эти европейские сокровища на низенький грязный столик в восточном стиле, водружает рядом с ними разрекламированный им коньяк, и мы усаживаемся вокруг. Чем-то это напоминает посиделки у костра. Арье наливает сначала мне, потом — себе, а затем отрезает колбасы и по-свойски сует ее мне в рот. Виски — крепкий, а колбаса — острая, и, когда два этих вкуса смешиваются у меня во рту, я вдруг чувствую, что живу. Живу настоящей жизнью...

...арье и шауль заговаривают о париже; звучат названия каких-то ресторанов, улиц, вин, женские имена, но я слушаю их вполуха: я была в париже всего три дня, и у меня там ужасно болела голова; с закрытыми глазами я валялась в гостинице и запомнила только цветочки на обоях да розовое покрывало на кровати; одним словом, поддержать беседу я не могу; тем не менее слушать их непринужденную болтовню мне приятно; судя по всему, они старинные друзья, и мне с ними комфортно; особенно меня радует присутствие шауля: он как бы защищает меня от арье; мне кажется, что благодаря шаулю — тому, как он на меня смотрит, — арье тоже сейчас воспринимает меня по-новому; время от времени арье дает мне прикурить, сует в рот кусочек колбасы или подливает в мой стакан коньяка, а я жую, пью и ни о чем не думаю; мне нравится быть маленьким ребенком, за которого всё решают другие; когда я встаю, чтоб пойти пописать, голова у меня приятно кружится, а когда сажусь на унитаз, глаза мои сами собой закрываются; когда же они снова открываются, я вижу, что нахожусь в удивительно просторном — словно предназначенном для инвалидов — туалете, и мне это нравится; когда я возвращаюсь, шауль спрашивает: «авишаг, с вами все в порядке? мы за вас волновались», а я думаю: «какие простые решения бывают у сложных проблем! достаточно взять себе на время новое имя — и ты уже другой человек»; когда я прохожу мимо кресла, на котором сидит арье, он гладит мне ногу под платьем, потом трогает чуть выше — словно хочет убедиться, что мои трусы не сбежали у него из кармана и не вернулись на свое естественное место — и говорит: «сядь на меня»; я сажусь ему на колени, и он начинает одной рукой гладить меня под платьем, а другой — кормить, а потом засовывает мне в рот пальцы и я начинаю их жевать; они такие же остро-соленые, как и колбаса, и одно от другого отличить трудно, но в конце концов я выбираю именно пальцы, потому что так наелась, что боль-

ше не могу глотать; я держу арье за руку и объедаю ее со всех сторон — как будто это бутерброд, — а он продолжает разговаривать с шаулем; шауль, однако, уже не так увлечен беседой, как раньше; в основном он смотрит на меня и мой рот; наконец он поднимается со своего места, встает возле нас так близко, что я слышу его дыхание, и начинает трогать мне лицо, нос и глаза, а затем тоже засовывает пальцы в рот; арье вынимает свою руку, уступая ему место, и закуривает новую сигарету, а шауль копается у меня во рту, как зубной врач; руки у него мягкие — кажется, они вот-вот растают, — и мне становится чуточку противно; шауль это, видимо, чувствует и пристыженно возвращается на свое место; «все нормально, все нормально», — говорит арье то ли ему, то ли нам обоим и смеется; так или иначе, но мой рот вдруг опустел, а мне хочется его чем-то занять, и, положив голову на плечо арье, я начинаю целовать его в шею, ухо и начало щеки; запах лосьона там особенно резкий; его ухо, на которое я сейчас впервые обратила внимание, вполне обычное и заурядное, но мне оно кажется вдруг невероятно прекрасным; для его головы оно довольно маленькое и светлее, чем лицо, почти розовое, и мне вдруг приходит в голову, что в нем, наверно, находится маленький, круглый и красный, как вишня, слуховой аппарат; я засовываю туда палец, чтоб его потрогать, но ничего не обнаруживаю; все это время арье не перестает говорить; дыхание у него ровное, а вид — спокойный, но я чувствую в его теле какое-то напряжение, которого раньше не было; я слушаю его прокуренный голос и думаю: «так вот ты, оказывается, какой»; мне всегда хотелось увидеть, как он «пылает», потому что обычно он был со мной чужим и холодным, как робот, но сейчас он чуть-чуть изменился; его руки стали гибкими, живыми и прикасаются ко мне уже с меньшим равнодушием; неожиданно начинается дождь; небесные хляби с шумом разверзаются, сверкают молнии, гремит гром, и квартирка шауля становится похожа на утлый



темный ноев ковчег; мужчины замолкают, словно давая грому выговориться, и шауль смотрит на меня; в глазах у него вопрос; возможно, он хочет спросить, что именно такая девушка, как я, ищет в ухе этого жалкого старика — тем более что я уже и сама начинаю себя об этом спрашивать, — но тут арье, видимо, почувствовавший, что у меня пропадает боевой настрой, ставит меня на ноги, приспускает колготки, которые стягивают мне колени, как путы, и говорит: «пошли в кровать, в кровати тебе будет удобней»; «но ведь тут же шауль», — удивляюсь я; «шаулю это не мешает, правда, шауль?» — говорит арье нарочито громко, как воспитательница в детском саду; «нет-нет, все нормально, — пищит шауль своим тоненьким голоском и, словно делая нам одолжение, добавляет: — я просто посижу и посмотрю»; по пути к кровати арье приспускает брюки — в результате чего мы становимся похожи на двух малышей, ковыляющих в туалет со спущенными штанами и голыми попами, — а затем ложится на спину и ждет; он ждет, пока я сниму сапоги, колготки и оседлаю его; совершенно очевидно, что он хочет именно этого; я стараюсь сидеть прямо и двигаться красиво, как актриса, потому что все время ощущаю на себе взгляд шауля; впервые в жизни у меня есть зрители, и я понимаю, что это обязывает; я вхожу в роль все сильней и сильней; мне хочется поразить публику своим исполнением; поэтому я делаю мостик, касаюсь руками края кровати и жду аплодисментов, но вместо аплодисментов слышу тяжелое дыхание и шорох снимаемой одежды; темный силуэт на кресле начинает светлеть, его белая кожа — по мере того, как с него спадает одежда, — обнажается все больше и больше, и в конце концов он сверкает уже почти как светотражатель; но тут я перестаю его видеть, потому что арье переворачивается, накрывая меня полностью, и его таз начинает энергично двигаться; теперь это уже он пытается продемонстрировать впечатляющее исполнение; я издаю стон, но не столько от на-

слаждения (потому что мне вдруг становится больно и вообще все это начинает надоедать), сколько от того, что чувствую себя обязанной обеспечить звуковое сопровождение, чтоб это не было похоже на немое кино; мои стоны заводят арье еще больше, и он начинает твердить, как мантру: «тебе это нравится, тебе это нравится», а мне вдруг хочется сказать ему «нет» и все испортить; но тут кровать проседает, словно на нее рухнуло что-то тяжелое, арье из меня резко выходит, и я чувствую, как меня гладят мягкие руки шауля; я не хочу оставаться с шаулем наедине: я согласилась принять его только как некое приложение к арье; поэтому я все время ищу рукой арье и хватаюсь за него; но тут шауль начинает об меня тереться, а его мягкий белый член смущенно, словно палка слепого, нащупывает дорогу; арье крепко меня сжимает, словно боится, что я сбегу, и говорит: «все нормально, все нормально, тебе это нравится» — причем говорит так внятно и убедительно, что я тоже за ним это повторяю, — а шауль пищит: «ты красивая, ты красивая», и я рада, что арье это слышит; шауль снова и снова пытается в меня проникнуть, но не может — видимо, торчащее мужское достоинство арье его нервирует, — и когда он наконец-то сдается, я чувствую огромное облегчение; арье все еще продолжает меня крепко держать, а шауль гладит и со всех сторон облизывает, но мне это уже не мешает; потом в кровати появляется бутылка; мы пьем из нее, передавая из рук в руки, словно играем в «ответ или приказ»\*, и я снова испытываю ощущение острой сладости; может, думаю я, все-таки стоило родиться на свет; потом в меня возвращается член арье; я прислоняюсь к шаулю, и мы покачиваемся от сильных

---

\* «Ответ или приказ» (другое название: «Правда или действие») — игра, в которой участники задают друг другу вопросы, на которые надо правдиво отвечать. Если спрашивающий отвечать отказывается, он должен выполнить то, что ему прикажут.

*толчков; а потом они — почти одновременно, как идеальная супружеская пара — кончают, и я чувствую у себя на спине сперму шауля, а спереди — сперму арье...*

...Но тут вдруг я ощущаю себя сочной косточкой, которую жадно вылизывают собаки и кошки, вспоминаю собаку, загрызшую котенка, таинственную болезнь папы, несостоявшуюся встречу с завкафедрой, Йони, в голове у меня звучит «сделанного не воротишь, сделанного не воротишь», и я начинаю плакать. Однако ни Арье, ни Шауль этого не замечают: они уснули. Арье спит чутко и настороженно, с чем я уже знакома, а Шауль — тяжелым сном немолодого, не слишком здорового человека.

Я иду в ванную, сажусь на унитаз, опорожняю — не переставая плакать — мочевой пузырь, а потом встаю и смотрюсь в зеркало. За исключением красных глаз, я выгляжу, как прежде. Это меня немного успокаивает. Ведь если я выгляжу, как раньше, значит, ничего особенного не случилось. Душ в ванной ржавый. Я моюсь почти холодной водой и твержу себе: «Все в порядке, все в порядке».

К тому моменту, как я выхожу, Арье уже одет, и у него снова официальное, неприступное, чужое выражение лица. Ни дать ни взять важный индийский сановник. Но это меня тоже успокаивает. «Такое авторитетное лицо безусловно знает, что делает», — думаю я, и мой страх улетучивается.

Арье закуривает и делает кофе.

Шауль просыпается, и мы снова садимся за стол.

Мы с Шаулем — голые, а Арье — в одежде.

— Яара, тебе не холодно? — спрашивает Арье.

— Нет.

— Как это, «Яара»? — удивляется Шауль. — Я думал, ее зовут Авишаг.

— Ее зовут Яара, — усмехается Арье.

— Красивое имя, — говорит Шауль. — По-моему, дочку Кормана тоже зовут Яара.

— Это и есть дочка Кормана, — говорит Арье. — Я забыл, что ты с ним знаком.

— Что значит, «знаком»? Мы же вместе учились.

— Точно, — говорит Арье, — совсем забыл.

Мне становится стыдно своей наготы, и я начинаю собирать с пола одежду, но нагибаться и показывать им голый зад мне неловко, поэтому я собираю ее, передвигаясь по полу в дурацкой позе: на корточках. Они же тем временем предаются воспоминаниям о старых временах: вспоминают, как списывали у моего папы, как он ругался с преподавателями, гулявшими со студентками, как преподаватели его боялись, как он бросил учебу из-за болезни — однако, упомянув про болезнь, замолкают.

Меня вдруг тошнит, и я ложусь на кровать; голова у меня раскалывается.

— Что? — спрашивает Арье со смехом. — Хочешь еще?

Отвечать ему мне не хочется, но, к счастью, за меня отвечает Шауль.

— Оставь ее в покое, — говорит он. — Дай ей отдохнуть.

По лицу Шауля видно, что ему страшно хочется задать мне мучающий его вопрос и что он чувствует себя не в своей тарелке — то ли из-за того, что чуть не трахнул дочку Кормана, то или из-за того, что видел, как она трахается, — и мне становится страшно. Вдруг он все расскажет папе? Пошлет ему, например, анонимное письмо и сообщит, что вместо того, чтоб писать диссертацию, я трахаюсь со стариками. Я пробую думать о диссертации и прокручиваю в голове список возможных тем, чтобы наконец какую-нибудь из них выбрать, но вдруг отключаюсь.

\* \* \*

Когда я открываю глаза, они, как перепуганные родители — Арье в роли папы, а Шауль в роли мамы, — стоят у кровати и смачивают мне лицо и шею мокрым полотенцем, а у меня такое ощущение, словно я проснулась после долгого, сладкого сна. Никогда я

так сладко не спала. Голова у меня все еще побаливает, но это уже не боль, а, скорее, ее отголоски, и я чувствую себя, как человек, который внезапно и резко поправился; как будто у меня в организме произошла революция. Я улыбаюсь им и вижу, что их лица начинают оттаивать.

— Не волнуйся, ты просто на несколько минут потеряла сознание, — говорит Арье, подавая мне стакан с водой, а Шауль начинает рассказывать, как это случилось с ним однажды во время судебного заседания. Ну надо же... Значит, он и впрямь судья. Что ж, раз это санкционировал сам судья, значит, все не так уж, наверно, и плохо. Однако мысль о том, что я чуть не переспала с судьей, заставляет меня улыбнуться.

— Ладно, Яара, — говорит Арье, посмотрев на пустой циферблат своих часов, — пора трогаться.

— Передавай привет папе, — говорит Шауль, когда мы уже стоим в дверях, и по-родственному целует меня в щеку. Как будто он мой дядя.

Арье берет меня за локоть и ведет к машине.

\* \* \*

Моря мы так и не увидели.

— Где мои трусы? — спрашиваю я, когда мы садимся в машину.

Арье сует руку в карман, но, когда он ее вынимает, я вижу, что она пустая.

— Наверно, остались там.

— Но я же их так люблю! — расстроено говорю я. — Они у меня самые красивые!

— Не возвращаться же нам из-за трусов. Как-нибудь в другой раз.

Однако я знаю, что другого раза не будет, и чувствую себя какой-то ущербной — как будто отправилась в путь целой и невредимой, а возвращаюсь покалеченной, — и вся эта поездка начинает казаться мне коварным заговором с целью лишить меня самых красивых моих трусов. Я замолкаю и начинаю смо-



треть в окно. Нет, на этот раз я напрягаться не буду. Пусть он сам теперь думает, о чем нам разговаривать. Но он, похоже, напрягаться не собирается и чувствует себя вполне комфортно: крутит баранку, слушает песни по радио и вспоминает обо мне только через полчаса:

— У тебя это в первый раз? Я имею в виду такое.

— Да. А у тебя?

— Нет, конечно, — смеется он своим сытым смехом. — Я же провел свои лучшие годы в Париже и перепробовал практически все. Поэтому мне так и трудно.

— Трудно? — удивляюсь я.

— Да. Потому что все наводит на меня скуку. Я знаю, ты думаешь, что причина моей скуки в тебе, но ты ошибаешься. Мне скучно все вообще, и от этой скуки очень трудно избавиться. Каждый раз нужны все более и более острые ощущения. Но и они тоже перестают действовать; ты ведь и сама это видишь. Обычный секс — мужчина на женщине, вставил-вынул — возбуждает меня уже даже меньше, чем утренняя зарядка перед телевизором.

— Ну, может, формально говоря, так и есть, — пытаюсь я ему возразить, — но как же тогда быть с чувствами? Разве не они всё определяют? Если женщина тебе нравится, тебе ведь и трахаться с ней захочется, правда? И общаться. Разве нет?

— А почему ты решила, что мне хочется с кем-то общаться? — бурчит он. — То, что я сказал про секс, справедливо и применительно к общению. Ощущения должны быть все время более острыми. А чувства... Я уж и не помню, что это такое. С годами человек становится либо животным, либо ребенком, и решающую роль для него начинают играть потребности.

Я вдруг чувствую какое-то абсолютное и бесповоротное отчаяние. Как будто мне уже ничто не поможет. Как будто я выпила яду и раскаялась, но спасти

меня уже нельзя. Я разрушаю ради него собственную жизнь, а его, видите ли, разъедает скука!

— А знаешь, — пробует утешить меня Арье, положив свою красивую руку мне на ногу, — когда я увидел тебя с Шаулем, я впервые увидел тебя по-настоящему и впервые захотел. Как будто заразился его энтузиазмом.

— И что теперь будет? — спрашиваю я, впадая от этого в еще большее отчаяние.

— Ничего. А почему обязательно должно что-то быть?

— Но я же тебя люблю.

— За что? — снова спрашивает он. — За что ты меня любишь?

Каждый раз, как я слышу этот вопрос, я теряюсь. Я не понимаю этой его потребности снова и снова слышать, какой он замечательный, тем более что, по моему мнению, это далеко не так. Я считаю его эгоцентричным, нечутким, инфантильным, самонадеянным и бесчувственным. Однако на это нельзя даже и намекать.

— Нет, серьезно, что ты во мне любишь? — еще раз спрашивает он. — Мне правда интересно.

— Угу, — бурчу я, — наконец-то тебя что-то интересует. Ну... Я люблю цвет твоей кожи, голос, походку, то, как ты прикуриваешь...

Я знала, что этот скудный и случайный список его разочарует.

— Ну, если такие пустяки вызывают у тебя такую большую любовь, — говорит он, презрительно улынувшись, — что ж ты будешь делать, когда встретишь по-настоящему впечатляющего мужика?

— Было бы хорошо, если б сила любви зависела от особенностей любимого человека, но так не бывает, — говорю я и начинаю думать о Йони, обо всех его замечательных качествах.

Арье выглядит озабоченным: видимо, не получил от меня того, что хотел. Ведь если моя любовь никак

не связана с его достоинствами, она ему не льстит и никак его не характеризует, а ему, судя по всему, трудно отказаться от потребности быть любимым по вполне определенным причинам.

— Я думаю, ты меня просто еще не понимаешь, — говорит он. — Ты так озабочена тем, что получаешь от меня или не получаешь, что не видишь, какой я на самом деле, независимо от твоего восприятия.

— Наверное, — говорю я и смотрю на мчащиеся нам навстречу тяжелые низкие черные тучи. Они движутся с такой скоростью, как будто у нас над головой пролегает небесная автострада, и мне кажется, что мы с ними вот-вот столкнемся. Либо мы взлетим в небо и врежемся в них, либо они опустятся на землю и врежутся в нас.

Снаружи становится темно, хотя еще рано, и опять идет сильный дождь. Он хлещет по машине, а я сижу, прислонившись к дверце, смотрю в окно и думаю: «Вот что я должна сейчас сделать: открыть дверцу и выпрыгнуть. Как есть. Без куртки и трусов. Просто покончить с этим — и все. Потому что другого способа покончить с этим нет».

Я прикрываю глаза руками и гляжу на Арье сквозь пальцы — словно сижу в кино и смотрю жуткую сцену, которую и видеть страшно, и пропустить не хочется, — и он кажется мне огромной серой гусеницей. Эти его выпуклые глаза, толстые губы, розовые уши, темная, кажущаяся пережаренной кожа...

Сам того не замечая, он самодовольно улыбается, и у меня в голове складывается двустийшие:

Что ты лыбишься так беззастенчиво?

Позабыл, что судьба переменчива?

Этот стишок мне так нравится, что я даже подбираю к нему мелодию и начинаю тихонько напевать. Это меня чуть-чуть взбадривает. «Знаешь что, — говорю я себе, — умереть никогда не поздно. Но давай дадим жизни еще один шанс. Очень хорошо, что ты с ним

поехала, потому что благодаря этому многое прояс-  
нилось: сейчас ты видишь его таким, какой он есть.  
Он жаждет комплиментов и похвал, а ты жаждешь  
любви. Только вот жизнь устроена таким образом,  
что жаждущие так жаждущими и остаются и ничего  
не получают. Поэтому лучше сдаться прямо сейчас.  
Пусть другая наводит на него скуку. Почему это обя-  
зательно должна быть ты? Есть ведь и более инте-  
ресные вещи, которыми можно заняться». Но тут я  
начинаю буксовать — потому что интересным мне на  
самом деле ничто не кажется — и вспоминаю, как в  
мой заполненный жирной венгерской колбасой рот  
проникло двадцать пальцев.

Я продолжаю смотреть на него, прикрыв глаза ру-  
ками. Сквозь пальцы я могу рассмотреть его подроб-  
нее: по частям, по кадрам. Кроме того, это позволяет  
мне полностью контролировать картинку. «О'кей, —  
думаю я, — предположим, ты его любишь. Нет, сло-  
во “его” давай лучше вычеркнем и оставим только  
“любишь”. Но ведь любовь — это хорошо, правда?  
Каждый ребенок знает, что любовь — это хорошо.  
Так давай ты полюбишь кого-нибудь другого. Пред-  
ставь, что ты испекла кому-то пирог, а он его не хо-  
чет. Что ты сделаешь? Правильно, отдашь другому  
человеку. Ну так отдай! Возьми свою любовь и отдай  
сама знаешь кому. Человеку, который живет по тому  
же адресу, что и ты, и у которого тот же номер теле-  
фона». После этого я начинаю изо всех сил думать о  
Йони, о каждой детали по отдельности. Потому что  
детали — его самое сильное место. О карих глазах с  
длинными ресницами, об оранжевых, почти жен-  
ских, губах, о волнистых каштановых волосах, кото-  
рые мне когда-то, в начале наших отношений, так  
нравилось ворошить, о лице, похожем на круглый  
медальон, — и вдруг вижу, что он раскачивается. Он  
качается из стороны в сторону, как «дворники» авто-  
мобиля, которые все это время энергично трудятся, и  
сначала я не понимаю почему, но когда понимаю —

у меня вырывается невольный крик. Прямо в ладони, прикрывающие лицо. Потому что я вижу, как он висит. У меня возникает полная уверенность, что, когда я вернусь домой, его тело будет раскачиваться в ванной, а тень от ресниц будет падать на бледные щеки. Может быть, как раз в эту минуту он отбрасывает ногами табуретку. Видимо, ему кто-то про нас с Арье сегодня рассказал, и он не смог пережить мою ложь. Однако и уйти от меня не смог, как я не могу уйти от Арье. А может, все-таки смог? Может, как раз сейчас он пакует вещи или пишет мне письмо? Что-нибудь вроде: «Я поверил тебе, а ты обманула мое доверие и смешала нашу любовь с грязью. Я никогда не держал тебя силой, никогда не задавал лишних вопросов, дал тебе полную свободу. Я надеялся, что ты распорядишься ею во благо, и просил только об одном: когда ты меня расхочешь, просто скажи мне об этом и все. Я всегда говорил, что считаю тебя свободным человеком и не претендую на власть ни над твоим телом, ни над твоей душой. Я не хотел, чтоб ты оставалась со мной по принуждению. Я хотел, чтоб ты каждый день добровольно выбирала меня заново, и надеялся, что ты честно скажешь, когда выберешь другого». — «Было бы здорово, если б все было так просто, — скажу я ему. — Но разве так бывает? Да или нет, черное или белое... А что, если я выбрала человека, который не выбрал меня?» — «Не имеет значения, — ответит он. — Ты все равно должна была мне сказать, независимо от последствий. Даже если захотела кого-то всего лишь на миг». — «Но если я еще не уверена, — возражу я, — если я раскаюсь?» — «Я же сказал: независимо от последствий», — повторит он со свойственной ему прямолинейностью, не допускающей противоречий.

«Я потеряла его, потеряла, и все из-за тебя!» — мысленно кричу я Арье, и мне хочется расцарапать его самодовольное лицо, а потом выхватить у него руль и вытолкать из машины под проливной дождь. Но он вцепился в руль так крепко, словно говорит:



«Бесполезно, дорогая моя, хозяин здесь я». — «Можешь сколько угодно надеяться, что увидишь меня завтра, послезавтра, через две недели, через два месяца, через два года, — думаю я. — Но я лично пойду спасать сейчас то, что осталось от моей жизни. Если от нее вообще еще что-нибудь осталось». — «Йони, — кричу я, — подожди, не отбрасывай табуретку! Ни из-под себя, ни из-под меня! Дай мне еще один шанс!»

Дождь усиливается. Арье тихонько чертыхается, а мне кажется, что мы никогда не доедем: попадем в какую-нибудь аварию, у Арье случится инсульт — и я никогда не смогу ничего исправить. Поэтому я даю себе слово: если все обойдется, если мы все-таки доберемся до дома и если Йони останется со мной, я больше никогда с Арье не увижусь. Вместо этого я забеременею от Йони и посвящу свою жизнь — вплоть до самой своей смерти — ему и нашему ребенку!

\* \* \*

Мы въезжаем в город и едем по тем же улицам, по которым ехали утром, только в противоположном направлении.

— Ты что-то ищешь? — спрашивает Арье.

— Да, тут было дерево с красной кроной. Хочу увидеть его еще раз.

— Зачем?

— Если я его увижу, это будет знак, и если не увижу — тоже.

— Тогда это не имеет никакого значения, — говорит Арье и добавляет: — Кстати, я тоже видел сегодня утром что-то ярко-красное, но, по-моему, это была черепичная крыша.

Когда мы проезжаем мимо компьютерной фирмы Йони, я снова пригибаюсь. Я очень надеюсь, что он все еще там и продолжает пасти свое послушное компьютерное стадо.

Как только мы въезжаем на нашу улицу, Арье сразу останавливает машину.

— Но ведь мы еще не доехали, — удивляюсь я.

— Знаю. Но это то, что называется «безопасным расстоянием». Не хочу, чтоб у тебя были неприятности.

Он говорит это с такой серьезной миной, словно читает лекцию на курсах для супершпионов. Я представляю себя супершпионкой и приказываю себе: «Сохрани хладнокровие! Веди себя, как профессионалка!»

Зная, что никогда больше его не увижу, я начинаю всматриваться в его лицо: мне хочется выучить его наизусть, чтоб когда-нибудь в будущем попробовать его разгадать, — а потом бросаю взгляд на его руки, все еще крепко держащиеся за руль. Если он сейчас отпустит руль и до меня дотронется, это будет знак, а если нет — тоже будет знак. И он его отпускает. Но только для того, чтоб почесать нос и закурить. Я перестаю его разглядывать, хладнокровно с ним прощаюсь и вылезая из машины.

Когда он уезжает, я начинаю думать, надо ли было сказать ему «спасибо», и вдруг вспоминаю, что забыла посмотреть на его брови. Какие они у него? Все еще черные или уже седые, как волосы? Что ж, придется прожить всю оставшуюся жизнь, так и не узнав какого они цвета.

\* \* \*

Когда я подхожу к дому, сердце у меня от страха учащенно бьется, но я говорю себе: «Спокойствие! Только спокойствие! Никто тебя в таком ужасном преступлении не заподозрит. В крайнем случае Йони подумает, что ты шлялась по городу и покупала себе шмотки. Он ни за что не поверит, что ты ездила в Яффо для того, чтоб тебя там ублажали полтора мужских члена. Даже если ты сама ему об этом расскажешь, не поверит. Именно этим-то правда и хороша: в нее невозможно поверить».

«Йони, ну пожалуйста, пусть тебя не будет дома! Ради твоего же блага! Зачем тебе это?!» — умоляю я его, открывая дверь, и, на мое счастье, его там не оказывается. В квартире темно и тепло. Видимо, из-за холодной погоды батареи включили раньше обычного. Я подхожу к ним и глажу, как гладят преданных домашних животных. Они раскаленные. «Вот видишь, — говорю я себе, — раньше тебя домой вернулось только тепло батарей, но оно на твоей стороне и будет молчать».

Раковина на кухне доверху заполнена грязной посудой, но это та же посуда, что лежала в ней утром. Ни одной новой тарелки, свидетельствующей о том, что Йони приходил домой, в ней нет, и мне сразу становится легче. Я раздеваюсь, запихиваю одежду в шкаф, принимаю душ (намыливая некоторые места так тщательно, словно хочу смыть с них заразу), надеваю пижаму, ложусь в постель и решаю, что, когда Йони вернется, притворюсь спящей. Так я смогу прощупать атмосферу, и у меня будет время выстроить линию поведения.

Какое-то время я лежу в темной спальне и радуюсь, что все обошлось, но постепенно моя радость сменяется страхом. Потому что уже шесть или семь вечера, а Йони все не идет. И не звонит. И никто другой тоже. А вдруг я пропустила сегодня какое-то важное событие, которое больше никогда не повторится?! Как поезд, который проезжает мимо станции только раз в жизни. Что, если все на него сели, а я — нет? Может, Йони, мои родители, завкафедрой, студенты, которые меня сегодня ждали, сидят сейчас где-то там и что-то такое празднуют? И Шира, разумеется, вместе с ними. Сохнувшая по Йони, очень этого стесняющаяся и старающаяся этого никогда не показывать Шира... «Вот кому надо позвонить! Она всегда знает, что происходит, даже когда не происходит ничего», — думаю я и, не зажигая света, набираю ее номер.

Голос у нее, как ни странно, поначалу приветливый. Но когда я спрашиваю, не знает ли она, где Йони («Мне не удалось с ним сегодня поговорить», — поясняю я), ее приветливость сразу куда-то испаряется.

— Его рабочий телефон — 578-65-43, — говорит она сухо. — И вообще, у меня гости. Извини.

Когда она вешает трубку, мне становится совершенно ясно, что они собрались у нее. Да, все, с кем я по жизни связана, — все они сейчас сидят у Ширы и планируют будущее без меня.

Я пробую вспомнить постоянно окутанное дымом лицо Арье. Даже когда он не курит, кажется, что его окутывает размывающий черты лица дым. Такое впечатление, что он специально окутывает себя дымом, словно говоря этим, что детали никакого значения не имеют. Сквозь дым на меня смотрит породистая, солидная, но в то же время порочная физиономия, на которой написано, что ее обладатель выше добра и зла, нравственного и безнравственного, приемлемого и неприемлемого. «Кто вознес его на такую высоту?! — возмущенно восклицаю я и сама же себе отвечаю: — Он! То есть ты! То есть я!»

Чтобы успокоиться и скоротать время в ожидании Йони, я начинаю думать про дом моего детства, но никак не могу вспомнить, были ли там оштукатурены стены. В конце концов я решаю, что сначала не были, а потом — были, но в любом случае этот дом был именно таким, каким должен быть дом. Ну или каким считается, что он должен быть. Домом, который словно сошел с картинки. Даже черепичная крыша у него была, если мне не изменяет память. Да и с какой стати ей мне изменять? Я ведь прожила там почти двадцать лет. Кто же еще должен знать это, как не я? Впрочем, иногда то, что кажется хорошо знакомым, преподносит нам сюрпризы. Потому что когда что-то мелькает у тебя перед глазами каждый день, ты перестаешь замечать детали. Как в той истории про тетю Тирцу, которую любила рассказывать мне мама.

В день, когда Тирца должна была развестись с мужем, с которым прожила тридцать лет, она решила сделать ему напоследок приятное и утром, когда они стали пить кофе, спросила: «Сколько тебе положить сахара?» — «Я уже тридцать лет пью кофе с сахарин-ном», — ответил он.

«В двадцать лет не женятся, а в пятьдесят не разводятся, но если ты сделал ошибку в двадцать — сделаешь ее и в пятьдесят», — сказала однажды мама со вздохом и строго посмотрела на меня, как бы говоря: «Если не будешь осмотрительной, тебя постигнет та же участь». «Она не ценила своего мужа, — добавила она. — Он казался ей чересчур хорошим человеком, а ей хотелось пострадать. Ну не хотела она умирать, не пострадав, и всё тут. Вот и получила свою долю страданий, да еще с процентами».

\* \* \*

Тирца была высокой, тоненькой, красивой, но холодной, и я не могла представить ее страдающей по-настоящему. Она всегда казалась мне ужасно равнодушной. У нее вечно был такой скупающий вид, как будто даже страдания вызывали у нее смертельную скуку.

Ее муж, дядя Алекс, был черненьким, низкорослым и все время вкалывал. Рядом с ней он казался каким-то жуком, и я понимала, почему он действовал ей на нервы. Но вскоре после развода он нашел себе молодуху, считавшую его замечательным, и действительно стал замечательным. Иногда, по субботам, он приходил к нам с ней в гости, чтобы похвастаться, и я была поражена тем, как он изменился: стал вдруг таким уверенным в себе мужиком, да еще с чувством юмора. Тирцу это тоже поражало. Мама всегда информировала ее о визитах Алекса, просила прийти пораньше и прятала в спальне, откуда можно было подслушивать. Хотя Алекс был маминым родным братом, она почему-то предпочитала ему Тирцу.



Папа каждый раз злился и говорил, что это в последний раз, что он больше не готов терпеть эту комедию, а в мои обязанности входило тайком носить Тирце кофе и еду со стола, а также выбрасывать за ней окурки. Однажды Алекс увидел, как я выношу из спальни полную пепельницу, посмотрел на меня с подозрением и спросил: «Ты что, куришь?» Причем с таким видом, как будто говорил: «Знаю я таких, как ты. Ты обязательно начнешь курить. Это всего лишь вопрос времени». — «Нет, я только окурки выношу». — «Это хорошо», — сказал он, но вид у него при этом был несколько озадаченный. «А она у тебя красивой становится, — сказал он маме. — Только нехорошая у нее какая-то красота». — «Почему это нехорошая?» — возмутилась мама. «Потому что это такая же красота, как у Тирцы. Красота, которой человек ни с кем не делится и от которой никому ни тепло ни холодно. Включая самого этого человека».

Слушая все это, Тирца курила сигарету за сигаретой, а когда счастливая парочка удалялась, выходила из спальни зареванная, с красными глазами, провонявшая табаком и начинала говорить про новую женщину Алекса гадости: мол, и одевается-то она, как шлюха, и разговаривает, как шлюха, «и вообще, — заявляла она, — мне стыдно, что он променял меня на эту фифу; никогда ему этого прощу!». — «Но Тирца, — говорила мама, — ты же сама решила с ним разойтись. Он никогда бы тебя не бросил, хоть и знал про твои похождения». После этого они начинали о чем-то перешептываться.

Под вечер Тирца умывалась (лицо у нее даже в пятьдесят было все еще миловидным и гладким), облегченно вздыхала — как человек, натерпевшийся ужасных страданий в сауне, но убежденный, что это полезно для здоровья, — и уходила домой, а ночью, когда мои родители укладывались в спальне, все еще воняющей сигаретами, папа говорил маме: «Садистка, вот ты кто! Зачем ты ей сообщаем про визиты Алекса? Зачем ты ее приглашаешь? Чтоб ее помучить,

да? Ты просто ей завидуешь, вот и все. Потому что она успешный адвокат, а из тебя ничего не вышло. Строишь из себя ее подругу, а сама над ней издеваешься. Думаешь, я этого не вижу, да?» — «Ничего из меня не вышло, говоришь?! — начинала кипятиться мама. — А знаешь, почему из меня ничего не вышло? Потому что я всю жизнь отдала тебе! Я тебя обслуживала!» — «Ага, обслуживала она. Можно подумать, меня так трудно обслуживать. Просто решила потратить свою жизнь на чепуху, и больше ничего». — «Растить твоих детей — это чепуха, да?! Заботиться обо всех — это чепуха?» — «О ком это, обо всех? — взрывался папа. — Ты только о себе всегда и заботилась. Думаешь, я забыл, как это было, когда у нас родился ребенок, который в тебе действительно нуждался?» — «Как ты смеешь?! — орала мама. — Можно подумать, из тебя что-то такое особенное получилось! Сидишь в этой своей лаборатории, как крыса в клетке. Не бросил бы учебу, доучился бы — мог бы нашего ребенка спасти! Тогда бы мы не зависели от этих кретинов-врачей в этой дебильной больнице!» После этого она хватала одеяло и подушку, выбегала из спальни, хлопала дверью и укладывалась на диване в гостиной.

Как человек, чья совесть абсолютно чиста, засыпала она довольно быстро, а я подходила к ней и пыталась отыскать на ее помятом лице хоть какой-нибудь намек на правду. На какую именно правду? Вопрос на самом деле состоял не в этом. Вопрос стоял так: кого жалеть. Я ходила от папы к маме и обратно, смотрела, как они спят, и думала, кого из них пожалеть. Как будто моя жалость была лекарством, которое могло спасти им жизнь, но его хватало только на одного, и я не знала, кому его отдать.

Иногда я засыпала на полу, на полпути между ними, и утром видела, как по мне блуждают их глаза. А в них — упрек. Упрек за все те годы, что они пытались произвести меня на свет (а это почти столько же, сколько было мне тогда). Потому что в конце концов я их разочаровала, не оправдав потраченных

ими усилий. Я не принесла им спасения. Спасением для них могла бы стать моя тяжеловесная, мучившая меня самую жалость, но, не зная, кому ее отдать, я отдавала ее самой себе, и, чувствуя это, они относились ко мне так, словно я причинила им большую несправедливость. По ночам они устраивали за моей спиной короткие полевые суды, наваливая на меня кучу бесчисленных мелких обвинений, и эти обвинения, накапливаясь, сливались в одно огромное обвинение, искавшее кровать, где можно переночевать. Иногда папа говорил: «Она будет как Тирца. По ней это уже сейчас видно» — и в его глазах это было очень серьезной опасностью, хотя отношения с Тирцей у него были хорошие: когда они разговаривали, беседа их текла плавно. Наверно, он ненавидел не саму Тирцу как таковую, а какую-то ее часть: измены мужу, высокомерие, жестокость — то есть некую концентрированную выжимку ее характера, не исчерпывавшую ее полностью. Эти ее особенности выходили на первый план только тогда, когда кто-то пытался ее охарактеризовать. «С какой это стати? — возражала мама. — Тирца такая холодная, а Яара такая теплая». — «Может, это по отношению к тебе она теплая, — говорил папа обиженно, — а по отношению ко мне — нет». — «Но какого такого тепла ты от нее хочешь? — атаковала мама. — Ты-то сам кому-нибудь какое-нибудь тепло даешь? Почему же ты ждешь этого от нее?»

\* \* \*

В соседней комнате вдруг зажигается свет, и я вижу, как Йони снимает куртку, под которой у него оказываются спортивная майка и шорты. Странно, но я даже не слышала, как открылась входная дверь. Сердце у меня начинает щемить: таким молодым, ангелоподобным и милым выглядит он в этой своей белой теннисной форме, — и, наблюдая за ним из темноты, я испытываю такую гордость, словно он

мой сын. «Надо же, как замечательно он научился ходить! — умиляюсь я. — Умеет самостоятельно снимать куртку, включать свет. Буквально все уже научился делать мой чудный мальчик...» Но тут он осторожно, чтоб меня не разбудить, направляется в спальню и останавливается у порога. Он стоит и вглядывается в темноту, но, судя по всему, меня не видит; возможно, даже не уверен, здесь ли я вообще. Тем не менее подойти и проверить не решается. Я же, в отличие от него, вижу его отлично. Я смотрю на его волнистые каштановые волосы, красивое тело и снова, как когда-то — когда увидела его в первый раз, — недоумеваю, почему к такому красивому телу не приставили красивого лица.

— Кротёнок, — шепчет он наконец.

Сделав вид, что проснулась, я потягиваюсь, протираю глаза и, не дав ему ничего спросить, выпаливаю:

— Я тут немножко прикорнула. Кстати, я за тебя волновалась. Совершенно забыла, что у тебя сегодня теннис.

Голос у него ласковый, и я радуюсь, что всё хорошо закончилось, но тут он вдруг говорит:

— Я звонил тебе на кафедру. Мне сказали, ты не пришла.

«Спокойствие!» — приказываю я себе и бормочу:

— Да, я что-то неважно себя чувствовала; решила остаться дома.

— Но я заходил домой переодеться; тебя не было, — говорит он, и его голос становится жестким.

У меня вдруг появляется желание все ему рассказать. Заплакать и рассказать, до чего я сегодня докатилась. «Ты должен меня запереть и не выпускать из дома!» — чуть было не говорю я, но вместо этого приказываю себе: «Спокойствие!» — и думаю: «Признаться никогда не поздно. Сначала надо попробовать выкрутиться».

— Да, я ходила в аптеку купить таблеток от головной боли.

— Здорово, — говорит он и включает свет. — У меня ужасно болит голова. Где они?

— Наверно, у меня в сумке, — мямлю я, жмурясь от внезапного света.

Он приносит мою сумку, кладет ее рядом со мной на кровать, как кладут принесенного на кормление грудного ребенка, и говорит:

— Не люблю копаться у тебя в сумке. Ты же знаешь, я уважаю твою личную жизнь.

— Их тут нет, — говорю я, сделав вид, что порылась внутри. — Наверно, они на кухне. Если я их, конечно, из-за головной боли в аптеке не забыла.

«Господи, только бы он не пошел в аптеку», — мысленно молюсь я, но, на мое счастье, снова начинается сильный дождь. Даже не дождь, а настоящий потоп.

— Слушай, — предлагаю я. — А ложись-ка ты тоже в кроватку. Я тебя мигом от головной боли избавлю.

Йони присаживается на край, но вдруг встает. Как будто что-то вспомнил или что-то его беспокоит.

— Пойду сначала искупаюсь. От меня потом разит. Это странно. Во-первых, никакого запаха пота я не чувствую, а во-вторых, раньше он про душ всегда забывал и мне приходилось ему напоминать. «А может, он не с тенниса пришел? Может, он пахнет другой женщиной?» — думаю я и вспоминаю, какой у Ширы был голос, когда она сказала, что у нее гости.

— Как сегодня игралось? — спрашиваю я.

— Как обычно, — отвечает он и начинает раздеваться

— А с кем ты играл?

— У меня постоянный партнер. Забыла?

— А кто он? Напомни.

— Арье, — говорит он, и мне кажется, что на его ангельских губах появляется сатанинская усмешка.

— Арье? А кто это? Сколько ему лет?

— Моего возраста, может, чуть-чуть постарше. Ты что, его не помнишь? Недели две назад мы повстречались с ним в супермаркете.



Сказав это, он поворачивается ко мне своей белой мягкой спиной и идет в душ.

«Не нервничай! — говорю я себе. — Нечего пугаться из-за каждого пустяка». Честно говоря, я даже не знаю, чего боюсь больше: что Йони пошел смывать с себя другую женщину или что он сбежал от меня в душ, потому что знает, что я лгу. И с чего это вдруг его партнера зовут Арье? Что-то тут не так. Наверно, Йони его выдумал, чтоб дать мне понять, что все знает.

Когда из ванной доносится пение, я бросаюсь в гостиную и начинаю рыться у него в сумке. В ней лежит ежедневник со списком телефонов. Я просматриваю все имена на букву «а», но Арье там нет. Тогда я просматриваю все остальные буквы алфавита. Фамилии мне попадают разные, но ни одного Арье я там тоже не нахожу.

— Яари, принеси мне полотенце, — кричит Йони.

Я сую ежедневник обратно в сумку, беру из шкафа полотенце и отправляюсь в заполненную паром ванную. Мне всегда казалось, что приносить друг другу полотенце могут только самые близкие люди и что именно в этом-то как раз прелесть семейной жизни и состоит. Крикнешь из ванной: «Полотенце!» — и можешь не сомневаться, что кто-то обязательно встанет с кровати, поднимется со стула, перестанет просматривать ежедневник, возьмет в шкафу полотенце и принесет тебе. И все это благодаря одному-единственному слову, «полотенце»...

Тело у Йони рыхлое, словно тесто; стоит его потереть — на нем появляются полосы и пятна. Я смотрю, как он вытирается, и мне кажется, что он улыбается. Я начинаю мурлыкать сочиненную в машине песенку про переменчивую судьбу и возвращаюсь в постель. Только время сможет прояснить ситуацию, думаю я, а пока посмотрим, придет ли он в кровать. Если да, это будет знак, что он пришел не от женщины. Но тут я вспоминаю, что пришла от мужчины, и тем не менее готова переспать с Йони. Потому что

хочу рассеять его подозрения. Что же мешает ему поступить точно так же? Нет, все эти знаки не более чем гадание на кофейной гуще. От них только голова разбалливается и настроение портится. Надо просто смириться с тем, что мы никогда друг о друге всего не узнаем, и точка. Даже половины — и той не узнаем. Кстати, Йони наверняка думает сейчас то же самое. Вернее, не знает, что и думать. Эта мысль сначала меня смешит, но потом мне становится грустно.

— Слушай, ты есть не хочешь? — спрашивает он, вернувшись из ванной.

— Ужасно хочу, — отвечаю я, но сразу жалею, что это сказала. Ведь если я плохо себя чувствую, у меня не должно быть аппетита. Вечно я покупаюсь, когда он берет меня на пушку. Однако он спокойно отправляется на кухню и начинает резать овощи. Судя по доносящимся оттуда звукам, никакой душевной бури он не испытывает и неизвестностью не терзается: его нож режет овощи ритмично и монотонно. Поэтому я тоже иду на кухню, достаю яйца, делаю болтушку для омлета, ставлю его жариться, обнимаю Йони и говорю:

— Я тебя люблю.

Мне действительно в этот момент так кажется.

— Знаю, — улыбается он.

— Откуда ты можешь это знать?! — злюсь я. — Может, я просто так это сказала!

Тем не менее очевидно, что он ни в чем меня не подозревает, и поначалу я этому радуюсь. Но потом расстраиваюсь. Ведь взаимные подозрения делали нас равными, а теперь мы снова стали неравны. Как мать и сын. К тому же своим доверием он переложил груз вины на меня. Еще недавно я чувствовала, что камень вины у меня с души свалился, но сейчас вина опять вернулась и разгуливает у меня в животе. Весь мой аппетит разом испаряется.

— Что-то мне опять нехорошо, — говорю я, переворачивая начинающий подгорать омлет, и ухожу в спальню.

Я лежу в темноте, слушая, как он бодро и тщательно пережевывает пищу. Потом становится слышно, как он отрезает себе хлеб и макает его в салат. Потом он вытирает губы салфеткой и относит грязную посуду в раковину — к ее залежавшимся там еще со вчерашнего дня товарищам. Наконец, он приходит в спальню, с усталым вздохом ложится в постель и начинает меня ласкать. Однако я уже успела забыть, знаком чего это является, и напряженно думаю, что делать. Сказать, что не хочу? Вообще-то это уже давно вошло у нас в норму, но именно сегодня может вызвать подозрения. Подумает еще, что я сексуально сыта. Проявить энтузиазм? Такое поведение с моей стороны будет необычным и тоже покажется ему подозрительным. Еще, чего доброго, решит, что я притворяюсь, потому что пытаюсь что-то скрыть. Одним словом, я долго не могу придумать, как выбраться из этой ситуации, но в конце концов решаю, что и мешать ему не буду, и энтузиазма выказывать не стану; не буду отталкивать от себя его рук — которые вдруг кажутся мне похожими на руки Шауля, — но при этом останусь совершенно равнодушной. И тут я вижу его глаза. Его растерянные глаза. Он совершенно не знает, что делать дальше — ни со мной, ни с собой, — и выглядит настолько обескураженным, что мне становится его ужасно жалко. Я буквально тону в этой жалости. Она течет рекой, и мне кажется, что даже простыня от нее намокла. Тогда я пытаюсь себя раззадорить: сначала представляю, что я — с Арье, а потом — что Арье и Шауль на меня смотрят. Это обаяет, и я начинаю энергично ласкать Йони. Однако он уже потух. Глаза у него открыты, но он лежит возле меня, как мертвый. Тогда я начинаю гладить и ерошить ему волосы, целовать лоб и глаза (с его лицом я всегда ладила лучше, чем с телом), но вдруг чувствую, что забыла, как всё это делается, и каж-дое мое движение кажется мне нелепым. Поэтому я просто ложусь рядом с ним и беру за руку. Так мы —

с переплетенными пальцами — и лежим. Лежим и слушаем дождь. Голые, не стесняющиеся своей наготы, как дети в кибуцном детском саду, и совершенно бесполое.

\* \* \*

Я боюсь, что ему захочется поговорить, но, к счастью, он засыпает, и я слушаю, как он дышит. Дыхание у него тихое: даже во сне он ведет себя благовоспитанно. И вдруг я перестаю его слышать. Неужели умер?! По-настоящему?! Смерть в колыбели?!\* Вообще-то так обычно умирают трехмесячные младенцы, но с него станется. Не решаясь дотронуться до его лица, я трогаю его волосы, и в голову начинают лезть всякие глупости. Скоро его волосы станут холодными, полиция увезет его труп, скажет, что я убила его из-за того, что не хотела с ним спать, а все будут тыкать в меня пальцем и распевать:

Не хотела жопой шевелить  
И решила муженька пришить!

«Ничего подобного, — скажу я им. — Это не я. Это смерть в колыбели. Йони умер смертью ангелов». — «Ну, ты даешь! — скажут они. — Смерть в колыбели... Это в тридцатилетнем-то возрасте?!» И тут вдруг появится Шауль в черной судейской мантии. Я брошусь к нему и скажу: «Шауль, вы меня помните? Я Яара, дочка Кормана. Вы обязаны меня спасти!» — «Кормана? — скажет он. — Врете вы всё. Никакой дочери у Кормана нет». — «Ты что, меня не помнишь?! — заорю я. — Хочешь сказать, мы незнакомы? А по-моему, еще как знакомы! Даже родной папа, который мне пеленки менял, и тот не знает меня, как ты!» И от полного отчаянья, чтоб заставить его вспомнить, начну раздеваться. Более того, попытаюсь даже вос-

---

\*«Смерть в колыбели» — народное название «синдрома внезапной детской смерти» (СВДС).

произвести позаимствованные из порнографического фильма позы, которые принимала, лежа у него в кровати. Конечно, с моей стороны это несколько самонадеянно: думать, будто у меня настолько выдающееся тело, что кто-то может запомнить его навсегда, — но, увидев меня голой, он постепенно начнет вспоминать. «Да, — скажет он, неохотно трогая меня своими белыми пальцами, — теперь я что-то такое припоминаю. Вы из какого-то кибуца в Негеве, верно?» — «Нет, — скажу я. — Мы с Арье пошутили». — «Послушайте, — скажет он, недоверчиво моргнув. — Даже если б я и хотел вам помочь, я не могу. Разве вы не видите, что я нахожусь здесь не как судья, а как заключенный?» Он вытянет руки, и я увижу на них наручники, а все вокруг засмеются и запоют:

Но когда самой не терпится,  
Вот тогда она — затейница.  
Как юла, в постели вертится.

Я быстро оденусь и начну искать Арье. Потому что он тоже, как и мы, должен будет там находиться. Может, даже с цепями на ногах. Ведь он самый опасный преступник из всех. Но его нигде не будет. «Можете его не искать, — скажет Шауль. — Он в таких местах не бывает. Он их не любит». — «Но и я их не люблю», — скажу я. «Не любили бы — вас бы здесь не было», — ответит он.



## ГЛАВА ПЯТАЯ

Увидев меня, она придвигается к стене, словно хочет освободить мне место возле себя. Ее кровать стоит у большого закрытого окна. Сквозь окно виден маленький фрагмент светлого, радостного, соблазнительного мира — мира, вызывающего у больных зависть, мира, в котором живут здоровые люди, — а также пара домов и невысокая, как холм, желтая гора. Кажется, что вплотную придвинутая к окну жалкая узкая кровать располагается у ее подножья. В кровати лежит тетя Тирца, которая меня терпеть не может.

— Зачем ты пришла? — ворчит она, улыбнувшись мне невеселой и даже какой-то злой улыбкой. — Я же сказала твоей матери, что не хочу видеть никого, кроме нее.

— Она сегодня занята, — вру я. — Попросила узнать, не нужно ли вам чего.

На самом деле она ни о чем таком не просила. Сказала, что не сможет навестить сегодня Тирцу, и все. Но по дороге в университет я не удержалась и сошла с автобуса возле больницы. Меня всегда влекло к этому теплему, уютному миру узких коридоров и уродливых тесных палат, к этой обители боли и напрасных надежд, со всеми ее кашлями, стонами и жалкими бледными обитателями, изо всех сил пытающимися сохранить хорошую мину при плохой игре.

— Разумеется, мне кое-что нужно, — усмехается она. — Только вряд ли ты сможешь мне это дать.

— Скажите, что именно, а там посмотрим, — отвечаю я, не зная, что еще сказать.

— Мне нужен твой возраст, твоя молодость.

Вообще-то я не считаю себя такой уж молодой и иногда, встречаясь на улице с девушками помоложе, даже хочу их задушить. Но здесь, при виде искаженных от страданий лиц, я чувствую себя вполне молодой и здоровой. Гарантией счастья это мне, правда, не кажется, но, по-видимому, каждый кому-то завидует и хочет кого-то задушить. Нечто вроде пирамиды такой. Всегда над тобой есть кто-то, кто хочет тебя задушить, независимо от того, насколько ты сама себя низко ценишь. Даже Тирца, чей лифчик и пижама скрывают ампутированную грудь, даже она, лежащая на жесткой кровати, и та способна вызвать у кого-то зависть. Хотя ее саму это, наверно, вряд ли утешит.

— А вы хорошо выглядите, — говорю я.

— Да? — спрашивает она с серьезным видом, достает зеркальце и, делая вид, что проверяет правдивость моих слов, недоверчиво себя осматривает.

Лицо у нее осунулось и уже не такое гладкое, как раньше, но худоба подчеркнула ее большие зеленые глаза и высокие скулы. Взгляд у нее, однако, все такой же: холодный и тяжелый.

— Я и сейчас была бы рада, если б кто-то сказал, что мы похожи, — лъщу я ей.

— А с чего это вдруг кто-то такое скажет? Ты совершенно другая, и мы даже не родственницы. В лучшем случае ты могла бы быть похожей на своего дядю Алекса, но я тебе этого не советую. Кстати, как он там? — спрашивает она вдруг. — Как выглядит? Постарел?

— Нет, он не сильно изменился. Волосы, правда, совершенно седые, но до сих пор кажется маленьким и черненьким.

— Маленький и черненький с седыми волосами? — смеется она и снова начинает всматриваться в зеркальце, как будто оттуда на нее смотрит дядя Алекс.

— Интересно было бы увидеть его постаревшего, — бормочет она, обращаясь к зеркальцу. — Когда-то я знала его лицо досконально. Насколько состарились его глаза, губы? У него есть морщины возле рта?

— По-моему, да, но точно не помню. Не обращала внимания.

Она пытается осторожно потянуться, и на лице у нее появляется страх.

— Не знаю, почему это все еще так больно, — говорит она.

— Потягиваться или думать об Алексее?

— И то и другое. Говорят, боль проходит, — продолжает она с горькой усмешкой, — но это вранье: не проходит. Ни телесная, ни какая другая. Так что прежде, чем сделать какое-то телодвижение, стоит хорошенько подумать. Потому что, если упадешь, — боль никогда не пройдет. Я лично не видела ни одной раны, которая бы зажила.

— Раскаиваетесь? — спрашиваю я тихим голосом.

— Да. Особого значения это, конечно, не имеет, потому что, если б я с ним осталась, тоже бы раскаялась. Но тогда он, по крайней мере, был бы со мной и приносил бы мне кофе в постель, а сейчас он с другой и приносит кофе ей. Первый вариант в каком-то смысле лучше.

Тут вдруг соседняя кровать стонет (пока она не начала стонать, я думала, что она пустая) и из-под застиранной простыни высовывается крошечная белая женщина, выглядящая так, словно скукожилась во время стирки. Как будто кто-то, не прочитав инструкцию, постирал ее вместо теплой воды в кипящей и роскошное вечернее платье превратилось в тряпку.

— Жозефина? С тобой все в порядке? — спрашивает Тирца с нарочитым беспокойством, но в голосе

у нее слышится явное удовольствие. Возможно, потому, что рядом с этой носящей королевское имя женщиной она кажется здоровой и красивой. Вот кто, наконец, готов задушить Тирцу от зависти.

— Да, — свистит скукоженная, застонав от боли (из-за чего ее ответ кажется мне дурацким), и пытается придвинуть к себе огромное инвалидное кресло, но, чем больше она старается, тем дальше оно от нее отъезжает. Не вставая со своего места, я протягиваю ногу, подталкиваю кресло к ней, и легкость, с которой я это делаю, может, наверно, показаться оскорбительной, как будто я делаю это нарочно. Тирца, по-видимому, именно так и думает (потому что смотрит на меня осуждающе и в глазах у нее написано: «Я тебя и всегда-то терпеть не могла, а сейчас еще и знаю почему»), но крошечная женщина благодарно мне улыбается, с удивительной проворностью запрыгивает в кресло — которое ее сразу же полностью поглощает, как ранее поглощала кровать, — и спустя мгновение кажущееся пустым кресло исчезает в узком коридоре.

— Куда это она так спешит? — спрашиваю я Тирцу.

— А что тебя так удивляет? — набрасывается она на меня. — Думаешь, умирающим некуда спешить? К твоему сведению, умирающие — самые занятые люди в мире, потому что за короткое оставшееся время им надо многое успеть.

— Что успеть? — пристыженно спрашиваю я.

— Ну, например, увидеть своего мужа-дегенерата, который каждый день, в одно и то же время, приходит тебя навестить. Вот ты и торопись встретиться с ним у входа в отделение. Оттуда до твоей кровати — пять с половиной шагов, но даже эти несколько шагов тебе хочется провести с ним. Потому что каждая секунда с ним — на вес золота.

— А почему он дегенерат?

— Не знаю, — пожимает она плечами. — Может, я и ошибаюсь. Может, я просто ненавижу мужиков.

Всех мужиков вообще. А особенно тех, кто, как флаг-гом, размахивает своим мужским достоинством.

В этот момент слышится скрип колес инвалид-ной коляски и в дверях возникают они. Сначала по-является страдальческое лицо Жозефины (лицо че-ловека, считающего, что он родился совсем для дру-гой — глядящей его по головке и любовно качающей в люльке — жизни и уверенного, что страдает ис-ключительно по ошибке), а затем я вижу породистое лицо Арье, его большое тело и красивые смутлые руки, держащиеся за ручки на спинке коляски. Он вкатывает коляску в палату, шагая своим характер-ным энергичным шагом (который тормозит только присутствие вокруг большого количества больных); каждый его палец лежит в соответствующем углубле-нии; и на нем тот же черный свитер, что и неделю назад, во время нашей поездки в Яффо.

— Яара?! — восклицает он. — Что ты здесь дела-ешь?

Впрочем, даже удивление от встречи со мной не воспламеняет его потухших глаз.

— Тетю навещаю, — шепчу я потрясенно, словно оправдываясь за то, что вторглась на его территорию.

— Да, ее прислала мать, — подтверждает Тирца, лукаво поглядывая то на него, то на меня.

— А, — говорит он, успокоившись, после чего вни-мательно нас оглядывает и добавляет: — А вы дей-ствительно похожи.

— Ну, что я вам говорила? — улыбаюсь я Тирце.

— Нет-нет, — спешит пояснить она, — мы не род-ственницы.

В окно — словно раздумывая, не присесть ли ему на кровать Тирцы — заглядывает солнце, и все вокруг розовеет. Это солнце, пришедшее из мира здоровых людей.

Жозефина смотрит на Арье вопросительно. Гла-за у нее тоже розовые.

— Познакомься, моя жена, — говорит он недро-гнувшим голосом, показывая на нее рукой (как будто



в палате есть и другие претендентки на эту роль), а затем указывает на меня: — Дочка Кормана.

Что мне делать, я не знаю. Пожать ей руку? Улыбнуться? В конце концов я улыбаюсь и говорю: «Очень приятно», — но вижу, что она недовольна, и протягиваю руку. Однако в ответ она только вздыхает, как бы давая понять, что пожимать руку ей ужасно трудно. Тогда я решаю руку отдернуть, но именно в этот момент она вдруг сует мне свою. Рука у нее розовая и сморщенная, как у только что родившегося ребенка, и, когда я до нее дотрагиваюсь, меня словно бьет током. Как будто этим прикосновением она передала мне свою болезнь. Я вздрагиваю, вскакиваю, спрашиваю, где находится туалет, бросаюсь туда чуть не бегом, подскакиваю к раковине, открываю кран с горячей, почти кипящей, водой, наливаю себе на ладони жидкого мыла и начинаю их яростно тереть. Не может быть, чтоб это была его жена: жены любовников должны вызывать не жалость, а зависть. Как, впрочем, и сами любовники. Они тоже не должны вызывать у тебя жалость. Тем не менее мне вдруг становится ужасно жалко Арье. Неужели это все, что осталось от его жены?! А она... Какая страшная судьба! Умереть без детей, с младенческими ручками, кроличьими глазками, да еще и уменьшиться при этом до размеров ребенка. А ведь на нем все это тоже каким-то образом отражается... Я вспоминаю, как он выпроваживал меня, ссылаясь на жену. Во второй половине дня говорил: «Пора сворачиваться, жена скоро придет с работы»; ближе к ланчу выставлал под предлогом, что они договорились встретиться в кафе. Все время ею прикрывался, чтоб свои делишки втайне от меня обделывать. А она, оказывается, все это время была здесь: лежала и стонала. Сколько раз я представляла, как она входит в квартиру, из которой я только что ушла. Уставшая на работе, но ухаживающая и уверенная в себе, знающая, что ей есть куда вернуться...

Тут дверь туалета медленно отворяется и я вижу Арье: сначала его лицо, все еще освещенное розовым светом, а затем — плечи и все его большое тело. Я никогда не запираю дверей в туалете, потому что боюсь, что застряну там на всю жизнь, но он, в отличие от меня, сразу закрывает дверь на замок. Наверное, доверяет замкам больше, чем я. Какое-то время он стоит, прислонившись к двери, и скептически осматривает содержимое маленькой комнатки: инвалидное кресло с большой дыркой на сиденье, прислоненные к нему костыли, какие-то хитроумные, похожие на искусственные кишки трубки на полу — а затем смотрит на меня, виновато улыбается и говорит:

— Мне надо отлить.

В зеркале над раковиной я вижу его спину, потом слышу звук льющейся струи, а затем комната наполняется таким едким и противным запахом мочи, что я снова наливаю на руки мыла и подношу их к носу. Надо бы сказать ему, чтобы пил больше воды; такая моча — это ужасно нездорово. Но поди скажи такое человеку, чья жена умирает.

Спустив воду, он поворачивается, и я вижу его торчащий из ширинки член, на котором висит большая, темная, почти черная капля. «Почему он не вытирается и не стряхивает ее?» — думаю я, но не могу отвести глаз от этой случайно оставшейся там капли. Она прилипла к его члену, как смола к стволу дерева, и кажется такой же вязкой.

Я так долго терла кисти рук, что они стали уже красными и морщинистыми, как у прачки, но кран закрывать не хочу: боюсь тишины, которая после этого наступит. Поэтому капаю себе нового мыла и мою руки выше (кто его знает, может, микробы Жозефины уже заползли и туда?), но тут бросаю взгляд в зеркало и вижу Арье. Он медленно подходит ко мне сзади и задирает юбку. В зеркале видно, как от удивления у меня отвисает челюсть.

— Я думал, я тебя кое-чему научил, — говорит он разочарованно, обнаружив на мне трусы.

Я отодвигаюсь в сторону, и в зеркале появляется его большая голова. Черные глаза смотрят на меня мрачно и угрожающе.

— Почему ты мне ничего не сказал?

— Потому что это не твое дело, — отрезает он и добавляет: — С ней все будет хорошо.

Он говорит это так, словно хочет нас обоих — и себя, и меня — в этом убедить, после чего, так и не помыв рук, раздраженно закрывает кран, и я поворачиваюсь к нему лицом. Темная капля уже упала и впиталась в брюки, на которых расползается круглое влажное пятно. Неожиданно он поднимает меня и усаживает на холодную раковину.словно я младенец, и он решил помыть мне попку. Из крана капает, моя одежда сразу намокает, а он вдруг наклоняется, кладет голову мне на колени — как будто это подушка, — закрывает глаза, начинает ровно дышать, его — уткнувшаяся мне в лобок — голова тяжелеет, и я слышу храп. Я с грустью смотрю на его седые волосы, на обтянутые черным свитером обсыпанные перхотью плечи и снова пытаюсь вспомнить, какого цвета у него брови, прячущиеся сейчас у меня в паху. Черные? Седые? Но ничего не вспоминается. Тут вдруг в дверь стучат. Стук — осторожный, но настойчивый.

— Яара, ты здесь? — слышу я голос Тирцы. — С тобой все в порядке?

— Да-да, я уже скоро, — мямлю я и пытаюсь слезть с раковины, но голова Арье придавила меня, как тяжелая гиря. Тогда я с силой его от себя отталкиваю. Он вздрагивает и выпрямляется, но стоит как-то неустойчиво, и мне приходится довести его до инвалидной коляски с дыркой, что оказывается непросто. Однако не успеваю я его усадить, как голова у него падает на грудь и он снова начинает храпеть. Храпит он ритмично и мрачно, а мне вдруг становится страшно. Что, если, пока у нас с ним был «тет-а-тет»

(как у жениха и невесты, улизнувших с собственной свадьбы), случилось что-то ужасное? Может, за это время умерла его жена и его разыскивают, чтоб об этом сообщить? В таком случае, когда я вернусь из туалета, мне придется рассказать, что он спит в инвалидной коляске с членом наружу. Нет, я просто обязана засунуть этот член обратно! А то кто-нибудь сюда после меня войдет и подумает, что у нас с ним что-то было. Я оттягиваю его трусы и пытаюсь затолкать туда член, но тот оказывается увертливым и скользким, как рыба. Он все время перемещается с места на место, словно существует отдельно от тела, а маленькая дурацкая прорезь у него на конце округляется и становится похожей на открытый рыбий рот. Смирившись с тем, что заправить член мне так и не удастся, я решаю его по крайней мере прикрыть и натягиваю на него красивый черный свитер, а затем пытаюсь открыть дверь, но, к моему ужасу, она не открывается. Я всегда боялась замков, никогда не умела их открывать, да и руки у меня сейчас потные, поэтому ключ меня не слушается, и я путаюсь, что ко всему прочему еще и никогда отсюда не выйду, но тут наконец-то раздается долгожданный щелчок — и я пулей вылетаю из туалета. Я ужасно вспотела — то ли от жары в больнице, то ли от страха, то ли от растерянности, — и меня бьет крупная дрожь, но, на мое счастье, снаружи никого нет.

\* \* \*

Вернувшись в палату, я вижу Тирцу; она лежит и что-то читает. Однако, когда я подхожу ближе, оказывается, что это не книга, а зеркальце. Жозефина же тем временем дремлет в инвалидном кресле; ее голова свесилась на грудь. «В точности, как у ее мужа, — думаю я. — Если б я привезла его сейчас сюда и поставила его кресло рядом с ее, они смотрелись бы, как близнецы. Осиротевшие, одинокие близнецы».

— Что случилось? — спрашивает Тирца, положив зеркальце на кровать. — Я волновалась. И кстати, где этот дегенерат?

— В туалете, наверно. Он вошел туда после меня.

— Вы что, знакомы? — спрашивает Тирца с горькой усмешкой.

— Да, — отвечаю я и, чтоб переменить тему, показываю на жену Арье: — Как она?

— С ней все кончено. Уже через месяц он будет вдовцом на выданье.

— А сам он это знает?

— Конечно. Сегодня врачи уже ни от кого ничего не скрывают.

Я вспоминаю, как Арье сказал, что с ней все будет хорошо.

\* \* \*

Через несколько минут он возвращается в палату, и меня поражает произошедшая с ним перемена. Как будто он не человек, а дьявол. Вместо старика, которому еще недавно было трудно ходить и который храпел, сидя в инвалидной коляске, передо мной стоит энергичный улыбающийся мужчина с зачесанными назад волосами и застегнутой ширинкой. Только круглое, уже едва заметное, пятно на брюках все еще напоминает о том, что произошло. Подойдя к жене, он кладет ей руку на плечо, и от его прикосновения та моментально просыпается. Она поднимает голову, улыбается ему красивой, полной любви и благодарности улыбкой и кладет на его руку свою кроличью лапку.

— Лучше умереть в расцвете лет, когда тебя любят, чем дожить до ста лет в одиночестве, — шепчет мне Тирца, и я вижу в ее глазах зависть.

— А что, есть только два варианта?

— Два — это много. Иногда даже и одного-то нет, — говорит она, глядя в большое закрытое окно. — Знаешь, я бы сейчас поспала.



— Хорошего вам самочувствия, — говорю я, вставая.

— И тебе, — говорит она с таким вздохом, словно из нас двоих больна именно я. — Береги себя.

Я оглядываюсь. Арье и его жена воркуют, как два голубка, и с губ Жозефины не сходит любящая улыбка. Правда, сейчас она уже больше напоминает гримасу.

— Ты скоро? — спрашиваю я его шепотом. — А то я без машины.

— Еще пару минут, — отвечает он. — Подожди меня в коридоре.

Я сажусь на лавку у входа в палату и начинаю глазеть на медсестер и больных. Они непрерывно снуют мимо меня и кажутся мне муравьями, которые, не подозревая о том, что их вот-вот раздавит огромная нога, продолжают бегать и потеть, отчего вся их беготня выглядит совершенно бессмысленной.

\* \* \*

Вскоре Арье выходит из палаты, смотрит на часы с таким видом, будто подсчитывает, сколько времени потратил на визит и сколько времени у него еще осталось, а затем идет к выходу таким молодым и бодрым шагом, что мне приходится за ним чуть не бежать. Как будто хочет заставить меня забыть о неприятном инциденте в туалете, где я увидела его в минуту слабости. Я мчусь за ним сначала по лестнице, потом по огромной стоянке, и мне уже самой кажется, что ничего такого не было и что я сама все это выдумала. Единственным доказательством того, что это произошло на самом деле, могло бы послужить пятно на брюках, но, когда мы садимся в машину, я вижу, что оно исчезло.

— Так что ты там все-таки делала? — спрашивает Арье, когда мы трогаемся с места, и смотрит на меня с лукавым прищуром.

— Я же сказала: навещала тетю, — отвечаю я в том же шутливом тоне.

— Но твоя тетя здесь недавно, а тебя я вижу в больнице уже давно.

«Спокойствие! Спокойствие!» — приказываю я себе, чувствуя, что краснею от стыда. У меня и раньше было ощущение, что он знает обо мне что-то такое, чего бы мне не хотелось, чтоб он знал, и вот теперь это подтвердилось. Я поражена.

— Почему же я тебя не видела? — спрашиваю я, лихорадочно соображая, что ответить.

— Потому что я старался, чтоб ты меня не увидела. Ты ведь знаешь, я в таких делах мастак, — говорит он со своим типичным гонором.

— Но это же не преступление — посещать больницы, — пробую оправдаться я.

— Да, не преступление, — соглашается он и, ухмыльнувшись, добавляет: — Я бы сказал, это, скорей, извращение.

Я чувствую, как захлестнувшая меня волна стыда покрывается белой пеной признательности. Потому что теперь мне уже ничего не остается, как сказать правду, а я на самом деле только этого и хочу.

— Я знаю, это прозвучит ужасно, — говорю я, — но я люблю посещать больницы. Потому что только там я чувствую себя в безопасности. Особенно когда мне плохо. Стоит мне там погулять — и я успокаиваюсь. Хожу, заглядываю в палаты, делаю вид, что кого-то ищу... Мне нравится больничная атмосфера, нравится, что за людьми присматривают, заботятся о них. Я знаю, что больные мне завидуют, потому что я здорова, но и я им тоже завидую. Потому что кто-то за ними ухаживает, кто-то о них беспокоится. Иногда их жизнь даже кажется мне лучше моей собственной.

— А чем уж так плоха твоя жизнь? — спрашивает он с неожиданной грустью в голосе.

— Сама не знаю. Вообще-то ничего конкретного я назвать не могу... Просто... Наверно, она плоха тем,

что она — моя, а я — ее, и я похоронена в ней, как в могиле.

— Жаль, — говорит он негромко и начинает насвистывать.

Его свист меня сразу успокаивает, и я вспоминаю, как по утрам просыпалась под свист своего папы. Это означало, что у него хорошее настроение и он ни на кого не сердится. В смысле, ни на меня, ни на маму. Мы так привыкли считать это признаком хорошего настроения, что, разбудив меня утром, мама иногда говорила: «Доброе утро. Папа сегодня свистит». Это означало, что день пройдет хорошо. Когда же она говорила: «Он свистел три раза», — в голосе у нее звучала такая гордость, что я сразу понимала: ночью у них был секс. Иногда, когда мне не спалось, я прислушивалась к их голосам. На улице шумел дождь, мяукали кошки, лаяли собаки, выли шакалы, а я вслушивалась и пыталась понять, занимаются ли мои родители любовью. «Ну какая тебе разница, что у них там происходит за закрытой дверью? — удивлялась я сама себе. — У них своя жизнь, у тебя — своя». Но я всегда считала, что они несчастны по моей вине, и, наверно, мне просто хотелось, чтобы все у них было хорошо...

— Ты веришь, что там были шакалы? — спрашиваю я.

— Где? — перестает свистеть Арье, но, не дождавшись моего ответа, начинает свистеть опять.

— Возле нашего первого дома, когда я была маленькой. Нет, я знаю, что они там были, и все равно не верю. Мне кажется, это какая-то выдумка. Как и вся моя тогдашняя жизнь. Она тоже кажется мне выдумкой. Я знаю, что она была, но мне в это не верится. Не верится, что я каждый день видела своих родителей, что мы сидели за большим столом, ели... Что я спрашивала у них разрешения, прежде чем что-то сделать... Не верится, что мы были семьей.

— Что это за семья такая, где надо спрашивать разрешения? — усмехается он.

— Именно это семья и есть.

— Нет, — говорит он, — для меня семья — это нечто прямо противоположное. Это ответственность, которую ты на себя берешь. Мои родители были нищими безработными эмигрантами — униженными, без языка, — и на мне уже в десять лет лежала ответственность за десять человек.

Он закуривает сигарету и удовлетворенно улыбается: видимо, очень гордится своей героической биографией. А я с обожанием смотрю на его пепельные, окутанные серым дымом губы, на держащие руль изящные руки, подобранную со вкусом одежду, волнистые кончики волос — и он вдруг кажется мне абсолютным совершенством. Даже седина и морщины у него — и те совершенны. Я представляю его в возрасте десяти лет. Проглядывающее сквозь рваную одежду смуглое тело, грязные черные волосы, голодные, словно закопченные глаза... Как же из него получился такой денди?

— Слушай, а как из тебя получился денди? Я была абсолютно уверена, что ты рос во дворце.

— Так вот и получился, — смеется он с довольным видом. — Меня никто никогда не баловал — и я стал баловать себя сам. Когда жизнь близится к концу, хочется восстановить справедливость, получить, так сказать, компенсацию за то, что тебе не додали.

— А она тебя баловала?

— Кто? — делает он вид, что не понял.

— Жозефина.

Ее очаровательное французское имя плохо сочетается с плачевным внешним видом, но именно по этой причине я испытываю особое удовольствие, произнося его вслух.

Лицо Арье сразу становится серьезным.

— Она сделала все, что в ее силах, чтоб я почувствовал себя счастливым, — говорит он с таким пафосом, словно она уже умерла и мы идем за ее гробом.

Я съеживаюсь, как собачонка, которую пнули ногой. Я думала, что мы с моим женатым любовником будем сплетничать про его благоверную, что он будет говорить о ней гадости, скажет, что она была скучной, совершенно его не понимала, не удовлетворяла его экстраординарных сексуальных потребностей, а вместо этого рядом со мной сидит мужик, испытывающий перед женой чувство вины и считающий ее чуть не святой. Интересно, что бы сказал обо мне Йони, если б я сейчас умирала. Я ведь, как это ни странно звучит, тоже жена. Сказал бы он, что я сделала все, чтоб он чувствовал себя счастливым?

Пока я думаю о Йони, машина въезжает на узкую, заставленную автомобилями улицу и останавливается возле моего дома, но на этот раз Арье даже не вспоминает о своем знаменитом «безопасном расстоянии».

Я смотрю на горящий в кухонном окне слабый свет, и мне кажется, что я слышу, как под ножом моего усталого, отчаявшегося, добродушного Йони хрустят разрезаемые овощи. Все тело у меня вдруг начинает болеть так сильно, как будто я сама овощ, лежащий на его разделочной доске.

— Арье, я не могу вернуться домой, — шепчу я.

— Почему? — ласково спрашивает он.

— Потому что я точно знаю, что будет. Знаю, что скажет он. Знаю, что скажу я. Знаю, что мы будем есть на ужин и как он будет на меня смотреть. Я не хочу больше этого знать; меня это убивает. Я хочу быть с тобой.

Не говоря ни слова, Арье жмет на газ, и мы уезжаем, оставляя позади и мой дом, и слабо освещенное кухонное окно.

\* \* \*

Арье снова начинает насвистывать, а я кладу руку ему на ногу и закрываю глаза. Я думаю о полутемной кухне с маленьким окном, выходящим на кусты. Вместо



того чтобы давать свет, оно его ворует, и кажется, что на кухне темней, чем на самом деле. Еще я думаю о мусорном ведре, доверху заполненном шкурками от овощей. Мне становится его жалко: зря только переполнилось шкурками, — и я решаю, что, когда вернусь домой, вымою его. Чтобы вернуть его в первоначальное состояние. Потому что оно такое грязное, что никто из нас уже не помнит, как оно выглядело раньше. Я начинаю вспоминать, когда его купила, где это было, что чувствовала, когда его купила, и сделало ли это меня счастливой. А Йони? Сделало ли это счастливым его? Сколько времени это счастье продолжалось? Как оно кончилось?..

Вдруг Арье кладет свою руку на мою — всего на один-единственный миг, потому что в следующее мгновение он использует ее, чтоб сунуть в рот очередную сигарету — и спрашивает:

— Почему вы поженились?

И тут я вспоминаю. Мы купили это ведро, когда решили пожениться. В магазине, который в тот день как раз открылся, а чуть не на следующий день закрылся. Мы проходили мимо него, когда шли домой. Все там выглядело ужасно новым и соблазнительным, даже мусорные ведра, и одно из них мы купили, белое. Да, изначально оно было белым. Потому что мне захотелось именно такое, белое, как фата невесты. Оно казалось мне лебедем, который навсегда останется белым, даже если будет плавать в грязной воде.

— Он пообещал, что будет любить меня вечно, а я знала, что он человек, выполняющий свои обещания, — отвечаю я в конце концов.

— Вот что бывает, когда позволяешь страхам управлять своей жизнью, — смеется Арье, после чего пристально смотрит на меня и говорит: — А знаешь, ты ужасно напоминаешь мне свою мать.

— Маму? — удивляюсь я. — Чем это я ее, интересно, напоминаю? Тем, что сказала, или своей внешностью?

Но тут машина останавливается, и он, точно ужаленный, из нее выскакивает. Видимо, не хочет, чтоб я приставала к нему с дальнейшими расспросами.

Вслед за ним я тоже вылезая из машины, вхожу в подъезд дома, почти уже задушенного растительностью, поднимаюсь по лестнице, и, когда дверь его квартиры раскрывается, у меня возникает ощущение, что я вхожу в свой настоящий дом. Да, это мой дом! Наконец-то я его нашла! Здесь, и только здесь, начнется моя настоящая жизнь!

Я неторопливо расхаживаю по квартире, осматривая мебель, ковры и картины так, словно вижу их впервые (потому что раньше смотрела только на Арье), думаю, что мне тут нравится, а что — нет, и прикидываю, где разложу вещи. В конце концов я прихожу к выводу, что оставляю их у Йони. «Кстати, надо бы ему позвонить, сказать, где я», — мелькает у меня в голове, но говорить с ним в присутствии Арье мне неловко, и я решаю, что придумаю, что сказать, когда вернусь домой.

В квартире так холодно, словно в ней никто не живет. Просто ледник какой-то. Но при этом невероятно чисто, какая-то прямо неземная чистота. Как будто ее продезинфицировали.

— А кто здесь делает уборку? — спрашиваю я.

— Я, — с явной гордостью отвечает Арье. — Сам. Не люблю пускать в дом посторонних.

Я провожу пальцем по большому пианино, вижу, что оно чистое, хвалю Арье и спрашиваю, кто научил его убираться.

— Так ведь мы же уже выяснили, что я не такой уж и неженка, — бурчит он. — Пока твой папа развлекался в своей гимназии, я помогал маме убирать квартиры.

В его голосе мне слышится горечь, и я думаю, что если ему так горько об этом вспоминать, то, наверно, он и впрямь говорит правду. И все равно мне кажется, что это какая-то далекая от реальности выдумка.

Не снимая куртки, я хожу за ним по пятам и смотрю, что он делает. Я хочу понять, как он живет. Мне кажется, что, если я увижу, как он включает отопление, то узнаю о нем нечто важное. Вот он открывает холодильник. Тот совершенно пуст, но он его внимательно осматривает. А вот он открывает морозильник — тоже почти пустой, — достает из него мороженое, разрезает ножом на две части и раскладывает по тарелкам.

Я сажусь возле своей тарелки и смотрю на мороженое. Есть его в таком холоде мне совершенно не хочется, да и выглядит оно так, словно валяется тут с самого лета: картонная обертка приклеилась к нему уже намертво. Гораздо больше мне хочется спросить Арье, была ли Жозефина больна уже этим летом. Но он настолько поглощен мороженым, что в конце концов я решаю не спрашивать. Какая, в сущности, разница?

Замерзшая розовая масса на моей тарелке таять даже не собирается, и я подталкиваю ее к Арье, который жадно на нее набрасывается. Съев мое мороженое, он достает из шкафа бутылку виски и отхлебывает прямо из горлышка. Только после этого он достает два стакана и наполняет их виски, но свой сразу осушает.

Я смотрю на этот странный ритуал, как загипнотизированная, и чувствую даже некоторую гордость от того, что он меня абсолютно игнорирует, не стесняясь мне всё это демонстрировать.

На меня он смотрит только после третьего стакана, и в глазах у него написано удивление. Однако потом они снова наполняются горечью, а его лицо становится непроницаемым.

— Это все, что есть, — говорит он так, словно имеет в виду не только мороженое, и закуривает, а я думаю о том, что жить мне с ним будет очень легко. Потому что я знаю, что он меня не любит, и мне не придется все время дрожать от страха, что он меня разлюбит.

В этом смысле у меня огромное преимущество перед всеми женщинами в мире. Потому что его нелюбовь ко мне совершенно очевидна.

Квартира начинает понемногу прогреваться, и он снимает свитер. Под ним оказывается застиранная коричневая майка. Она такого же цвета, как он сам, и почти сливается с его телом.

Тогда я снимаю куртку.

— Продолжай, — говорит он, подливая себе виски.

Как хорошо, что я надела под свитер не какую-нибудь тряпку, а кружевное боди.

\* \* \*

Оставшись в боди и колготках, я сладко потягиваюсь, чтоб его возбудить, но он не реагирует. Он продолжает курить и пить и делает это до тех пор, пока его глаза не соловеют, а речь становится медленной и затрудненной.

— Ты знаешь, что мне нечего тебе дать, — говорит он.

Я киваю головой так восторженно, словно он сообщил мне хорошую новость, подхожу к нему и начинаю гладить его руки — особенно там, где они граничат с майкой, — а потом целую в напряженную шею, от которой исходит резкий больничный запах, и на мгновение вспоминаю про крошечную женщину, становящуюся с каждой минутой все меньше и меньше, но, поскольку она больше напоминает мне домашнее животное, чем женщину, мне по-прежнему не верится, что это его жена, а ее неумолимо надвигающаяся смерть кажется мне менее печальной, чем смерть какого-нибудь человека, и даже менее значительной, чем смерть Тульи.

— Отведи меня в спальню, — шепотом прошу я, уткнувшись губами в шею Арье (потому что в спальне я еще ни разу не была), но такое впечатление, что он меня не слышит. «Может, опять уснул?» — думаю

я, видя, что он не шевелится, но тут он вдруг встает и, пошатываясь, направляется в спальню. Раньше ее дверь всегда была закрыта, но, как только он ее открывает, я сразу понимаю, почему он ее так старательно закрывал. Потому что это самая страшная и асексуальная спальня из всех, что я видела. Две — похожие на больничные койки — узкие кровати, инвалидное кресло в углу, абсолютно голые стены и запах лекарств. Однако меня это, как ни странно, даже воодушевляет. Потому что если б там было уютное гнездышко для влюбленных, мне бы, наверно, стало не по себе: я бы почувствовала себя виноватой.

Я тяну его за руку к одной из кроватей и вижу, что он начинает нехотя, чуть не против своей воли, просыпаться. Он оттаивает, как съеденное им мороженое, а я думаю: «Чем больше будет увеличиваться его член, тем сильнее будет уменьшаться его жена, и скоро ее не станет совсем; она просто-напросто исчезнет, и ее нельзя будет увидеть невооруженным глазом».

С вновь обретенной смелостью, объясняющейся, возможно, тем, что смирилась с его нелюбовью (вот она, настоящая любовь! я учусь любить, не ожидая взаимности!), я стягиваю с него брюки, окидываю взглядом его тело, которое скоро, буквально через минуту, станет моим, люблюсь оливковой кожей (там, где она не прикрыта трусами и майкой) и начинаю ласкать его поверх белья. Я всегда предпочитаю ласкать поверх белья — это кажется мне более безопасным, — но, когда начинаю целовать его трусы, он вдруг говорит:

— Мне надо сейчас побыть одному.

Если б я не встретила его сегодня в больнице, он бы, наверно, сказал, что вот-вот вернется жена, но теперь ему ничего не остается, как сказать правду. Впрочем, не исключено, что даже сейчас он врет: возможно, у него просто есть на сегодня какие-то планы. Правда, в таком состоянии он, по-моему, не слишком способен куда-то идти, но я уже знаю, что он умеет



меняться до неузнаваемости, причем за считанные минуты.

— Я не смогу отвезти тебя домой. Я плохо себя чувствую, — бормочет он, когда я оставляю в покое его трусы. — Возьми у меня в кармане деньги на такси.

Вообще-то я рада, что он предложил мне деньги, потому что у меня с собой почти ничего нет; к тому же у меня появляется возможность порыться у него в карманах. Но никаких особых денег я там не нахожу: всего несколько шекелей. Плюс зажигалка, пара справок из больницы и эти его ключи. Что он ими такое открывает?

В этот момент он тяжело вздыхает, переворачивается на живот и обнажается его узкий мускулистый зад. Когда-то мне казалось, что если я увидела голый зад мужчины, значит, этот мужчина у меня уже в кармане. Я вообще раньше думала, что все взаимосвязано: сердце и член, сердце и зад, глаза и зад, пах и глаза. Я не знала, что каждый из этих органов может начать гнуть свою линию и что я могу плакать от разочарования, глядя на зад человека, которого не переносу, вернее, который не переносит меня.

\* \* \*

Когда, рыдая, как последняя дура, я выхожу из подъезда, начинается дождь, и я решаю немного переждать, но тут вдруг подкатывает маленькая черная машина.

Из машины вылезает девица с мундштуком (или, может, какая-то другая, на нее похожая, но с такими же короткими красными волосами) и вбегает в подъезд, а я, плюнув на дождь, бросаюсь наутек. Не желаю слышать, в какой квартире откроется дверь! Не хочу видеть, на каком этаже зажжется свет!

Я иду по почти пустым улицам, без зонтика, без денег на такси, и уговариваю себя, что в доме есть и другие жильцы, что девушка могла прийти к кому-

то еще, что не стоит сразу думать о плохом: мне страшно признаться себе, что она пришла именно к нему, — но вижу перед собой только одно: как он, взведенный, точно курок, и уже готовый к употреблению, приподнимается, увидев ее, на кровати, и как ее красивая — наверняка побритая или подстриженная — киска принимает в себя то, что хотела принять я. Я даже брюки с него сняла; так что ей и трудиться-то особенно не придется. А ведь я хотела этого по-настоящему. Может быть, впервые в жизни поняла, что значит «хотеть»...

Мне ужасно хочется туда вернуться, но это будет слишком унижительно, и я продолжаю идти вперед. Я иду с почти закрытыми глазами и думаю, как ему отомстить. А еще о том, какое у него все противное. И этот его комплекс неполноценности, о котором я узнала только сегодня, и запах мочи, и залежалое, растаявшее у него в животе мороженое... А эта — оседлавшая его сейчас — стильная девица... Ей ведь, небось, даже в голову не приходит, что только тонкая пленка его оливковой кожи отделяет ее от плещущейся у него в желудке грязной лужицы купленного еще летом мороженого.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Не знаю, что у меня сегодня утром болит сильнее: голова, горло или та часть тела, которая соединяет сердце с лобком. Она ноет и зудит, как швы после операции. Но щека у меня воняет лосьоном после бритья. Видимо, пока я спала, Йони — перед уходом — меня чмокнул, и сначала я ужасно на него за это злюсь. Вечно он выливает на себя ведра этого лосьона. Как не знающий меры мальчик, ворующий лосьон у отца. Теперь мне от этого запаха никогда не избавиться... Но, поразмышляв об этом еще немного, я вдруг умиляюсь. Он же подошел ко мне! Нагнулся! Даже вытянул свои оранжевые губы! Старался, одним словом. Причем не ожидая ничего взамен. Ведь я же спала. А это все равно что поцеловать мебель или покойника. Ты делаешь это в полном одиночестве; никто не отреагирует, не оценит. Это очень серьезное доказательство его любви ко мне! Может быть, даже самое серьезное из всех, что я получила до сих пор! У меня вдруг возникает желание прочувствовать силу стараний Йони и уровень его любви; поэтому я свешиваюсь с кровати и целую пол. Однако когда мои губы касаются холодного зимнего пола, я вижу, что под кроватью лежит книга. Трудно даже понять, сколько она там пролежала, потому что она

покрыта таким слоем пыли, словно специально замаскировалась, чтоб от всех спрятаться и тихонько там себе полеживать. Но когда я — не без трепета — ее оттуда достаю, то сразу вспоминаю: несколько месяцев назад ее — с торжественным видом — одолжил мне завкафедрой. Это редкая книга из его личной библиотеки. Я кладу ее на кровать, очищаю от пыли, протирая скопившимися возле меня за ночь мятыми салфетками (Йони, наверно, подумал, что я плакала из-за бедной, больной тети Тирцы), и начинаю читать, а начав, уже не могу остановиться. Более того, я вдруг понимаю, что именно об этом-то диссертацию и напишу: о легендах, связанных с разрушением Храма!\* Какое счастье, что Храма больше нет. Иначе я бы считала, что он разрушился из-за меня, из-за всего, что я натворила. Потому что в этих легендах говорится, что Храм разрушился из-за мелких человеческих прегрешений. Очень мелких и очень человеческих. Как, например, в легенде о подмастерье плотника. Этот подмастерье обманом отнял у плотника жену и подговорил его с ней развестись, а потом одолжил плотнику денег, чтобы тот смог заплатить жене компенсацию за расторжение брачного договора. Но плотник не смог выплатить долг и вынужден был наняться к нему слугой. И вот, когда подмастерье пировал с его бывшей женой, плотник стоял перед ними, подливал им вина, и из глаз его капали слезы, прямо к ним в бокалы. Я пытаюсь представить, как мы с Арье едим колбасу и пьем коньяк, а Йони подливает нам в бокалы и плачет, и мне становится так грустно, что я снова начинаю плакать. Никогда не брошу Йони, решаю я. Потому что только

---

\*Имеются в виду древние еврейские легенды о разрушении двух иерусалимских Храмов — Первого (разрушен армией Навуходоносора в 586 г. до н. э., простояв более 400 лет) и Второго (разрушен в 70 г. н. э. войсками Веспасиана, простояв почти 600 лет).

сегодня поняла, что он любит меня по-настоящему. А бросить того, кто любит тебя по-настоящему, невозможно. Тут я думаю: «Постой, ты что? А как же ты сама? Ты-то его разве любишь?» — но решаю, что я, наверно, как жена того плотника: никто не знает, что она чувствовала; об этом можно судить только по ее поступкам. И вот, вместо того, чтоб заняться каким-то полезным делом, я начинаю размышлять о своих поступках. Но тут раздается телефонный звонок. Звонит секретарша с кафедры.

— Тебя ищет завкафедрой, — говорит она с явным злорадством в голосе.

Я и раньше знала, что она не понимает, почему завкафедрой выделяет из всех именно меня, но, по правде говоря, я тоже этого не понимаю и все время жду, что это вот-вот кончится. В конце концов он поймет, что я не такая перспективная, как ему кажется, и я превращусь из надежды в разочарование. А поскольку я знаю, что это может произойти в любой день, то решаю, что, если уж она так злорадствует, значит, наверно, этот день уже наступил. Сердце у меня начинает учащенно биться, и на нервной почве я загибаю в найденной под кроватью толстой книге уголки нескольких страниц. «Господи, что я делаю?! Я же порчу редкую книгу из личной библиотеки завкафедрой», — с ужасом соображаю я, и в этот момент в трубке слышится его торжественный голос с английским акцентом:

— У нас было заседание кафедры, и на тебя жалуются. Говорят, ты пропускаешь приемные часы. Кроме того, ты все еще не представила план диссертации. Если так будет продолжаться, ты не получишь ни ставку, ни стипендию. Ты хоть знаешь, сколько на эту стипендию желающих? Если ты не поможешь себе сама, даже я не смогу тебе помочь.

— Я просто никак не могла найти тему для диссертации, — говорю я виновато, подождав, пока он



закончит. — Поэтому и не подала план в срок. Но буквально сегодня утром я эту тему нашла. Теперь я знаю, о чем буду я писать: о личных драмах героев в легендах о разрушении Храма.

— По-моему, нам стоит это обсудить, — говорит завкафедрой и добавляет: — Ты знаешь, у меня скоро будет целый час свободного времени, и я с удовольствием с тобой встречусь.

— Отлично, тогда я прямо сейчас и выхожу, — говорю я и бросаюсь искать в шкафу подходящую для моего нового имиджа одежду. Потому что решаю, что с этого момента стану женщиной, делающей карьеру. Женщиной, у которой блестящее академическое будущее и любящий муж, который даже наклоняется, чтоб ее поцеловать. А еще я начну курить сигареты с мундштуком и укорочу себе волосы, и мне больше не придется никому завидовать: буду завидовать только самой себе. А если повстречаюсь на улице с Арье — высокомерно улыбнусь и пройду мимо. Потому что кто он на самом деле такой, этот Арье? Насос, выкачавший из меня всю мою силу, время и желание; человек, завладевший моей жизнью и не давший мне ничего взамен, кроме сомнительного удовольствия остаться без сил, времени и желания, да еще и сотворивший все это с таким равнодушием, словно сделал мне одолжение, позволив тратить на него свою жизнь. Но когда я надеваю черные кожаные брюки и синюю бархатную блузку, хорошо сочетающуюся с цветом моих глаз, а затем смотрюсь в зеркало, мне становится обидно, что Арье меня такой не увидит и все это достанется завкафедрой. Однако я говорю себе: «Разрушение Храма! Разрушение Храма! Разрушение Храма! Только это — и больше ничего — имеет сейчас для тебя значение!» Тут я снова представляю, как Йони наливает нам коньяк — даже мысленно наряжаю его в женский фартук с оборочкой, какой бывает у официанток, — и начинаю смеяться. Но потом вспоминаю, как это грустно, и перестаю.

Нашей машины на стоянке нет: видимо, ее взял Йони, — и я иду на автобусную остановку. Поначалу я из-за этого расстраиваюсь (потому что автобус едет мимо больницы, а это сильно удлиняет путь), но утренние пробки уже рассосались, дороги пусты, и автобус едет быстро.

Я сижу и думаю о пустом заброшенном доме, куда часто ходила в детстве. Он ждал меня, спрятавшись в самой гуще огромного сада. К этому дому вела сверкающая золотая тропинка, по обе стороны которой возвышались смотревшие на меня с подозрением мрачные кипарисы (один из них был то ли погнут, то ли сломан), а между ними весело посверкивали разноцветные — оранжевые, фиолетовые, желтые, красные, белые — звездочки лантаны, и чем ближе я подходила к дому, тем эти звездочки казались все больше и больше, пока не становились размером чуть не со спелый мандарин.

Каждый раз, как я видела этот дом, он, несмотря на царившие там запустение, покинутость и разруху, поражал меня своей красотой, и про себя я даже прозвала его «Храмом». «Храм» этот был совершенно необитаемым: сюда забредали только бедные, голодные, вонючие разнорабочие, и в воздухе висел их горьковатый запах — запах усталости, копоты, пива и дешевых сардин. В холодные ночи они разжигали здесь небольшие костры, из-за чего пол — как и стены — был совершенно черным, но в моем воображении он был блестящим, сверкающим, роскошным и влекущим — каким и должен быть на самом деле, — и мне хотелось, чтоб меня тоже воспринимали такой, какой я должна быть. Поэтому я водила туда людей, которых любила. Мне казалось, что только там, в «Храме», они могут увидеть меня в правильном свете. Вначале я таскала туда подружек из класса (чувствовавших себя в этом заброшенном, безлюдном,

окруженном тысячами фруктовых деревьев в доме уютно и поживавшихся от страха), а позднее привела своего первого мальчика. Мы сидели с ним в запущенном, заросшем буйной растительностью дворе, где в тайне от всех цвели огромные экзотические цветы, бродили среди гуав (я кусала мясистые плоды, не срывая их с дерева, чтобы доказать, что они уже спелые и красные), целовались, и я представляла себе, что этот дом — наш. Но в результате губы у меня от поцелуев так распухли, что мне стало страшно возвращаться домой. Я не знала, что сказать родителям. В конце концов я решила сказать, что меня в губы укусила пчела, но мальчик заявил, что губы у меня совсем не опухшие, что мне это только кажется. Вообще-то я была на него зла: ведь губы распухли именно из-за него, — но старалась ему этого не показывать; боялась, что он обидится, уйдет и мне придется тащиться домой, к родителям, одной.

По широкой разбитой лестнице мы поднялись с ним на второй этаж и стали бродить по комнатам, пытаясь представить себе, какая здесь когда-то царила роскошь; потом по узкой винтовой лесенке взобрались на крышу, где перед нами раскинулся сверкающий на солнце сад и до самого горизонта тянулось бесконечное море зелени; и лишь когда стемнело, отправились домой. Мои опухшие губы щипало от холода, мальчик продолжал уверять, что припухлости не видно, а я недоумевала: «Почему он ее не видит? Ведь я так явственно ее ощущаю». Я была в тонкой кофточке, и соски у меня тоже щипало; поэтому я шла, прикрывая грудь руками; а он набрал полную горсть звездочек лантаны и сыпал мне ими голову. Когда я пришла домой, меня выдали не губы, а именно эти звездочки. «Где ты так извалялась? Почему у тебя вся голова в цветах? — спросила мама. — И вообще, где тебя целыми днями носит? Чтоб это было у меня в последний раз, ясно?!» А ночью я слышала, как папа шептал маме: «Чего ты от нее хочешь? Завидуешь ей, что у нее любовь есть, а у тебя нет?»

Через несколько месяцев — там же, в «Храме», на закопченном полу, возле пустых пивных банок, кубиков угля и обрывков старых газет — мы с моим мальчиком занимались сексом (и у него, и у меня это было в первый раз), но после этого я туда ходить перестала. Потому что запах гари стал вдруг вызывать у меня отвращение и я больше не могла воспринимать этот дом таким, каким он должен быть. Я увидела его таким, каким он был на самом деле: грязной, заброшенной развалиной, где потолок — и тот был закопченным. Даже мальчика своего я видеть расхотела, потому что он напоминал мне об этом месте, и вскоре мы с ним расстались.

Я выглядываю в окно, и вдруг соски у меня начинают щипать, а перед глазами возникают молодые изнеженные женщины, бродящие по улицам и выковыривающие из конского помета ячменные зерна. Их отвисшие от голода груди — тонкие, как веревки, а на руках у них сидят умирающие грудные дети, тянущиеся губами к сосцам, в которых больше нет молока\*. «Как хорошо, что я тогда не жила», — думаю я, прикрывая на всякий случай грудь тяжелой книгой, и вдруг вижу, как небо застилает дым. «Потрясающе, — мелькает у меня в голове, — развалины Храма все еще дымятся, и это вижу только я!» — но тут же понимаю, что дым поднимается из больничной трубы, и приказываю себе: «Сегодня ты проедешь мимо и поедешь дальше!» Однако кто-то словно посылает мне сигналы тревоги, зовет меня, и я чувствую, что не имею права отказать, просто обязана прийти на помощь. В конце концов вместо того, чтобы ехать в университет, я в самый последний момент выскакиваю из автобуса, чуть не прищемившего меня две-

---

\*Героиня представляет себе картины страшного голода, царившего в Иерусалиме во время осады города войсками Веспасиана, закончившейся в 70 г. н. э. разрушением Второго Храма.

рю, и направляюсь ко входу в больницу. «Всего на несколько минут, — клянусь я себе. — Только узнаю, как там дела, сяду на автобус и поеду в университет. У меня ведь еще есть время, я успею. Даже в палату заходить не буду. Только загляну в нее из коридора, чтоб узнать, жива ли Жозефина. Ведь Арье я больше не увижу. Значит, мне нужно выяснить это самой». Вообще-то я понятия не имею, зачем мне это выяснять, но как только знакомые больничные запахи — запахи лекарств и еды, — а также стоящие в больнице жара и духота, окутывают меня со всех сторон (подобно тому, как окутывает старая, противно пахнущая, но такая успокаивающая, усыпляющая и утешающая шуба), я снова чувствую, что попала в мир добра — в мир, где людей продолжают лечить, даже когда это бесполезно. Находиться в этом мире мне гораздо приятней, чем ходить по холодным университетским коридорам, и я думаю, что, если со мной сейчас произойдет то, что случилось в Яффо, если я снова потеряю сознание, обо мне будет кому позаботиться. Мне выделяют кровать, тумбочку, и я не должна буду никому объяснять, что я здесь делаю. На мгновение у меня даже возникает идея притвориться, что у меня обморок, и посмотреть, что из этого выйдет, но тут я вспоминаю, что меня ждет завкафедрой, что я могу к нему не успеть, и пускаюсь бежать с такой скоростью, с какой не бегала со времен школьных уроков физкультуры. Только тогда я делала это без всякого энтузиазма, а сейчас бегу с такой прытью, словно в конце забега меня ожидает нечто прекрасное.

Добежав до палаты, где лежат Жозефина и Тирца, я — чтоб отдышаться — некоторое время стою у двери, а затем заглядываю внутрь. Кровать Тирцы пушта — только ее зеркальце поблескивает на подушке, как лезвие ножа, — и мне сразу становится легче. Я подхожу к соседней кровати, на которой с закрытыми глазами лежит умирающая жена Арье, и начинаю ее разглядывать. Она белее покрывающей ее просты-



ни, и я разглядываю ее так пристально, словно она часть Арье. Мне кажется, что если я пойму, как она устроена, то, возможно, пойму и его самого. Смотреть на нее страшно, но при этом в ней есть и что-то трогательное. Она напоминает мне чудовище из сказки — чудовище с благородной душой, — и видно, как душа и чудовище борются друг с другом: иногда побеждает душа, а иногда чудовище.

Внезапно глаза ее открываются. Они голубые, в них теплится свет, и поначалу мне кажется, что душа победила. Но чем шире они раскрываются, тем яснее становится, что битва души с чудовищем проиграна. Потому что как только Жозефина осознает, где находится и в каком она состоянии, ее глаза испуганно расширяются, а взгляд стекленеет.

— Дочка Кормана, — говорит она еле слышно с сильным французским акцентом, увидев меня.

«Что-то слишком часто меня в последнее время так называют, — думаю я, кивая в знак согласия. — Кончится тем, что я вообще забуду, как меня зовут».

— Твоя тетя сейчас у доктора, вернется только к обеду, — говорит она устало.

— У какого доктора? — спрашиваю я, изображая интерес.

— Тебе лучше не знать, — вздыхает она.

— Но ведь доктор — это что-то хорошее, правда? К доктору водят маленьких детей.

— Да, — снова вздыхает она. — Но какому взрослому хочется снова стать маленьким ребенком?

«Мне», — чуть не говорю я, но вовремя сдерживаюсь.

Уходить мне не хочется, и я спрашиваю, могу ли чем-то помочь, а она, как ни странно, радуется и просит приготовить ей чашку чая, подробно объясняя, какой именно чай любит: два пакетика, две ложечки сахара и много молока. «Гм, уменьшилась уже наполовину, а чай и сахар все еще потребляет в удвоенном количестве», — думаю я скептически и, гордая тем,

как много мне удалось о ней узнать, отправляюсь выполнять ее поручение на кухню, где оказывается на удивление много раковин и крабов.

Когда я возвращаюсь, она сидит на кровати, набросив на плечи красный свитер, и смотрит на меня с такой благодарной улыбкой, словно я по меньшей мере спасла ей жизнь. Но мне вдруг становится не по себе. И из-за того, что меня ждет завкафедрой, и из-за того, что в любой момент может вернуться Тирца (еще рассердится на меня за то, что я пришла), но больше всего я боюсь, что в палату войдет Арье и увидит, что я заделалась сиделкой его жены. «Пора уходить», — думаю я, но как раз в этот момент Жозефина просит меня приподнять ей кровать, положить под опухшие ноги подушку и сказать медсестре, чтоб принесла обезболивающее. Вид у нее при этом очень дружелюбный — мне даже кажется, что она успела ко мне привязаться, — и я вдруг чувствую себя полезной. Все, что я делаю, приносит огромную пользу, вызывает у Жозефины чувство острой признательности, и мне совершенно не хочется от нее уходить. Завкафедрой я все равно уже никакой пользы не принесу, себе — тоже. Ну так по крайней мере принесу пользу этому странному, утасаживающему, но такому лучезарному созданию.

Ноги у нее темно-желтые, тяжелые и распухли так сильно, что, кажется, вот-вот взорвутся, и, когда она их поднимает, они буквально застыят мне свет. Я подсовываю под них подушку, которая под их тяжестью сразу проседает, подкладываю еще одну подушку под спину Жозефины, и она становится похожа на человека, лежащего в ванне, однако при этом совершенно сухого. Она улыбается, достает из тумбочки губную помаду, с поразительным мастерством, без зеркальца (чего мне самой никогда не удастся) наносит помаду, и ее красивые губы, цвет которых подчеркивает красный свитер, словно отделяются от измученного лица.

«Прямо как Марта, дочь Байтоса, — думаю я. — Тоже выросла в роскоши и тоже очутилась в куче конского навоза»\*.

— Ты не поверишь, но я помню день твоего рождения, — говорит вдруг Жозефина таким торжественным голосом, словно собралась вручить мне награду за мое усердие.

— Правда? — спрашиваю я равнодушно, потому что день, когда я родилась, не кажется мне таким уж волнующим событием. И уж тем более он не должен волновать ее.

— Да, — говорит она.

Моей реакцией она явно разочарована, но тем не менее добавляет:

— А знаешь, по чистой случайности именно в день твоего рождения я познакомилась с Арье. Помню, он сказал: «У моей подруги, которая много лет лечилась от бесплодия, сегодня родилась дочь».

---

\*Марта, дочь Байтоса — героиня одной из легенд о разрушении Второго Храма. «Три года продолжалась осада Иерусалима Веспасианом... — говорится в этой легенде. — Богатейшая женщина во всем Иерусалиме, Марта, дочь Байтоса, послала слугу на базар за хлебом из тонкопросеянной муки. Вернувшись, слуга заявил, что на базаре остался в продаже только обыкновенный пшеничный хлеб. «Хорошо, — сказала Марта, — сходи и принеси пшеничного хлеба». Придя вторично на базар, слуга нашел уже только пшеничный хлеб низшего качества и поспешил сообщить об этом Марте. «Купи, — сказала она, — хотя бы этого хлеба». — «Госпожа, — доложил слуга, побывав снова на базаре, — хлеба больше нет никакого, а есть один только ячменный хлеб». Но когда он пришел в последний раз на базар, не было уже никакого хлеба. «Пойду сама, — сказала Марта, — может быть, найду хотя бы чего-нибудь съестного». Сняв сандалии, она пошла на базар и, ступая с последними усилиями по засоренной навозом мостовой, упала и умерла. Узнав о смерти ее, воскликнул рабби Иоханан бен Заккай: «О, жившая в неге и роскоши, никогда ноги своей не ставившая на землю от роскоши и изнеженности!»». Цит по: Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей в 4-х частях. Далее в ссылках это издание будет именоваться «Агада».

— «У подруги»?! Вы уверены, что он сказал «у подруги»?! Не «у друга»? По-моему, он дружил с папой, а не с мамой.

— Нет, — упрямо качает она головой, — я помню каждое сказанное в тот день слово. Арье сказал «у подруги» и был так взволнован, как будто сам стал отцом. Я помню, как мы сидели в парижском баре и пили за твое здоровье. Он еще тогда откупорил бутылку шампанского.

Она торжественно берет приготовленный мной чай и приподнимает его вверх, словно желая показать, как они в тот вечер пили шампанское, но вдруг закашливается. Глаза у нее увлажняются, краснеют, чай проливается на простыню, и трудно нагляднее изобразить ужасное расстояние, отделяющее тот день от этого.

Я забираю у нее чай, промакиваю простыню и приношу воду, которую она осторожно выпивает. Голубой и красный цвет перемешались у нее в глазах настолько, что в них образовались фиолетовые пятна, в результате чего глаза стали похожи на контурную карту. На уроках географии контурные карты были моим кошмаром. Когда среди абсолютно похожих друг на друга пятен нужно было распознать страны и города, я всегда вставала в тупик. В ее глазах я тоже ничего не распознаю.

— Я тогда еще не знала, что была беременна, — говорит она вдруг, словно разговаривая сама с собой, причем с такой интонацией, словно это забавный курьез, интересный только тем, кто посвящен в курс дела.

— Беременна? — переспрашиваю я, не удержавшись. — Я думала, у вас нет детей...

— Да, — прерывает она меня, — у меня нет детей. Но тогда я была с другим человеком. Мы собирались пожениться. Однако в тот вечер, когда ты родилась, все изменилось. Я не знала, что беременна, — повторяет она, — и не понимала, почему от шампанского меня вырвало.

— А что стало с ребенком? — спрашиваю я, не в силах сдержать дрожь.

У меня такое ощущение, словно речь идет обо мне.

— Нет никакого ребенка, — говорит она. — Через неделю я взяла чемодан и переехала к Арье. Он не хотел ребенка от другого мужчины, и я сделала аборт.

— Наверное, вы думали, что у вас с Арье будут собственные дети, — говорю я, словно подыскивая оправдание ее роковому решению.

— Нет, я знала, что детей у нас не будет.

— И все-таки прервали беременность? — спрашиваю я, не сумев скрыть упрека в своем голосе.

— Да, прервала, — говорит она так решительно, как если бы с радостью сделала это еще раз.

— И не жалеете?! — спрашиваю я чуть ли не умоляюще.

Потому что мне ужасно жаль неродившегося ребенка.

— Гораздо больше я жалею, что меня не отдали в балетную школу, — говорит она с такой неожиданной злостью, что я даже пугаюсь. Это злость больного человека, который прицепляется вдруг к какому-то пустяку и устраивает скандал. — Ты даже не представляешь, как я умоляла своего отца. Но он заявил, что у нас нет на это денег. А сегодня мне снова снился урок балета. Как будто я, вместе с другими девочками, порхаю по залу. Вся в белом... С тех пор как я заболела, мне это снится постоянно. Уверена: если б я тогда занялась балетом — сегодня была бы здорова. Никогда ему этого не прощу!

— А он еще жив? — спрашиваю я, пораженная злостью, с которой она это сказала.

— Нет, — отвечает она, прикрыв глаза, — но это уже не имеет значения. Я ведь тоже уже почти мертва.

Как бы было хорошо, если б она умерла прямо сейчас, сказав эту последнюю фразу. Как в фильмах. Чтоб Арье пришлось ползать передо мной на коленях и умолять: «Ну пожалуйста, скажи мне, каковы были ее последние слова?» А я его, естественно, буду му-



чить, притворюсь, что забыла, или, может, даже навру. Скажу, что она ужасно сожалела о прерванной беременности, и он до конца своих дней будет чувствовать себя виноватым.

Ее распухшие ноги вдруг шевелятся, и я пытаюсь представить их в белых пуантах, но тут она открывает глаза и смотрит на часы. Возможно, она просто хочет узнать, сколько времени осталось до прихода Арье, но я вдруг холодею. Потому что понимаю, что за все это время ни разу не взглянула на часы, хотя обязана была это сделать еще полчаса назад, как только пришла. От ужаса я не могу пошевелить рукой, поэтому сначала смотрю не на свои часы, а на ее, но когда наконец-то смотрю на свои, то вижу, что они показывают точно такое же время, ровно двенадцать. Это означает, что выделенный мне завкафедрой час только что закончился. Тем не менее именно сейчас, когда терять мне уже нечего, я вдруг начинаю торопиться, говорю, что опаздываю на занятия (Жозефина понимающе кивает головой) и прошу не рассказывать Тирце, что приходила.

— А то еще расстроится, — объясняю я.

Жозефина снова кивает, и я вижу, что цвета у нее в глазах разделились: в центре глаза снова стали голубыми, а по краям — красными.

— Надеюсь, ты не обиделась, — говорит она с серьезным выражением лица.

— На что?

— Ну, что меня вырвало шампанским, которым мы отмечали твое появление на свет.

— Нет-нет, что вы, на здоровье, — говорю я, не понимая, шутит она или всерьез, но сразу понимаю, что глупее этого ответа ничего придумать не могла, и, чтоб не сморозить еще какую-нибудь глупость, резко — забыв обо всех правилах приличия — встаю и направляюсь к выходу. Мне ужасно хочется спросить Жозефину еще раз, уверена ли она, что в тот день Арье сказал именно «у подруги», а не «у друга», но находиться там я больше не могу — потому что от ее

рассказа о том, как она пожертвовала ради Арье своим ребенком, чувствую себя больной — и, выскочив из палаты, снова мчусь по больничным коридорам.

Я успокаиваюсь только тогда, когда выбегаю на улицу и вдыхаю холодный серый воздух.

\* \* \*

В автобусе я сначала пытаюсь придумать, что скажу завкафедрой, но я настолько потрясена степенью вовлеченности Арье в мою жизнь, что завкафедрой быстро отходит на второй план. «По какому праву он в тот день так разволновался? — злюсь я. — Кто позволил ему волноваться, когда я лежала в прозрачном боксе для новорожденных?! И почему, когда я родилась, он волновался, а сейчас — такой равнодушный? Почему не наоборот? Да еще и сказал «у подруги», а не «у друга». Они же с мамой друг друга терпеть не могут...»

Я так во все это погружаюсь, что даже не замечаю, как оказываюсь в университете и начинаю подниматься по эскалатору, а когда наконец-то прихожу в себя, то вижу, что по другую сторону эскалатора спускается завкафедрой, увлеченно беседующий со своим ассистентом. По идее, мне бы надо сейчас спуститься и их догнать, но я чувствую, что после сегодняшней беготни у меня уже нет на это никаких сил, и решаю вместо этого написать завкафедрой вежливое письмо. «Извинюсь и представлю убедительное объяснение», — думаю я и начинаю искать тихий уголок, где можно его написать. Библиотека для этого самое лучшее место.

Склоненные над столами головы, похожие на склонившиеся после заката солнца головки подсолнухов, вызывают у меня угрызения совести. Потому что все тут трудятся над чем-то серьезным, связанным с учебой, и только я пришла, чтоб писать идиотскую объяснительную. Мне не хочется, чтоб кто-то это понял, и я сажусь в самом дальнем углу. «А мо-

жет, лучше начать работать над диссертацией? — думаю я вдруг. — А письмо завкафедрой... Брошу его в почтовый ящик на кафедре как-нибудь потом». И я начинаю бродить среди книжных полок, выискивая труды, посвященные легендам о разрушении Храма. Однако каждый проходящий мимо человек заставляет меня вздрагивать: мне кажется, что он собирается сообщить мне что-то ужасное — и я вдруг вспоминаю историю о том, как в Храм к первосвященнику пришла «сотá» — женщина, подозреваемая в измене мужу. Она пришла, чтоб испить горькой воды\*, но когда первосвященник к ней вышел, он увидел, что это его мать...

Именно здесь, возле этих стеллажей, я впервые увидела Йони. Я везла на скрипучей тележке книги, а они с Широю — как бы случайно — проходили мимо. Она показала мне на него пальцем: мол, смотри, это тот самый парень, о котором я тебе рассказывала, — но, когда солнце осветило его лицо, на нем высветились многочисленные оспинки и стало ясно, что в юности он, вопреки советам врачей, посвятил много времени выдавливанию прыщей. Вообще-то мне это как раз понравилось — что оспинки так хорошо видны, — потому что человек, свободно разгуливающий с таким лицом (не пряча его под чулок или маску), вызывал доверие; в этом была какая-то подкупающая бесхитростность; и я даже подняла большой палец, давая Шире понять, что, на мой взгляд, парень что надо; но позже, когда мы встретились с Йони еще раз и пошли в кафе, оспинки уже были не так хорошо видны, и я расстроилась. Потому что мне хотелось их трогать, хотелось с ними дружить, хотелось, чтоб они были не только его, но и моими, однако они преданно восседали на его щеках и подбородке и уже не казались мне настолько многочисленными, чтоб

---

\* Горькой водой женщин поили, чтобы определить, изменили они мужу или нет. Подробное описание этого ритуала см. в Числа, 5:12—31.

их хватило на нас обоих. По-видимому, в тот день, у книжных стеллажей, лучи солнца падали на лицо Йони под другим углом.

Мы сидели с ним в маленьком кафе, расположенном на круглой, поросшей густой травой лужайке, а на столе стояла корзинка со свежим белым хлебом, и этот хлеб так благоухал, что я чуть не расплакалась. Потому что вспомнила, как сидела здесь с другим своим парнем — тем, что жил возле пекарни. Это было за несколько часов до нашей единственной ночи. Мы поссорились с ним тогда из-за девушки, с которой он много лет встречался. Он сказал, что хочет меня, но в то же время привязан к ней. «Тогда давай проведем вместе только одну ночь и расстанемся», — предложила я, и он согласился. Более того, даже обрадовался. В сущности, мы оба тогда с ним обрадовались — словно нашли хитрый способ сделать яичницу, не разбив яиц, — и эти несколько часов, которые мы, взволнованные кружащим нас танцем чувств, провели в преддверии нашей единственной ночи, показались мне ужасно сладкими. Как только мы решили расстаться, камень у меня с души сразу свалился; я встала, потянулась, и у меня возникло ощущение, что мои руки удлиняются, становятся сначала длиннее в два раза, потом в три, затем касаются потолка... — и что сидящие за другими столиками люди это видят: смотрят на меня и видят, как мои руки удлиняются. Но тут мой парень встал, обнял меня, и мои руки, не успев растянуться до бесконечности, разочарованно опустились ему на плечи. «Зачем ты все испортил?» — спросила я, а он в ответ только засмеялся, и глаза у него были зеленые, как окружавшая нас, словно магический круг, лужайка. Утром мы попрощались. Мы расставались, как влюбленные, и чувствовали себя героями. Я смотрела на него — столь дорогое мне — лицо, зная, что никогда больше его не увижу, и думала, что мне нетрудно будет его забыть. Я даже представить себе не могла, что буду вспоминать о нем каждый раз, как запахнет свежим хлебом.

Мы сидели с Йони за столиком, и я думала, что это, наверно, знак судьбы: что он назначил мне свиданье в том же кафе. Возможно, это означало, что то, что началось, но ничем не кончилось с тем парнем, закончится чем-нибудь с ним. Не может же все всегда кончаться в самом начале. Я вспомнила, как мне было тогда сладко, и встала, чтобы потянуться, но Йони не встал. Не встал и ничего не испортил. Поэтому я снова села, а когда села, то поняла, что просто обязана в него влюбиться, что это мой шанс. Шанс превратить мою тогдашнюю печаль в радость.

На лице у него были не только оспинки. Кроме них, у него были также неровно посаженные, бархатно-карие (даже, скорее, бордовые) ласковые глаза и оранжевые губы цвета переспелого абрикоса. Но чего-то явно не хватало, и я вдруг поняла чего: носа. Не то чтоб его не было совсем, но он был маленький и курносый, как у грудного ребенка. Что-то вроде пуговики. На лице младенца эта пуговка смотрелась бы уместно, но на лице взрослого казалась чуть-чуть нелепой. Я спросила, сколько ему лет. Надеюсь, он скажет: «Два годика» — и станет ясно, почему у него такой нос, но он сказал: «Двадцать три» — а это было столько же, сколько мне. Более того: оказалось, что мы родились с ним в один и тот же день (то есть были, по сути, близнецами), и я подумала, что это еще один знак. Спорить с двумя знаками было невозможно, и я стала внушать себе, что он мне нравится.

Он рассказал, что несколько недель тому назад у него умерла мама и он до сих пор в трауре, а я, как последняя дура, сказала: «Ой, как здорово!» (потому что мне всюду мерещились знаки) — после чего предложила пойти к нему домой и не выходить оттуда целую неделю (так как ужасно жалела, что договорилась с тем парнем не на неделю, а всего лишь на одну ночь), а Йони, улыбнувшись своей мягкой улыбкой, сказал, что ему ведь придется уходить на работу, а я сказала: «Пустяки, тебе положен отпуск» — и продолжала уговаривать его и саму себя до тех пор, пока



мы не взялись за руки и не пошли к нему. В лифте мы целовались, и я его целую неделю очень любила. Думала только о нем и еще о том, как это здорово, что мы, как две половинки, срослись в единое целое. Он влюбился сначала в мою любовь к нему — такой она была убедительной — и лишь потом в меня саму, и когда я спросила его в конце недели, обещает ли он любить меня вечно, он сказал: «Да». Я ему поверила и сразу вспомнила, как утром мы стояли с тем парнем у выходявшего на пекарню окна. «Что с нами будет?» — спросила я. «Почему тебе обязательно надо знать все заранее? — сказал он. — Как можно знать все заранее?»

Однако когда мы с Йони наконец-то покинули квартиру и вышли в мир, я постепенно его возненавидела. Я ненавидела его так, словно он поступил со мной несправедливо, и, чем больше он меня любил, тем сильнее я ненавидела, сама даже не зная почему. Мне казалось, что он обвел меня вокруг пальца. А больше всего меня удручало, что я даже не могу ему об этом сказать, потому что это прозвучит дико. Иногда я ненавидела его, иногда себя, а иногда, когда мне было особенно плохо, нас обоих.

За его домом был большой парк, куда мы во второй половине дня ходили гулять, и, когда мы смотрели на закатное солнце, я снова и снова задавала ему вопрос, который задавала каждому своему мужчине: «Ты будешь любить меня вечно?» (хотя этот когда-то обжигавший мне рот вопрос стал уже тепловатым и безвкусным) — но Йони говорил «да» с такой разочаровывающей легкостью, словно говорил «нет», и каждый раз кончалось тем, что я садилась на камень и начинала реветь.

Вокруг нас лежали белые валуны, над нами было красное небо, а мы, близнецы, чувствовали себя осиротевшими и потерянными, как отбившиеся от стада овцы, и я напряженно думала, как мне снова стать «правильной». «Скоро я приготовлю нам ужин», — говорила я, словно это был магический ритуал, спо-

собный снять с нас волшебное заклятье, но Йони в ответ лишь улыбался — своей мягкой, грустной улыбкой — и молчал. А мне хотелось крикнуть: «Ну почему ты молчишь?! Стукни кулаком по столу! Стукни кулаком по камню! Заставь меня выйти из этого состояния! Угрожай мне! Предъяви мне ультиматум!» Однако вместо того, чтоб все это прокричать, я сидела среди начинавших уже чернеть валунов и глотала слезы.

В свадебную ночь я сказала Йони, что заниматься сексом — это слишком банально, что так делают все и что надо придумать что-то оригинальное, наполнить эту ночь каким-то новым содержанием, но, пока я все это говорила, он уснул. Мне же не спалось, и я стала вспоминать, как развивались наши с ним отношения. Я хотела подвести предварительный итог того, что лишь в насмешку можно было назвать моей личной жизнью, понять, почему я не бросила Йони в самом начале, почему так быстро решила, что отступить уже поздно, и в конце концов пришла к выводу, что все это произошло потому, что он был единственным, кто пообещал любить меня вечно, а от этого я, по-видимому, отказаться не смогла.

\* \* \*

Я снова вспоминаю ту ночь, когда запах хлеба накрыл меня с головой, как простыня, но тут слышу треск перегоревших пробок, и на меня опускается огромная черная тень. Книги вдруг становятся похожими на неотличимые друг от друга, плотно закрытые коробки, а в окно заглядывает серый послеполуденный свет. Однако этого света недостаточно, чтоб осветить огромную библиотеку, и тьма изгоняет его обратно. Сидящие за столами люди, чьи компьютеры погасли на середине слова, одновременно поднимают головы и удивленно оглядываются вокруг, словно только что родились, а я смотрю на их разочарованные лица со светлыми прорезями глаз и радуюсь. Я счастлива, что

им пришлось прерваться и дать мне еще один шанс их догнать. Как если б мы все участвовали в каком-то бесконечном марафоне.

Я сажусь у окна и смотрю на улицу, где дует серый ветер.

Я знаю, что накрывшая меня тень — это тень Храма, но об этом знаю только я. Эта тень падает на восток и доходит до самого Иерихона. Я представляю, как летом в этой тени укрываются от жары иерихонские женщины, как они сидят, тесно прижавшись друг к другу, заботливо обнимая своих детей, и вдруг чувствую ужасную тоску по родителям. Когда у нас отключали свет, мы, за неимением другого выхода, покорно сидели в темноте все вместе, при свете свечи, и я украдкой наблюдала за своими родителями. «Как бы я к ним относилась, если б они не были моими родителями?» — думала я. Иногда я ловила на себе их испытующие взгляды и мне становилось страшно. Что будет, если они решат, что я им не подхожу?

Мама накладывала возле свечи такую высокую стопку книг, словно думала, что свет никогда не зажжется, но на самый верх всегда клала ТАНАХ\*. Старый, потрепанный, отполированный руками настолько, что казался мокрым, он всегда открывался на страницах, посвященных царю Давиду — Давиду и Йонатану, Давиду и Бат-Шеве, Давиду и Авессалому, — и, когда мама начинала читать, слова ТАНАХа уже не казались мне такими суровыми: ее мелодичный голос их как бы смягчал. Больше всего я любила самые печальные эпизоды, такие, где можно, не стесняясь, поплакать; мне казалось, что танахические стихи — это вагоны длинного поезда, заполненного плачущими людьми. Но когда мы с мамой плакали,

---

\* ТАНАХ — еврейское священное писание, именуемое в христианской традиции Ветхий Завет. Слово ТАНАХ — аббревиатура, означающая «Тора, Нэвиим, Ктувим», то есть «Пятикнижие, Пророки и Писания».

папа нервничал. Он раздраженно барабанил пальцами по столу и требовал, чтоб мы прекратили. А я смотрела на нас на всех и думала: «Истории, рассказываемые в ТАНАХе, — это настоящее, ставшее прошлым; этого прошлого уже нельзя изменить; это — то, что называется “данность”; и именно это — прихотливые стихи ТАНАХа и ритмичное постукивание папиных пальцев, от которых вздрагивает пламя свечи, — именно это и решит мою судьбу». Наш дом окружали фруктовые сады, и иногда оттуда доносился вой шакалов. Этот вой меня пугал, но в то же время я чувствовала еще большую близость к родителям. И когда свет наконец зажигался, мы все этому как бы радовались, но на самом деле скорей расстраивались, облегченно вздыхали, но при этом испытывали печаль — как если бы от этого света становилось не светлее, а темней — и начинали осматриваться вокруг, словно пытаюсь понять, сколько еще будут длиться этот день и эта жизнь. Наше хрупкое единство снова распадалось, наши лица опять становились непроницаемыми, и, вместо шакалов, я начинала бояться родителей. Меня пугала их неизбывная, воющая по ночам у моей кровати скорбь.

\* \* \*

Неоновые лампы опять начинают жужжать, сидящие в читальном зале люди с облегчением возвращают головы в прежнее положение, и в библиотеке воцаряется все та же — до отвращения нормальная, стабильная и удушающая — атмосфера. Я чувствую, что задыхаюсь, и бросаюсь к выходу. Попрошу родителей зажечь свечу, и мы снова возле нее усядемся. Уверена, что они согласятся. Мне просто необходимо испытать еще раз это ощущение нашего тогдашнего единения. Они не смогут мне в этом отказать. С какой стати они должны отказывать? Ведь даже в ресторанах люди сидят при свечах. Почему же нельзя посидеть при свече на собственной кухне, когда тебя ни-

кто посторонний не видит? Но когда обрадованная и удивленная моим приходом мама (по-видимому, только что проснувшаяся, потому что на ее худых щеках отпечатались следы подушки) открывает мне дверь, я совершенно забываю и про свечу, и про все остальное и с ходу выпаливаю:

— Что у тебя с ним было?

Мама даже не спрашивает, с кем, словно ждала этого вопроса много лет, но ответить не успевает, потому что из-за спины у нее вырастает папа. Как будто он за ней прятался. Сначала его голова показывается на уровне ее плеч, а затем поднимается над ее головой, и из их голов образуется двухэтажная башня.

— Только что заходил Йони, — говорит папа, глядя на меня мрачно и пронзительно, и в этот момент я улавливаю знакомый запах лосьона. Как будто Йони все еще там находится, но стал невидимкой, и его присутствие выдает только запах. Мне становится страшно: а вдруг он приходил сообщить им, что уходит от меня? — и я с деланным равнодушием спрашиваю:

— Чего он хотел?

Двухэтажная башня какое-то время молчит — видимо, каждая из голов соображает, что ответить, — но в конце концов папина голова смотрит на меня так, словно я крыса из его лаборатории (да еще с таким видом, будто он — первосвященник, а я «сотá»), и изрекает:

— Если он захочет, то сам тебе это скажет. Он ждет тебя дома.

После этого они идут на кухню, и я следую за ними. На кухне я наливаю себе из-под крана воды, выпиваю ее — как «сотá» из легенды — до дна, и от отчаянья чуть не прикусываю край стакана. «Как быстро возникают заговоры и почему-то в основном против меня, — думаю я, стараясь держать себя в руках. — И вот теперь, чтоб узнать, что замышляет Йони, я должна расшифровать выражение папиного лица. Но с этой задачей я и раньше-то справиться не



могла, так что нет никаких шансов, что я справлюсь с ней сейчас. И почему мне вообще приходится познавать других людей такими извилистыми, окольными путями? Арье — через его жену, папу — через Арье, Йони — через папу... Какая-то бесконечная, непрерывно усложняющаяся, приводящая в отчаянье “Хад-Гадья”»\*.

Все это время мама, о которой я совершенно забыла, с невинным видом домохозяйки, которой нечего скрывать, стоит в сторонке, у раковины, и моет посуду. За ее помятыми щеками — которые не только не намекают на былую красоту, но, наоборот, выглядят так, словно она с этими щеками родилась — невозможно разглядеть никакого волнения; она кажется мне совершенно спокойной. И вдруг я замечаю, что она моет одну и ту же тарелку.

Я подхожу к ней и подношу стакан к крану, чтобы налить себе еще воды.

— Пить горячую воду из-под крана вредно, — говорит мама, хотя вода на самом деле холодная. — Может, ты хочешь есть?

— Нет, я хочу пить.

— А что ты у меня там спросила? — говорит она, предварительно убедившись, что папа ушел. — Я не расслышала.

— Я спросила про отключения света, — говорю я, наполняя стакан водой. — Помнишь, как мы сидели все вместе возле маленькой свечи?

— Какой еще свечи? — удивляется она. — У нас было три керосиновых лампы. У каждого из нас была собственная керосиновая лампа.

Это тоже кажется мне частью заговора, даже его апогеем, и я выливаю воду из стакана в раковину.

---

\* «Хад-Гадья» — длинная песня на арамейском языке, напоминающая по своей структуре «Дом, который построил Джек». Поется во время еврейской пасхальной трапезы (седера).

Прямо ей на руки, все еще держащие эту несчастную тарелку.

— Ты что, рехнулась?! — обалдевает она. — Это же кипяток!

\* \* \*

На дороге, напротив родительского дома, стоит полицейский со свистком. Я останавливаюсь и начинаю его разглядывать. А что, если мне к нему подойти? «Пойдемте со мной в квартиру номер три, — скажу я ему на ухо, чтоб никто не слышал. — Вы даже не представляете, что там творится! Невооруженным глазом этого не видно, но ведь у вас в полиции есть спецсредства, позволяющие такие дела раскрывать, а у меня их нет. К моему огромному сожалению. Иначе бы я не стала вас беспокоить, честное слово. У вас есть темные комнаты для допросов, новейшие детекторы лжи, тюрьмы. А у меня? Что есть у меня? Глаза, уши, плохая память, желания, мечты... Сплошные человеческие слабости, одним словом. Вот что у меня есть. И не думайте, что этим никто не пользуется. Вы даже не представляете, как пользуются!»

Полицейский молодой, моложе меня. У него смуглое гладкое лицо и приятная улыбка. Свистнет — и улыбается, как будто этим гордится, и на какое-то мгновение его взгляд задерживается на мне. Дома у него, наверное, молодая жена и ребенок. Жена слишком юная, и, если б не ребенок, они бы не поженились. Но сейчас жалеть об этом уже поздно, тем более что она хорошая жена. Ну, или достаточно хорошая. Через двадцать лет он ее, конечно, бросит — ради какой-нибудь там девчонки, — но в ближайшие двадцать лет у него все будет на мази. И у нее. Потому что она не знает того, что знаю я. И я ей вдруг ужасно завидую, жене этого полицейского. Потому что ее бросят только через двадцать лет, а меня уже сегодня.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я иду и думаю, как ненавижу ходить по этому маршруту. Я ненавижу все, что попадается мне на пути: дорожные указатели, светофоры, мини-маркеты. Поэтому что все они свидетели моего унижения, моего идиотского упрямства. Но больше всего я ненавижу этот дом. Дом, при одном только виде которого сердце у меня начинает учащенно биться. Дом, заставляющий меня заливаться краской еще до того, как я вхожу в подъезд. Я ненавижу густую растительность, скрывающую его из виду, пчел, прячущихся в этой растительности, тяжелую толстую дверь квартиры Арье, прикрепленную к ней благопристойно-мещанскую табличку, а также красующуюся на ней фамилию. Эвен! Можно подумать, что это не жилая квартира, а каменоломня\*. Это дом, которому есть что скрывать, дом, которому должно быть стыдно, дом, заслуживающий только одного: чтоб его разрушило мощное землетрясение — и мне не верится, что в нем когда-то жила Жозефина. Я даже представить себе не могу, что она поднималась по этой лестнице и начинала привычно искать в сумочке ключи. Потому что в больнице она смотрится так естественно, как если бы ее дом всегда находился именно там.

---

\* На иврите слово «эвен» означает «камень».

Я знала, что Арье не будет дома, и все же пришла. Пришла, чтоб пристыженно постоять возле закрытой двери, зная, что он в это время самоотверженно катает жену в инвалидной коляске по закольцованному, никогда не кончающемуся, всегда начинающемуся заново больничному коридору. Как будто если я буду стоять возле этой двери, сидеть на холодных ступеньках у входа в подъезд и не вернусь домой, гнусный заговор против меня рассосется, и влажный оранжевый рот Йони не огласит мне мой приговор.

Я сижу на ступеньках, со скукой разглядывая почерневшую стену дома напротив, но моя скука вдруг сменяется страхом. Потому что я вижу пляшущую на стене тень листвы. На дереве листья выглядят нормально, но их тень на стене наводит на меня ужас — потому что в их пляске есть что-то мрачное, злое, — и я вспоминаю, как сидела вот так же, одна, в самом начале зимы, на ступеньках нашего дома. Сидела и ждала, пока мама или папа не вернутся из больницы, не приготовят мне ужин и не расскажут, что сказали врачи. Потому что кто-то из моих родителей всегда оставался в больнице на ночь, с моим братиком, а кто-то возвращался домой сидеть со мной. Я ждала их, смотрела, как на стенах соседнего дома пляшет тень листьев, и пыталась по этой пляске — с каждой минутой все более неистовой и страшной — угадать, кто из них сегодня придет. Однажды (это было в Хануку, на второй или третий день, когда в окнах соседнего дома извивался и тянул ко мне желтые щупальца осьминог ханукии\*) я вдруг увидела вдалеке их обоих и испугалась. Потому что уже целый месяц — с того момента, как мой братик заболел, — не видела их вместе. «Что случилось?

---

\* Ханука — еврейский религиозный праздник, в который отмечается освобождение Иерусалима от греческих оккупантов (164 г. до н. э.) и освящение оскверненного греками Второго Храма. Празднуется восемь дней, в ноябре—декабре. Во время этого праздника принято зажигать свечи, установленные на ханукии (девятисвечнике).

Разве с ним не надо уже больше сидеть? Или, может, это мне кажется? Может, это просто такая удвоенная тень?» — думала я, умоляюще глядя то на тень листьев, то на дорогу, но тут мама отделилась от папы и, как сумасшедшая, бросилась ко мне. А так как папа шел медленно, расстояние между ними все больше и больше увеличивалось, и создавалось впечатление, что он идет не вперед, а назад. Красивая толстая коса обвилась у мамы вокруг шеи — словно это был шарф или веревка, — ее лицо исказилось, рот широко раскрылся, как будто она кричала — хотя я никакого крика не слышала, — и на секунду мне даже показалось, что это не она. Потому что я никогда ее такой не видела.

Она подхватила меня на руки — словно я была моим братиком, — с огромной скоростью забежала в сад позади нашего дома, расстегнула на бегу пуговицы на кофточке, вывалила мне прямо в лицо истекавшую молоком грудь, прорыдала: «Тебе ведь хочется пососать, правда? Тебе же надо сейчас пососать?» — села под каким-то деревом и стала совать мне в рот сосок. Мне было тогда почти десять лет, но, заразившись ее безумием, я раскрыла рот и начала сосать сладковатое, пузырившееся, еще недавно столь необходимое, а теперь ставшее ненужным моему братику молоко, и тут мы увидели за деревьями искавшего нас папу. «Рахель! — кричал он, бегая по саду и тоже плача. — Где вы?» Он кружил в темноте среди деревьев, завывая «Где вы? Где вы?», подобно ребенку, играющему в прятки и принимающему игру слишком всерьез, и выглядел при этом ужасно одиноким, но мама затаила дыхание и мстительно молчала, с силой прижав меня к груди и заткнув мне рот соском. Чувствуя, что сейчас задохнусь, я стала вырываться и в конце концов, укусив ее, ухитрилась-таки крикнуть ртом, полным молока: «Папа, мы здесь!» — но когда папа прибежал и, чуть на нас не свалившись, над нами склонился, мама, демонстративно обращаясь



ко мне, как будто папы не существовало — хотя мы сидели в темноте под деревом все вместе, — сказала: «Предавательница! Зачем ты нас выдала?! Он бы нас ни за что тут не нашел!» Она сказала это, как маленькая девочка, еще не научившаяся правильно выговаривать слова, но при этом совсем не шутила. Судя по всему, она действительно хотела, чтоб мы всю жизнь сидели под этим деревом, чтобы всегда было темно и чтоб папа до конца дней своих кружил вокруг нас, как слепой, чья собака сбежала, а посох сломался.

В сущности, впоследствии все именно так и было. Радости они еще как-то друг с другом делили, но горе — нет. Каждый из них горевал в одиночку, считая, что горе принадлежит только ему одному, или предоставлял горевать другому, а сам устранился.

Мокрая от вытекавшего из маминой груди молока, я тщетно пыталась вырваться из ее цепких объятий и думала о своем братике, однако никакого горя не чувствовала. Потому что к тому моменту, как он заболел и его отвезли в больницу, я не успела его не только полюбить, но даже приревновать. В больнице же мне его видеть не позволяли, поскольку он лежал в карантине. В результате еще до того, как он умер, я успела совершенно забыть, как он выглядит. Даже сфотографировать его мы не выбрались — так недолго он гостил в нашей семье. Помню, как я пыталась маму утешать. «Это ведь как если бы он еще не родился, — говорила я ей. — Разве тебе было плохо до того, как он родился? Почему же тебе так плохо сейчас, когда его нет? Как можно жалеть о чем-то таком, к чему ты даже и привыкнуть-то еще не успел?» Но она смотрела на меня с такой ненавистью, будто его убила я, и не понимала, что я всего лишь хотела ей помочь. «Вы, — говорила я родителям, — должны были бы меня сейчас баловать, ценить, что я у вас есть. А вы вместо этого ведете себя так, как будто только он ваш родной ребенок, а я всего лишь падчерица. В день, когда вы его потеряли, я стала сиротой!»

Я слышу шаги. «Арье», — испуганно думаю я и начинаю лихорадочно соображать, что делать. В конце концов я встаю возле двери напротив, повернувшись к ней лицом, как если бы пришла совсем не к нему, и притворяюсь, что жду, когда мне откроют. Я веду себя, как животное, прячущееся от охотника, но при этом думаю: «Если ты настолько не хочешь его видеть, то что ты здесь тогда делаешь?» За спиной у меня кто-то что-то говорит и гремит ключами, однако я даже не шевелюсь, продолжая разыгрывать все тот же спектакль — правда, уже перед новой аудиторией, для которой он не предназначен, — и вдруг слышу плач ребенка. Такого плача я не слышала уже давно. Он настолько требовательный и полный надежды, что меня пробирает дрожь. Я не выдерживаю и оборачиваюсь. Передо мной стоит девушка с грудным ребенком на руках, и от них обоих исходит какое-то неземное сияние. В руке у девушки ключ, направленный прямо на меня. Как будто она собирается открыть замок, проткнув мне спину. Не зная, что сказать, я показываю на дверь с табличкой «Эвен» и бормочу:

— Я жду их.

Я нарочно говорю «их», а не «его», чтоб она подумала, что я пришла к ним обоим, как друг семьи, и это срабатывает: она облегченно улыбается и открывает дверь. Меня обдает хлынувшей из квартиры волной теплого воздуха, и девушка входит внутрь. Но вместо того, чтоб захлопнуть перед моим носом дверь, она вдруг говорит:

— Можете подождать с нами.

Она не сказала «можете подождать здесь» или «можете подождать у нас»; она сказала «можете подождать с нами»; как будто и она, и ее ребенок в самом деле собираются ждать Арье вместе со мной, как будто они действительно готовы делить со мной мою тяжкую ношу, нервничать, переживать. Мне даже ка-

жется, что девушка понимает, отчего мне так грустно и чего я с таким отчаянием жду; понимает, что я жду совсем не Арье — который когда-нибудь, наверное, да придет, — а его любви, которая не придет никогда. И все же я стою перед ее дверью, не решаясь войти. Мне страшно вторгаться в ее жизнь.

Тем временем девушка «распаковывает» ребенка, а потом снимает с него шапочку, и, когда я вижу его маленькое личико, то испытываю шок. Потому что он как две капли воды похож на Йони! Те же оранжевые губы, те же ласковые карие глаза, те же каштановые, еще не успевшие завиться волосы и та же милая овечья мордашка. «Вместо того чтоб заниматься глупостями, — мелькает у меня в голове, когда ребенок начинает блеять, как овца, — я должна была сделать с Йони ребенка, у которого было бы такое же лицо. — Но тут же со страхом думаю: — А с чего это вдруг ребенок этой девушки похож на Йони?» Потому что сама она на овцу совсем непохожа: у нее энергичное, гладкое лицо, светлые глаза, толстые, покрашенные темной помадой губы и затянутые на затылке в узел, как у танцовщиц, волосы. От мысли, что это ребенок Йони, у меня начинает кружиться голова. «Может, именно это он и собирается мне сообщить, когда я вернусь домой?» — думаю я, прислонившись к двери.

— Что будете пить? — спрашивает девушка, приветливо улыбаясь.

— Воду, — говорю я, и она приносит мне стакан воды.

После этого она берет ребенка и исчезает с ним в конце коридора, но очень быстро возвращается и с победной улыбкой объявляет, что он уснул. Мне это кажется странным. Ведь еще секунду назад он был совершенно бодрым, и его карие глаза были широко раскрыты. Наверное, она его от меня спрятала! Чтоб я не могла взглянуть на него еще раз и убедиться, что все это мне не померещилось. Мне ужасно хочется спросить ее, не от моего ли мужа у нее ребенок, но я не решаюсь и вместо этого начинаю задавать ей всякие

банальные вопросы — просто так, чтоб получить хоть какое-то представление о ее жизни, — типа «сколько ребенку», «как его зовут» и тому подобное, — но все, что она говорит, сразу забываю.

— А он на вас совсем непохож, — замечаю я как бы ненароком.

— Да, — улыбается она, — он похож на отца.

— А у вас есть фотография, где они вместе?

— Нет, я еще не успела их сфотографировать.

Но мне просто необходимо увидеть этого ребенка еще раз, и я говорю:

— По-моему, я слышу плач.

— Не знаю, — говорит она, прислушиваясь. — Я ничего не слышу. Только шаги за дверью.

Я мгновенно оборачиваюсь и смотрю в дверной глазок. Мне очень хочется, чтоб это был не Арье, но это он.

Сквозь глазок он выглядит намного менее страшным, но и гораздо менее привлекательным: приземистый, толстый, сутулый, да еще и с кучей пакетов в руках. «Вылитая старушка, вернувшаяся с рынка; не хватает только платочка на голове, — думаю я, наблюдая за тем, как он — со вздохом — поворачивается ко мне широким задом и лезет в карман за ключом. — Но зачем он столько всего накупил?! Собирается устроить вечеринку? Хочет что-то отпраздновать? Но что именно?» Мне вдруг становится ужасно обидно за его жену. Как это может быть, что она там, в больнице, становится все меньше, а он тут жрет и набирает вес?!

Тем временем Арье достает из кармана ключ, открывает дверь и мгновенно — как гном в коробке с конфетами — исчезает за ней вместе со всеми своими покупками. Все, думаю я, больше мне здесь делать нечего, надо уходить. Так я никогда и не узнаю, что он там готовится праздновать; будет еще одна неразгаданная загадка. Но тут вдруг слышу:

— Пришел?

Я оборачиваюсь и вижу, что девушка сочувственно смотрит на меня своими светлыми глазами.

— Да. Но, я, наверно, подожду пару минут. Чтоб он успел отлить.

Понятия не имею, почему я это сказала — как-то само собой вырвалось, — но девушка, как ни странно, понимающе улыбается, и мне становится завидно. Потому что ей все кажется совершенно естественным, а мне все кажется неестественным.

— А как вы думаете, если ребенок родился в ночь на девятое ава, а умер в Хануку, надо зажигать по нему свечи или нет?\* — спрашиваю я, но сразу же об этом жалею, потому что девушка вдруг перестает улыбаться.

— А как вашего ребенка зовут? — спрашиваю я, как будто мой новый вопрос может отменить предыдущий.

— А почему вы спрашиваете? — настороженно смотрит она на меня.

— Потому что, если вам понадобится сиделка, я с радостью с ним посижу. Обожаю маленьких детей.

Это, разумеется, неправда, но я просто обязана увидеть этого ребенка еще раз.

— Хорошо, я вам позвоню, — говорит она, но номера моего телефона не спрашивает.

\* \* \*

Попрощавшись с девушкой, я подхожу к двери напротив и звоню — один короткий, один длинный, —

---

\* Героиня намекает на одну из легенд о разрушении Второго Храма: «Жена Траяна разрешилась от бремени в ночь на девятое ава [пятый месяц еврейского календаря; приходится на июль—август], когда иудеи справляли траур в память разрушения Храма... а умер ее ребенок в дни Хануки [в ноябре—декабре]. Совещались иудеи, зажигать ли ханукальные свечи... и решили зажигать, как ни опасно было это (ввиду смерти императорского сына). Зажгли иудеи свечи... а жене Траяна было донесено: “Иудеи эти, когда у тебя родился сын, устроили траур, а когда сын твой умер, праздничные огни зажигают!”» (Агада).



но мне никто не открывает. Более того, в квартире Арье нет никаких признаков жизни вообще: ни звука шагов, ни света. Там так тихо, что, если б я не видела, как он вошел, то решила бы, что никого нет дома. «А вот Жозефина, — думаю я, — больше ничего этого не увидит. Ни этой двери, ни круглого глазка, ни выгравированной на табличке толстыми претенциозными буквами фамилии «Эвен», ни бороздок на двери, ни ее черной ручки, ни грязных пятен на ней, ни лежащего перед ней коврика — когда-то оранжевого, а сейчас коричневого, — ни нарисованных на нем двух счастливых кошек. Ничего этого она не увидит больше никогда. А я вот вижу. И должна быть за это признательна».

У меня вдруг возникает желание оставить на дверной ручке свои отпечатки пальцев, но, когда я за нее берусь, она неожиданно поддается, и дверь со скрипом приоткрывается. Скрипит она тихонько, но мне этот скрип кажется таким оглушительным, как будто кто-то громко захрипел, и я, как ошпаренная, отскакиваю назад, чуть не закричав «я не нарочно!». Потому что у меня ощущение, что живущая напротив девушка вышла и за мной наблюдает. Я представляю, как на меня смотрят ее спокойные светлые глаза, и испуганно оглядываюсь. Тут вдруг на лестничной клетке зажигается свет. Где-то наверху хлопает дверь, и кто-то начинает спускаться по лестнице. Я впадаю в панику. Сейчас увидят, как я тут стою, возле чужой полуоткрытой двери — усталая, растерянная и беспомощная, как зажатая в кольцо армия, — и заподозрят меня черт знает в чем. Надо поскорей закрывать эту дверь и уносить ноги! Но вместо того, чтоб ее закрыть, я открываю ее и вхожу.

В начале коридора темно, но в конце виднеется свет, и оттуда доносятся такие звуки, словно кто-то ездит по квартире на мотоцикле. Мне кажется, что я слышу шум двигателя и визг колес. Однако, прислушавшись, я понимаю, что это всего-навсего пылесос — тяжелый, катающийся по большим напольным

коврам пылесос. Это кажется мне странным: ведь вчера ковры выглядели абсолютно чистыми.

У входа на кухню валяются пакеты с продуктами, причем часть из них вывалилась наружу. Листья салата лежат на полу, а возле них притулилась буханка черного хлеба. Видимо, Арье так торопился пропылесосить ковры, что побросал пакеты на пол и сразу про них забыл. «Для кого же он так старается? — недоумеваю я. — В честь кого скармливает прозрачные, никому, кроме него, не заметные пылинки своему проголодавшемуся пылесосу? Неужели собирается привести сюда новую женщину? А что? Жозефина ведь ничего не узнает. Он же будет по-прежнему к ней приходить. Приходить, катать по коридору на коляске — каждый день, ровно в пять часов, — а потом преспокойненько пойдет домой, в свою чистенькую квартирку. Чистенькую такую, без единой пылинки, но такую полную мерзости. А Жозефина... Она ничего знать не будет».

Тут пылесос тяжело вздыхает, смолкает, и я слышу, как колесики везут его прямо ко мне. Сердце у меня начинает бешено колотиться, а ноги прирастают к полу. Мне хочется только одного: исчезнуть — но ноги у меня отнялись. Как когда-то в детстве, когда мы лежали на лужайке возле дома, и я вдруг увидела, что птицы застыли в воздухе. «Змея! — крикнул папа. — Домой! Быстрее!» Но мои босые ноги отказывались идти. Тогда он схватил меня и втолкнул в дом. Я почувствовала сильную боль в плече, оглянулась и увидела, как по лужайке ползет большая коричневая змея. Позднее, когда папа велел мне носить носки, это стало для меня приятной неожиданностью. Я и не подозревала, что он так сильно за меня переживает. Хоть и удивилась, конечно. Носки? Летом? Как это?...

...Сама не знаю каким образом, но я выбираюсь — таки на лестничную площадку и осторожно прикрываю за собой дверь. Однако в меня словно бес вселился, и я звоню снова. Как будто только что при-

шла. «Только бы соседка из квартиры напротив за мной не подсматривала, — нервничаю я. — Что она обо мне подумает, если увидит все эти мои странные маневры? Как я сначала вхожу в квартиру, потом выхожу...»

Слышится звук катящихся колесиков — как будто обитатели квартиры не ходят по полу, а ездят на роликах, — и дверь отворяется с такой невероятной скоростью, словно у нее истерика. Но еще больше меня поражает, что она открывается вообще.

— Алло, — говорю я с глупой улыбкой, словно звоню по телефону. — Это я.

— Я вижу, — говорит Арье и отходит в сторону. — Ну, проходи.

Не дожидаясь, пока он передумает, я вхожу, но так тороплюсь, что сначала спотыкаюсь о шланг пылесоса, потом запутываюсь ногами в электропроводе — и грохаюсь на пол. Прямо лицом на пылесос, на его жесткий хребет. Откуда мне было знать, что он стоит возле самой двери? Пылесос еще горячий — видимо, потрудился на славу, — и первое, что я думаю: «Все! Я его сломала! Теперь Арье мне никогда этого не простит!» Это ужасно; мне совсем не хочется остаться в его памяти человеком, сломавшим ему пылесос. Но когда я приподнимаю голову, то понимаю, что сломалась, по-видимому, я сама. Потому что на полу кровь. Я со страхом ошупываю лицо, и мои руки останавливаются возле носа — моего тонкого и прямого, как у мамы, носа. Эта драгоценная часть моего тела, на которую я больше всего люблю смотреть в зеркало, сейчас болит и кровоточит. Я даже не осмеливаюсь до нее дотронуться и выпрямить голову. Мне кажется, что, если я это сделаю, нос сразу отвалится и упадет, как опадают осенние листья. Поэтому я продолжаю сидеть скрючившись и тихонько скулить.

Я сижу, прикрывая руками распухшую блямбу, и настолько отдаюсь своему горю, что на какое-то время даже забываю про существование Арье. Но тут я слышу, как на кухне открывается дверца холодиль-

ника и снова вспоминаю, что Арье существует. Для него, судя по всему, жизнь продолжается, как обычно. Решил, наверно, воспользоваться случаем, чтоб засунуть наконец-то листья салата в холодильник. Но в этот момент к моим рукам прикасается что-то твердое и холодное, как лед. И это действительно лед. Три кубика в целлофановом пакетике для бутербродов. Я молча, даже не поблагодарив Арье, беру у него из рук пакетик, со страхом кладу его на нос — в надежде, что лед заглушит боль, — и вдруг вижу, что нависшая надо мной тень начинает на меня наплывать. Когда она покрывает мои измазанные кровью колени, Арье тяжело вздыхает — как будто просит меня на него не сердиться, — опускается рядом со мной на пол и начинает белой тряпочкой стирать с моих кожаных брюк кровь. Я вспоминаю, с каким воодушевлением надевала эти брюки сегодня утром, и думаю: «Наверно, он добр только с больными и ранеными. Может, поэтому его жена и решила заболеть. По-видимому, ему нравится чувствовать себя в присутствии больных здоровым и демонстрировать им свою преданность. Жаль только, я раньше этого не знала. Ради такого открытия не жалко даже красивым носом пожертвовать».

Чтобы проверить эту гипотезу, я кладу голову ему на плечо — и его сильная рука меня рефлекторно потечески обнимает.

— Он сломан, — шепчу я с траурным видом, как если бы это была наша общая потеря.

— Покажи, — басит он и убирает мои пальцы с носа.

Он делает это торжественно и нежно, как жених на свадьбе, сдергивающий с невесты фату, а я смотрю на него с ужасом. Я вглядываюсь в его лицо так, словно он мое зеркало, и по его выражению я смогу понять, насколько плохи мои дела.

— Ничего страшного, — говорит он со спокойной улыбкой.

— А видно, что это нос? Или он похож на кашу?

— Нет, он похож на нос, — говорит Арье с серьезным выражением лица.

— Наверно, надо поехать в больницу, сделать рентген?

— Не волнуйся, с твоим носом все в порядке. Поверь мне, я знаю, что такое сломанный нос.

По идее, я должна сейчас удивленно спросить его, откуда он это знает, и услышать очередную историю о том, как в возрасте десяти лет он занимался уборкой квартир — причем со сломанным носом, — но на самом деле мне хочется задать ему совсем другой вопрос — вопрос, без ответа на который я не в силах вернуться домой. Мне ужасно страшно его задавать, и я долго колеблюсь, как его сформулировать, но в конце концов набираюсь храбрости и спрашиваю:

— Слушай, а чьим ты был другом — маминым или папиным?

Он смеется, вынимает из кармана сигареты и зажигалку, прикуривает сигареты для нас обоих и говорит:

— Это как спросить у ребенка, кого он больше любит — маму или папу.

— Но ты же не ребенок, а они не твои родители.

— И все равно я отвечу, как ребенок: я любил их обоих. В смысле, был их общим другом.

— Но чьим больше? — не отстаю я.

— Ну, ты же знаешь, все меняется.

— Я думала, она тебя терпеть не может.

— Да, — повторяет он, — все меняется.

— Но когда именно все изменилось? — не унимаюсь я. — Когда вы перестали быть друзьями?

— Не помню, — вздыхает он. — По-моему, когда ты родилась. Я поселился во Франции, почти не бывал в Израиле, потом женился. Ну и наши отношения охладелись. Вот так-то. Все меняется, — говорит он еще раз, словно это его девиз.

— Это верно, — соглашаюсь я. — Но чтоб настолько?! Она ведь даже больной притворяется — лишь



бы тебя не видеть, а как только слышит твое имя — вздрагивает.

— Не знаю, это ее личное дело. Не мое и не твое, — говорит Арье, поевшись, после чего встает, приносит новую тряпку и начинает подтирать на полу кровь.

Я автоматически приподнимаю ноги — как делала, когда сидела дома больная, а мама мыла полы — и вспоминаю, с каким восторгом всегда за ней наблюдала, за этой ее тихой, повседневной, проходившей обычно без меня жизнью. Меня поражало, что каждое ее утро заполнено таким большим количеством дел, что все эти волшебные, исполненные смысла дела она делает ежедневно, когда я нахожусь в школе, и мне казалось, что все, что она делает, — это нечто большее, чем представляется на первый взгляд. Что мытье полов — это нечто большее, чем обычное мытье полов, а приготовление обеда — нечто большее, чем приготовление обеда...

\* \* \*

Арье укатывает пылесос, умело его разбирает, убирает в шкаф, а затем возвращается и протягивает мне руку. Он делает это как бы для того, чтоб помочь мне встать, но у меня такое ощущение, что он просто хочет протереть то место, где расположилась моя попа. Потому что там пятна крови и можно подумать, что кого-то убили. Всю эту кровь он хладнокровно стирает, и уже через минуту в его квартире не остается ни единого намека на то, что произошло. Только мой распухший, как воздушный шарик, нос.

Возле двери висит зеркало. Я осторожно — готовая сразу же отскочить, если зрелище будет слишком ужасным — к нему подхожу, вижу большую безобразную рану в самом центре лица, и вдруг рядом с моим лицом появляется лицо Арье. Он улыбается так радостно, словно мы позируем свадебному фотографу, но, увидев наши лица рядом, я вдруг испыты-

ваю шок: настолько мы разные. Мы выглядим, как случайно попавшие в кадр представители двух рас: он — с его темным лицом и седыми старческими волосами, и я — со своим светлым лицом и темными волосами. Он кажется возле меня черной тенью, а я возле него — белым привидением. Кроме того, в зеркале его лицо какое-то перекошенное и неприятно ассиметричное. В жизни это не заметно, и мне кажется, что мое лицо тоже перекошено. Когда в зеркало смотрятся два человека, невозможно понять, кто из них прямой, кто кривой. Я сдвигаю губы в сторону, чтоб сделать свое лицо менее кривым, но оно вдруг выпрямляется само собой. Потому что Арье внезапно разворачивается на сто восемьдесят градусов и уходит. «Наверно, пошел на кухню раскладывать продукты», — думаю я.

Оставшись в зеркале одна, я еще раз осматриваю свой распухший нос, вспоминаю, как Арье равнодушно — словно хотел поскорей забыть обо всей этой истории и о своей вине передо мной — сказал: «Не волнуйся, нос не сломан», — и, подозревая, что выделенное мне время заканчивается, спрашиваю:

— Ты ждешь гостей?

Я задаю этот вопрос тоном прокурора (мол, в твоей ситуации принимать гостей — это преступление), но, к моему удивлению, он не только этого не отрицает, но даже соизволяет ввести меня в курс дела.

— Вечером из Франции, — говорит он, — прилетают родственники Жозефины — сестра, муж сестры и старенькая мама. Их самолет вот-вот приземлится. Мне надо их встретить и успеть приготовить к их приезду еду.

Он говорит «приготовить еду» так многозначительно, словно они приезжают в Израиль только для того, чтобы поесть его стряпню, и, не удержавшись, я спрашиваю, зачем они приезжают. Как будто сама этого не знаю. В зеркале видно, как он подходит к открытому холодильнику (будто ответ находится именно в нем) и после некоторого молчания говорит:

— Попрощаться с Жозефиной.

Это звучит печально и мило, как название фильма, и я думаю: «А может, назвать этот фильм не “Попрощаться с Жозефиной”, а “Жозефина прощается”? Или даже так: “Жозефина улетает в небо, легкая, как перистое облако, а вместо молодой дочери у нее старая мать. И все это из-за него”. А все-таки. Что же в нем такого было, что показалось Жозефине не только более важным, чем дети, но и важнее всего на свете? И почему даже сейчас, в таком состоянии, она в этом не раскаивается? Ее старенькая мама сидит небось сейчас в самолете, плачет и недоумевает, почему вместо нее умирает ее дочь... А вот интересно, моя собственная мама... Она сумеет меня в этой гонке опередить или нет? Вдруг мне удастся ее удивить и умереть раньше? Тогда мои родители станут родителями, дважды потерявшими детей. Наверно, их горе в связи с моей смертью смешается с горем по поводу смерти моего братика и превратится во всеобъемлющее, всеохватывающее горе по поводу смерти всех детей вообще, и они, таким образом, станут единожды потерявшими детей. Потому что если горе в связи со смертью ребенка бесконечно, то как можно его удвоить? Ведь одно бесконечное горе плюс другое бесконечное горе равно, в сущности, одному бесконечному горю».

От мысли, что даже после моей смерти меня подвергнут дискриминации, мне становится настолько себя жалко, что хочется плакать, и с целью это замаскировать, я говорю:

— Как больно!

Вообще-то я имею в виду свой нос, но Арье думает, что я имею в виду родственников Жозефины.

— Да, ее мать совершенно убита горем, — говорит он.

Сам он, кстати, совсем не кажется мне убитым горем и даже не пытается таковым выглядеть. Похоже, он не считает, что муж обязан любить жену так же сильно, как ее родители.

— А можно я помогу тебе готовить? — спрашиваю я, и, к моему удивлению, он говорит «да».

Не дожидаясь, пока он передумает, я иду к нему на кухню.

\* \* \*

Он стоит возле раковины, полной грязной посуды, и я встаю рядом с ним. Со стороны, наверно, можно подумать, что мы — жених и невеста, а раковина — раввин, совершающий обряд нашего бракосочетания.

— Начнем, наверно, с этого, — говорит Арье, доставая из пакета жидкость для мытья посуды и подавая ее мне.

Я беру большую бутылку у него из рук и вдруг вспоминаю, как соседка из квартиры напротив держала своего ребенка.

— Слушай, а у твоей соседки по лестничной клетке есть муж?

— Ребенок есть точно. Я каждую ночь слышу, как он плачет. А вот муж, похоже, более молчаливый.

— Но ты уверен, что он у нее есть? Ты его хоть раз видел? Как он выглядит?

— Я его так часто вижу, что даже не обратил внимания.

— Но ты хотя бы помнишь, высокий он или низкий, толстый или худой?

— Обычный. По-моему, он обычный. А почему тебя это интересует?

— Потому что ее ребенок похож на Йони, -- шепчу я, чувствуя, что краснею.

— А кто это, Йони? — рассеянно спрашивает Арье.

— Мой муж.

— Правда? — оживляется он. — А как он выглядит?

— Как овца, — отвечаю я и вдруг вспоминаю, что у меня в сумке лежит его фотография.

Не выпуская бутылку из рук, я иду за сумкой, роюсь в ней и нахожу помятый снимок. Он сделан на нашей свадьбе. Я стою с фатой на плечах — как если бы это была шаль, — а Йони целует меня в лоб. Чтоб

дотянуться до моего лба, он привстал на цыпочки — потому что он чуть-чуть ниже меня, — а я, чтоб ему помочь, наклоняю голову. Как много стараний ради никому не нужного поцелуя...

Оба мы выглядим на этой фотке ужасно нелепо, и показывать ее Арье мне неловко, но я обязана знать правду и смущенно ему ее протягиваю. Однако он смотрит на нее совершенно равнодушно и молчит.

— Ну? — спрашиваю я нетерпеливо. — Это он?

— В смысле, твой ли это муж?

Судя по всему, он уже успел забыть, о чем речь.

— Нет, — говорю я, разозлившись, как учительница, пытающаяся добиться ответа от тупого ученика. — Я спрашиваю про мужа твоей соседки. Похож ли он на мужа твоей соседки?

Но Арье смотрит на меня совершенно бесстрастно, словно не понимает, как важен для меня его ответ, и молчит. Наконец его полные губы приоткрываются и он говорит:

— Не думаю.

А затем добавляет:

— Не знаю. Я его плохо помню. Да и вообще, с какой стати он должен быть на него похож?

Я вижу, что он не желает меня понимать. Или, может, я плохо объяснила. Потому что на самом деле я хотела спросить, «соседкин ли это муж на фотографии», а не «похож ли Йони на мужа соседки». Но тут я думаю: «А действительно? С какой это стати мой муж должен быть мужем соседки Арье?» Это предположение кажется мне вдруг настолько диким, что я с чувством облегчения (проистекающим не из полученной мной информации, а из того, что факты моих опасений пока не подтверждают) кладу фотографию обратно в сумку.

\* \* \*

Когда, в обнимку с бутылкой, я возвращаюсь к Арье, он у меня ее забирает, наливает моющую мыльную жидкость в маленькую плошку, кладет туда куплен-



ную им сегодня новенькую голубую губку, говорит: «Начни пока с этого, а я займусь готовкой», — и выжидательно на меня смотрит. Но я стою неподвижно, уставившись на раковину. Потому что вдруг вспоминаю, что, когда приходила сюда вчера, она была почти пустой. В ней лежали только блюда из-под мороженого и стеклянный стакан. Почему же сейчас она переполнена до краев?! Чуть не лопается от тарелок, рюмок и салатниц. Он что, со вчерашнего вечера только и делал, что ел?! Если да, то явно не один. Потому что количество предметов — четное: две рюмки и четыре кофейных чашки. Таким образом, из раковины на меня смотрит сытная трапеза на двоих. Я представляю, как они смеялись, говорили друг другу ласковые слова, миловались, трогали друг друга, и думаю: «Неужели все это я сейчас должна мыть?! Неужели я как обманутый плотник из легенды, из-за горя которого разрушился Храм?! Плотник, подававший им еду и ливший слезы в их бокалы? Да, я — плотник, а Арье — моя жена! Не хватает только третьего персонажа — женщины, за которой я вызвалась мыть посуду. Той, что сидела с ним тут, когда я ушла, и предавалась наслаждениям, о которых я могу только гадать». Я пытаюсь вспомнить лицо девицы с мундштуком — таинственной племянницы, которая, по словам Арье, якобы давно уехала обратно во Францию, — но мне удастся вспомнить только в чем она была в магазине: в бриджах и пиджаке. Небось давно сменила их на теплые зимние вещи. Господи, как мало я о ней, в сущности, знаю...

— Слушай, а ты посуду-то вообще мыть умеешь? — спрашивает Арье озабоченно.

Ничего не ответив, я окунаю губку в плошку и, глядя в окно на лимонное дерево, освещенное уличным фонарем, начинаю намыливать большие тарелки. Лимоны на дереве светятся, как маленькие луны. «Что я тут вообще делаю? — думаю я. — Мою посуду за старым развратником и его любовницей? Вместо

того чтоб мыть посуду дома? За собой и собственным мужем? Стояла бы себе сейчас возле нашего окна, которое скрывает от посторонних глаз тенистый куст, слушала бы приятный тенор Йони... Этот его мягкий, умиротворяющий тенор... Так нет же. Вместо этого я слушаю жуткий кашель Арье и вдыхаю принесенные им из больницы микробы». Я думаю об этом потому, что как раз в этот момент он начинает ужасно кашлять. Прямо как чахоточный. Я делаю вид, что этого не замечаю — как будто занята мытьем посуды, — но он, слегка покачиваясь, подходит ко мне, протягивает стакан и бормочет:

— Налей мне воды.

— Тебе надо бросать курить, — говорю я, игнорируя его просьбу и наслаждаясь своей минутной над ним властью. Но он повторяет: «Воды», — и я беру у него стакан. Налив в него теплой воды (в которую я как бы случайно добавляю немножко мыльной пены), я протягиваю стакан ему, но поскольку я наливала воду очень медленно, то к тому моменту, как он подносит стакан ко рту, кашель душит его уже так сильно, что ему трудно глотать, и он сплевывает воду на пол. Испугавшись, что он забрызгает мне кожаные брюки, я машинально отскакиваю в сторону, а он, с красными от кашля глазами и страдальческим выражением лица, склоняется — как конь над кормушкой — над раковиной, кладет подбородок на грязные тарелки и подставляет свою огромную голову под струю воды. Он стоит в этой позе, пока кашель не прекращается, а когда наконец-то поднимает голову, лицо у него совершенно серое и такое мокрое, что поначалу мне даже кажется, что он плачет. Однако, присмотревшись, я вижу, что глаза у него, в отличие от лица, сухие.

Он берет со стула лежащее на нем кухонное полотенце и начинает вытирать им лицо, а я вдруг представляю себе, как наступает лето и он на мне лежит. Меня вообще всегда заводит, когда он прикасается к себе — настолько уверенно, по-мужски и вместе с тем

непринужденно он это делает. Я вижу, как его горячий соленый пот капает мне на лицо — точно так же, как сейчас с него капает вода, — как этот пот стекает по моим щекам и как он его с меня стирает. Точно так же, как стирает сейчас воду со своего лица.

Он садится за стол, понутив голову. «Может, до лета он уже и не дотянет», — думаю я с грустью, подхожу, сажусь к нему на колени и обнимаю, но он не певелится. Хотя и не отталкивает. Мой нос болит, но мне все равно. Потому что на коленях у него мне так хорошо, как будто это мой родной дом.

— Тебе надо бросать курить, — говорю я еще раз, положив голову ему на плечо. — Я за тебя волнуюсь.

— Почему? — спрашивает он.

— Потому что ты часть моей семьи.

— Почему тебе обязательно надо тащить всех в свою семью? — улыбается он.

— Ты ведь знаешь, что ты и так уже моя семья, — говорю я и прижимаюсь к его плечу еще крепче.

Я смотрю на его серый профиль — на приплюснутый, как у негра, нос, полные губы, волевой подбородок — и думаю, как сильно я его хочу. Не в смысле с ним спать, а в смысле его «аннексировать», сделать полностью своим. Знать все, о чем он думает, каждую минуту, быть одной из тех, о ком он думает, и чтоб он тоже хотел знать, о чем думаю я, и чтоб наши мысли перетекали друг в друга, как жидкость в сообщающихся сосудах... А еще мне хочется его встряхнуть. Чтоб его любовь ко мне — если она у него, конечно, есть, пусть даже совсем крошечная — растеклась бы по всему его телу. И он, словно услышав меня, улыбается. Улыбается этой своей загадочной, словно обращенной внутрь улыбкой — такой родной и в то же время такой чужой, — но она быстро с его губ сходит, и он в отчаянье говорит:

— Как же я теперь все успею? Я теперь уже ничего не успею.

Тем не менее продолжает сидеть.

Мне хочется его утешить, и я говорю:

— Я тебе помогу, время еще есть.

Но он смотрит на белые стенные часы над раковиной и говорит:

— Нет, времени уже нет. Через полчаса мне надо выезжать. Повезу их в ресторан. Время вышло.

Я чувствую себя ужасно виноватой (потому что он говорит это с таким трагическим видом, словно изменение его планов — вселенская катастрофа, которая повлечет за собой другую вселенскую катастрофу, и все это из-за меня), а он снимает меня с колен, медленно встает и начинает укладывать продукты обратно в холодильник.

— Слушай, а может, я сама все это приготавливаю? — предлагаю я, наблюдая за тем, как он медленно, со скорбной торжественностью отправляет в холодильник празднично, как на выставке, разложенные на мраморном покрытии возле раковины и ставшие теперь уже не нужными листья салата, рыбу и грибы. — Нет, правда, давай я приготавливаю еду сама? Ты вернешься — а все уже будет готово.

Но он крутит головой так категорично, как будто даже не собирается мое предложение рассматривать.

— Не волнуйся, когда вы приедете, меня уже здесь не будет. Я не собираюсь ставить тебя в неловкое положение.

Но он снова отрицательно крутит головой.

\* \* \*

Закончив раскладывать продукты, он с видом человека, смирившегося со своей горькой участью, подходит к раковине и начинает мыть посуду, а я, со своим распухшим носом, чувствую себя совершенно лишней. Даже более лишней, чем листья салата. Потому что они-то ему еще пригодятся — пусть даже и не сегодня, — а я уже нет. Ведь это из-за меня его несчастные родственники, приезжающие сюда при таких прискорбных обстоятельствах — попрощаться с Жозефиной, — лишились возможности насладиться

едой домашнего приготовления, которая могла бы немного подсластить им горечь расставания.

— Позволь мне хотя бы домыть посуду, — умоляю я, чувствуя, что отмена их семейной трапезы превращается в мой смертный приговор, но он молчит и не двигается с места. Можно подумать, что раковина — его боевой редут и он решил его от меня оборонять.

Я, конечно, могу сейчас взять да уйти, но мне не хочется вот так вот уходить. Я хочу, чтоб мы расстались по-доброму. Но как растопить атмосферу, не знаю; поэтому просто сажусь и разглядываю его спину.

Я смотрю, как он умело управляет посудой, считаю вымытые им тарелки (мне все еще хочется знать, четное ли их количество) и думаю о том времени, когда в нашем доме воцарилась точно такая же напряженная тишина.

\* \* \*

Это было после смерти моего братика. Как минимум год мои родители практически не общались и смотрели друг на друга с такой враждебностью, словно каждый из них считал другого убийцей. Папа, правда, поначалу еще пытался с мамой заговаривать, но, как всегда, быстро отчаялся и сдался — его терпения вообще никогда надолго не хватало, — и после этого атмосфера в доме стала еще хуже. На каком-то этапе мама, возможно, и сама этого испугалась, но изменить уже было ничего нельзя. Так, без слов, во враждебном молчании мы все трое и жили. За исключением тех дней, когда мама начинала припоминать папе его преступления, особенно тот факт, что он бросил медицинский и стал заниматься исследованиями в своей задрипанной лаборатории. «Если б он доучился, — ядовито шептала она мне, — мог бы спасти не только нашего ребенка, но и всех нас», — и каждый раз, как папа это слышал — а она повторяла это снова и снова, — он сразу сбегал. Хлопал входной дверью и



часами бродил по саду. Даже внешне они оба изменились: он почти ничего не ел, стал худым, как скелет, страшным, и глаза на его страдальческом лице казались какими-то огромными; мама же, наоборот, растолстела, потому что жрала, как слон. Приносила из супермаркета пакеты, полные продуктов, и жрала. Однажды даже накинулась на фарш. Жарила котлеты — и вдруг стала его есть. «Ты что? Он же сырой, не поджаренный», — поразилась я, видя, как она засовывает в рот противную мягкую массу. «Ничего, — сказала она, — поджарится у меня в животе. Потрогай, какой он у меня раскаленный». — «Она думает, что ей надо много есть, чтоб у нее было молоко, а оно на самом деле больше никому не нужно, — сказал папа, обращаясь ко мне (он вообще всегда обращался ко мне, когда хотел сказать маме какую-нибудь гадость). — Думает, если растолстеет и будет носить одежду большого размера — забеременеет». — «От кого это я забеременею? От него, что ли? — не осталась в долгу мама. — Ни за что! У него семя гнилое». — «Но, мама, я ведь тоже из его семьи», — запротестовала я, но она ничего не ответила. Только горько усмехнулась — какой-то сатанинской усмешкой — и провела испачканной жиром рукой по своим коротким волосам, как раз в том месте, где у нее раньше была коса. Словно говорила: «Отрезав косу, я отрезала свою красоту, и это моя ему месть!»

Каждый раз после таких сцен я убегала в свою комнату, забиралась в кровать, укрывалась одеялом и обнималась с маленькой мягкой шерстяной овечкой. Это была единственная оставшаяся от братика вещь, которую мне удалось спасти. Всю его одежду и игрушки сложили в белую кроватку и выбросили, но эту овцу мне удалось выкрасть, и я с ней много лет тайком обнималась. Чтобы мама ее не нашла и не выбросила, я ее тщательно прятала и каждый день, возвращаясь из школы, первым делом бежала в свою комнату, чтоб убедиться, что овечка все еще там, а когда подружки звали меня в гости, отказывалась:

боялась надолго оставлять ее одну. Много лет спустя, когда меня призвали в армию, я взяла ее с собой, и она там пропала — по-видимому, ее украли, — но, к своему удивлению, я совсем не расстроилась. Может, даже и обрадовалась.

\* \* \*

— А ты знаешь, что мой брат умер? — спрашиваю я Арье, чтоб он не думал, что несчастья бывают только у него.

— Конечно, знаю, — говорит он, помолчав. — Я тогда как раз приехал в Израиль и хотел зайти к твоим родителям выразить соболезнования, но они не хотели никого видеть. Честное слово, хотел зайти, — добавляет он, как если бы я в этом усомнилась. — Я им очень сочувствовал, зная, сколько лет они пытались завести еще одного ребенка. Ладно, — говорит он, закончив мыть посуду и удовлетворенно оглядев чистую раковину. — Пойду-ка я искупаюсь — и в путь. Заодно и тебя до дома подброшу.

Он говорит это так ласково и мягко, будто случившаяся в нашей семье трагедия искупила мою вину за сорванную ему трапезу, и, обрадовавшись, что он на меня больше не сердится, я отправляюсь вслед за ним в спальню смотреть, как он раздевается. Но когда он, сняв свитер и брюки, остается полуобнаженным — в красных трусах и длинной бордовой майке, — я с трудом сдерживаю смех. Как будто он рассказал мне смешной анекдот. Потому что, в отличие от его верхней одежды — всегда такой элегантной и солидной, — белье у него оказывается на удивление молодежным, и в этом своем цветном белье он выглядит как переодевшийся юнцом старик, причем переодевшийся так удачно, что его невозможно узнать. Словно этот наряд стал его новой кожей.

Когда он идет в душ, я увязываюсь за ним и туда, но даже там, сняв майку и трусы, он продолжает ка-

заться мне стариком, переодевшимся в юнца, — настолько гладка его смуглая кожа. Я смотрю, как он стоит под струей воды, потягивается, тщательно намыливается (нет ни одного миллиметра на теле, которого бы он не намылил), взбивает пену в паху, — и вдруг понимаю, что он делает это в точности, как мама. Интересно, кто из них у кого этому научился. Она у него или он у нее? Я вспоминаю, как смотрела на нее в душе и испытывала отвращение. Мне было противно, что она так грубо и деловито прикасается к своему нежному, загадочному органу и взбивает на нем кудрявую пену так, словно это крем для торта. Позднее, когда она растолстела, то начала запирается, и я — вплоть до сегодняшнего дня — никогда больше этого не видела, но белая пена, казавшаяся мне такой отвратительной на ней, на нем кажется мне восхитительной и, глядя на его проглядывающий сквозь пену смуглый, великолепной формы член, я чувствую вдруг знакомое покалывание во всем теле — покалывание, которое испытываю, когда возбуждаюсь или чего-то страстно хочу. Когда я испытывала это ощущение в своей «первой» жизни, то думала, что мне хочется шоколада, но даже когда я наедалась шоколадом до отвала, оно не проходило, и я знаю, что сейчас — даже если я наброшусь на Арье — оно тоже не пройдет. Потому что удовлетворить мой голод невозможно.

Он выключает воду, осторожно вылезает из ванной, заворачивается в большое полотенце, подходит к шкафу, достает оттуда трусы в разноцветную полоску, фиолетовую майку, надевает поверх них серую рубашку и темно-синий костюм — как будто собирается на деловую встречу, — достает из ящика маленькую расческу, зачесывает волосы назад (зубья расчески оставляют на его загорелом черепе белые полосы) и сует ее в задний карман брюк, но, хотя это его действие кажется таким же рутинным и непринужденным, как и все прочие телодвижения, за

которыми я внимательно — как шпионка, обязанная записать все подробности и доложить о них вышестоящему начальству, — наблюдаю, оно меня вдруг ужасно злит. Потому что он делает это очень кокетливо. «Как это может быть, чтоб пожилой мужик, у которого умирает жена, совал себе в задний карман дешевую пластмассовую расческу?!» — с возмущением думаю я и спрашиваю:

— Слушай, а у тебя зад не болит, когда ты сидишь?

— Вроде нет, — говорит он, посмотрев на меня удивленно, и трогает себя сзади.

Я подхожу, кладу руку ему на ягодицу, но никакой расчески за плотной тканью парадного костюма не ощущаю. Как будто она в его таинственном теле растворилась. Он вообще кажется мне невероятно таинственным. Таинственным и чарующим. Как и все, что с ним связано: его умирающая жена, приезжающая попрощаться с ней старенькая мама, его нижнее белье...

Я не сомневаюсь, что где-то существует женщина — по крайней мере одна, — которой все это может показаться чем-то вполне обычным: и то, что он принимает душ, и то, что взбивает пену в паху, и то, что одевается, едет в аэропорт... Все это покажется ей настолько обычным, что не произведет на нее никакого впечатления. Но есть ведь и такие женщины — как минимум одна (причем даже не исключено, что та же самая), — которой покажется таинственным и привлекательным все, что делает Йони. Ей захочется пойти с ним в душ, увидеть, как он намыливается, ее приведут в восторг его небрежные жесты, белая кожа, и мне надо приложить все усилия, чтобы эту женщину от него отогнать. Где бы она ни жила: на другом конце света или за ближайшей стенкой.

Я с опаской смотрю на ближайшую стену и вдруг — словно забытый страшный сон — вспоминаю соседку с ребенком. Нет, надо немедленно наняться к ней в сиделки! Я просто обязана осмотреть ее ребен-

ка! Причем не только его овечью физиономию, но и тело. Раздену его, проверю, какого цвета у него кожа, форма ступней, осмотрю его половой орган, уши — и все станет ясно. Потому что другого способа узнать правду нет. Все надо делать самой. Ведь спросить я не могу, а даже если и спрошу, шансов получить ответ — никаких. Так же как нет абсолютно никаких шансов узнать, кто ел из тарелок и пил из рюмок, еще недавно переполнявших раковину.

Почувствовав распространившийся по комнате запах лосьона, я возвращаюсь в реальность и вижу Арье. Он стоит между двумя узкими кроватями приосанившийся, надушенный и расфуфренный, но при этом в нем есть что-то нелепое, вызывающее жалость: и эта его гордость самим собой, и старания выглядеть здоровым, целым... Как будто в больнице не лежит его гниющая заживо, съеживающаяся половинка. Он напоминает мне сейчас героя дешевого телесериала — героя, который гордо и скорбно отправляется выполнять возложенную на него трагическую миссию.

— Всё, трогаемся, я уже опаздываю; они вот-вот прилетят, — говорит он, бросает взгляд на мой нос, усмехается и торопливо ведет меня по коридору к выходу.

Когда мы будем вместе (а мне вдруг становится совершенно ясно, что это произойдет, и поэтому не имеет уже никакого значения, что именно через несколько минут сообщит мне Йони) — какое это будет счастье, когда он станет меня поторапливать и скажет: «Пошли уже, мы опаздываем!» Потому что в этом «мы» буду и я тоже. А я специально буду медлить. Буду подолгу простаивать у зеркала и смотреть на свой нос. Только чтобы услышать, как он говорит: «Пошли уже, мы опаздываем!»



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Единственное, что мне хочется знать, — это в каком часу умерла Жозефина, но именно этого-то мама и не знает. Она вообще не понимает, почему мне это так важно.

— Звонила Тирца из больницы. Сказала, ночью умерла жена Арье. Она лежала с ней в одной палате, представляешь? На соседней кровати!

— Да? А в каком часу?

— Позвони ей да спроси. Я не собираюсь приставать к ней с такими глупостями.

Моей реакцией она явно разочарована.

Она любит будить меня по утрам плохими новостями про знакомых и родственников: кто заболел, кто умер, у кого неприятности. Такие новости помогают ей справляться со скукой. Скука настигла ее после депрессии, а та в свою очередь — после многих лет скорби и ненависти. Сообщая подобные новости, она, разумеется, злорадствует, но, возможно, она также втайне надеется, что благодаря этому увеличится количество членов «Клуба пострадавших от жизни». Сама она вступила в этот клуб, когда умер ее ребенок, и первым делом закрыла входную дверь перед папой (чтоб он тоже туда не пролез и не похитил у нее ее трагедию), но по отношению ко всем прочим она намного более милостива: любой другой ударенный

судьбой человек имеет право в этот клуб вступить. При условии, конечно, что его трагедия достаточно серьезная: например, если женщина потеряла мужа или ребенка, если кому-то ампутировали конечность, если кто-то тяжело заболел и т. д. Во время наших телефонных разговоров имена этих людей стаями выпархивают из маминого рта и перелетают ко мне. «Слышала, что случилось с N?» — спрашивает она обычно для затравки и, не дожидаясь моего ответа, начинает грузить меня информацией. Но на этот раз ее информационная сводка оказалась короткой.

— Я даже и не знала, что она больна, — говорит она обиженно, как девочка, которую не пригласили на вечеринку. — Твой папа, кстати, все знал, но ничего мне не сказал. Помнишь, как Арье приходил к нему несколько месяцев назад? Оказывается, он хотел посоветоваться насчет какого-то нового вида лечения, но, судя по всему, было уже поздно. Нет, ну ты представляешь? Она целую неделю пролежала возле Тирцы, а я ее не узнала. Я ведь бывала там почти каждое утро! Мне даже в голову не пришло, что это она — настолько она изменилась. В молодости она была как фарфоровая куколка. Нежная такая, но при этом сильная (мама говорит это с уважением, которое питает только к покойникам). Конечно, я много лет ее не видела, но чтоб измениться настолько сильно... Интересно, что этот великовозрастный ребенок будет теперь без нее делать? Потому что именно она-то его в руках и держала, можешь мне поверить. Он и минуты не проживет без женщины, способной держать его в руках. Вот увидишь, уже через неделю найдет ей замену. Может, даже конца шивы\* не дождется.

У меня так и чешется язык сказать ей, что этой заменой буду я, но я сдерживаюсь, однако то, что она

---

\* Шива — у евреев период траура, длящийся семь дней. Все это время людям, соблюдающим траур, предписывается сидеть дома и принимать соболезнования.

про него рассказывает, меня озадачивает. Потому что мне он кажется сильным и самодостаточным, а по ее словам, он несамостоятельный, инфантильный и слабый.

— Как же она могла держать его в руках, если так долго болела? — спрашиваю я.

— Тирца говорит, что, даже умирая, она за него все время беспокоилась. Боялась, что он будет страдать от одиночества или впадет в депрессию, и следила за тем, чтоб его навещали друзья. Когда кто-то из них к ней приходил, она уже через несколько минут их выпроваживала и отправляла к Арье. Как будто это он болел, а не она.

Всю эту тираду она произносит с какой-то победной интонацией и чуть не похрюкивая от удовольствия.

— И ты не знаешь, в котором часу она умерла? — спрашиваю я еще раз.

— Яара, что с тобой?! Вместо того чтобы спросить, когда ее похороны, ты спрашиваешь, когда она скончалась! Ты же пойдешь со мной на похороны, правда?

На похоронах я обычно играю роль ее мужа. Папу она видеть возле открытых могил не любит: говорит, что он вечно лезет вперед и за ним ничего не видно, — но меня брать с собой ей нравится. Я, правда, каждый раз зарекаюсь с ней ходить, но в последний момент не выдерживаю и иду, с глупой надеждой, что если кому-то посочувствую, то, возможно, это принесет ему утешение.

— Ты только узнай, в котором часу она умерла, — не слезаю я с нее.

— По-моему, ты совсем рехнулась. Впрочем, я с радостью схожу и одна.

Однако уже через несколько минут она звонит снова и ворчит:

— Из-за тебя мне пришлось разбудить Тирцу. Жозефина умерла примерно в десять вечера. Ну? Теперь ты довольна?

Нет, я совсем не довольна. Скорей, напугана. Как ипохондрик, узнавший, что заболел, или как параноик, обнаруживший, что его действительно преследуют. Потому что всю ночь меня мучило предчувствие, что они не успеют с ней попрощаться.

Когда вчера Арье высадил меня у дома, я сказала:

— Надеюсь, ты успеешь.

— Не волнуйся, — ответил он, — приеду вовремя.

Он имел в виду, что успеет в аэропорт, и не понял, что я имела в виду Жозефину. Впрочем, в тот момент я и сама еще, наверно, этого не понимала.

Я представляю себе эту странную компанию: Арье в своем парадном деловом костюме, надушенный и разодетый, как жених; сестра Жозефины и ее муж, поддерживающие под руки трясущуюся от старости мать; ее старческие голубенькие волосенки... Я вижу, как они укладывают чемоданы в багажник, едут из аэропорта в самый дорогой в городе — итальянский или французский — ресторан (потому что дома есть нечего), приезжают к Арье домой, идут по чистым от пыли коврам и обнаруживают, что их ждет сообщение на автоответчике.

От грусти и чувства вины у меня кружится голова. Как я могла сорвать ему все его планы этим своим дурацким визитом?! Если бы они, как он и планировал, поели дома, то, может, еще и успели бы с ней попрощаться. А ведь это наверняка — как эффект домино — повлекло за собой и срыв каких-то их других планов. Потому что если ломается что-то маленькое, обязательно ломается и что-то большое. Поскольку же он знает, что все это произошло по моей вине, он мне этого никогда не простит!

Тем не менее возле раскрытой могилы жены он, как ни странно, улыбается мне вполне тепло и дружелюбно.

Он стоит в группе людей, которые выглядят именно так, как я себе их и представляла: как бродячая

труппа экспериментального театра. Причем каждый старается играть свою роль как можно лучше. Мать — в роли матери — сдержанно смахивает европейскую слезу, и ее волосы хорошо смотрятся на фоне голубых облаков. Поддерживающая ее под руку сестра Жозефины стоит с виноватым видом, но выглядит слишком здоровой; по-видимому, она всегда была менее красивой и успешной, но в живых осталась именно она. Муж обнимает ее за плечи, с гордостью демонстрируя преданность семье в тяжелую минуту. А рядом с ним — высокий, нарядный, во вчерашнем костюме — стоит Арье, играющий роль интеллигентного вдовца, и никому не приходит в голову, что под брюками у него смешные полосатые трусы.

Я стою неподалеку от него. Мама всегда занимает лучшие места в середине (иногда, чтоб протиснуться, даже орудует кулаками), а я, как пай-девочка, стою между мамой и папой. Потому что на этот раз папа настоял на своем и тоже пришел. По их злым лицам видно, что далось им это нелегко, и наверняка во время ссоры они обменивались репликами, которые могли бы меня заинтересовать, типа: «У кого больше прав присутствовать на этих похоронах — у меня или у тебя? Кто дружил с Арье больше — я или ты?» Я же стою между ними и горжусь тем, что обскакала в этом состязании их обоих и честно заработала право быть допущенной в круг самых близких к покойной людей (может быть, «честно» и не самое подходящее в данном случае слово, но смысл понятен). Потому что я, возможно, единственный среди всех присутствующих человек, который видела ее в последний день ее жизни, и, может быть, именно из моих рук она выпила последний в своей жизни чай: два чайных пакетика и две ложечки сахара. Если меня спросят, что я здесь делаю, я вполне могу это рассказать. «Видимо, — скажу я, — она знала, что это конец, и хотела выпить чаю в последний раз».

Я с гордостью поглядываю на скорбные физиономии присутствующих и ищу глазами девушку с ко-



роткими прямыми красными волосами. Но ее здесь нет. Большинство пришедших на похороны — преклонного возраста; ни одной женщины, вызывающей у меня подозрение или ревность, среди них не наблюдается. Вдруг я вижу вдалеке тетю Тирцу. Территория вокруг нас больше похожа на стройку, чем на кладбище, и Тирца продвигается медленно, обходя большие валуны и ямы. Мне ужасно не хочется, чтоб она разболтала всем о моем визите в больницу, и, к вящему удивлению своих родителей, я бросаюсь ей навстречу (как бы для того, чтоб помочь дойти), а она наваливается на меня всем телом (непонятно даже, как она ухитрялась идти до этого без моей помощи), язвительно улыбается и говорит:

— Ну что ж. Вот он наконец-то и свободен, этот ее мужичонка.

— Чей-чей? — переспрашиваю я, потому что мне кажется, что она сказала «твой».

— Ее, — повторяет она, но опять невнятно, и я снова не могу понять, что она сказала: «ее» или «твой». Кроме того, меня злит, что она пренебрежительно называет его «мужичонкой». Почему не «мужчиной»? Да кто она такая?! Разочарованная в жизни муженавистница, только и всего. И что она вообще о нем знает? Тем не менее ее слова вселяют в меня тревогу. А вдруг она знает о нем больше, чем я? Может, он и впрямь не мужчина, а мужичонка? Поди знай, что наговорила ей Жозефина, когда они долгими больничными ночами лежали в палате, где никогда не гаснет свет, не смолкает шум и не стихает боль.

Под ее тяжестью я чуть не падаю. Я иду ссутулившись, уткнувшись глазами в землю и думаю, почему Жозефина от болезни уменьшилась, а Тирца, наоборот, увеличилась. Почему она стала такой огромной, властной и страшной?

В конце концов собравшиеся на кладбище нас замечают и начинают внимательно за нашим приближением наблюдать, но мы идем настолько медленно,

что мне даже начинает казаться, что Тирца идет с такой скоростью специально и что она нарочно на меня так сильно — чуть ли не со злобой — налегает, практически подминая под себя.

Я иду и мысленно ее проклиная, а заодно и все свои чертовы секреты. Потому что именно из-за них я попадаю в такие идиотские ситуации. Причем это еще хорошо, если они всего лишь идиотские. И все из-за того, что мне есть что скрывать.

Мы добираемся до зарезервированного для нас места в тот самый момент, когда начинается похоронная церемония — как будто все только и делали, что ждали нас, — и Тирца, с ее фирменной ледяной улыбкой на губах, на удивление проворно пристраивается к маме. Я же с облегчением расправляю плечи и, все еще ощущая на себе тяжесть Тирцы, вижу, как в глубокую яму соскальзывает крошечный, худенький, небрежно завернутый в саван трупик Жозефины\*. По размеру она с двенадцатилетнюю девочку — не больше, — и я на секунду представляю себе, как она, двенадцатилетняя, скатывается с горки. Скатывается и весело смеется... Однако тут ее смех сменяется сдержанным плачем, который становится все громче, и Арье — с большой черной кипой на голове — начинает читать кадиш. Он произносит его без запинки, с правильными ударениями и идеальным произношением, как будто всю жизнь только и делал, что его зубрил\*\*, и я смотрю на него, как зачарованная. Никогда еще я не восхищалась им так сильно, как в эту минуту.

Черная кипа прикрывает его седину, возвращая волосам их первоначальный цвет, лицо от волнения кажется помолодевшим, и мне вдруг ужасно хочется,

---

\* По еврейскому обычаю, покойников хоронят не в гробу, а в саване.

\*\* Трудность произнесения этой молитвы состоит в том, что она составлена на арамейском языке.

чтоб и надо мной кадиш тоже сказал именно он — он и никто другой. Надо будет с ним об этом при случае договориться. Это ведь не такая уж и большая просьба, правда?

Когда он заканчивает читать молитву, лицо у него — желтое, а плечи дрожат, и сквозь пелену поднимающейся из могилы пыли я вижу, как к нему подходит какой-то мужчина, тоже седой и тоже в черной кипе. Однако, когда он обнимает Арье, я с ужасом понимаю, что это тот самый судья из Яффо. С той разницей, что возле могилы Жозефины он выглядит гораздо более бодрым и уверенным в себе, чем тогда, на своей двуспальной кровати. Я смотрю, как Арье тепло его обнимает, вспоминаю его рыхлое белое тело, и меня передергивает от стыда.

Тут вдруг возле меня начинается какое-то странное шевеление. После этого слышится сдавленный смех, и я вижу, как папа, игнорируя мамино шипение, покидает наше семейное «гнездо», направляясь в сторону Арье и судьи. Те явно взволнованы. Обнимают его, радуются воссоединению их компании, плачут, и я с удивлением вижу, что папа плачет вместе с ними. Не знала, что Жозефина была ему так дорога.

Маму, стоящую позади меня, это тоже удивляет, и я слышу, как она шепчет Тирце что-то ядовитое.

— Оставь его в покое, — говорит та. — Дай ему немножко развлечься.

Судя по тому, как папа рыдает, он развлекается на полную катушку: одной рукой обнимает Арье, другой — Шауля, а сам стоит в середине — как будто вдовец здесь не кто иной, как он — и плачет. И все это из-за кого?! Из-за женщины, которая была ему почти чужой! Наверно, даже после смерти моего брата он так не рыдал.

Я смотрю на этих немолодых, некрасивых, не слишком счастливых мужчин — плачущих на краю могилы так, словно они оплакивают общую возлю-

бленную, — и мне ужасно странно, что папа обнимается с мужчинами, с которыми я спала, точно так же, как я обнималась с ними несколько дней назад.

На фоне папы — с его хлипким телосложением и светлой кожей — Арье кажется мне еще более плотным и смуглым, чем обычно, и я начинаю думать о маме, наблюдающей за ними из-за моей спины. Нет, она просто не могла не влюбиться в этого загадочно смуглокожего, крепкого, уверенного в себе парня, когда увидела их с папой в первый раз. Впрочем, при всей его уверенности в себе, доверия он все-таки не вызывает: даже здесь, на кладбище, кажется каким-то скользким и вызывающим подозрение. Особенно на фоне двух своих друзей. Те выглядят как простые смертные, со всеми их слабостями и недостатками: папа — худой, низкорослый и плешивый, а Шауль — толстый и немного сутулый. Но Арье... Он стройный, с прямой осанкой, и его недостатки не бросаются в глаза; их не заметно. Поэтому-то он и самый опасный.

Я слышу, как за спиной у меня насмешливо перешептываются мама и Тирца.

— Три мушкетера — и все чокнутые! — хихикает мама.

— Ну, толстяк-то вроде кажется нормальным, — возражает Тирца.

— Кто нормальный? Это он-то?! — презрительно шипит мама. — Я слышала, он обожает малолеток.

Я не выдерживаю и оборачиваюсь.

— Почему тебе обязательно надо говорить про всех гадости? — спрашиваю я, задыхаясь от злости. — Он же судья!

Почему-то мне вдруг становится важно его защитить, и я чувствую, что он мне очень дорог.

— А тебе-то что? Ты с ним знакома, что ли? — вскипает мама и начинает издевательски напевать: «Судей не судят, судей не судят».

Ее голос раздражает меня, как жужжание осы, и мне вдруг хочется столкнуть ее в могилу. Пусть ва-

ляется там в обнимку с Жозефиной и кормит своей ложью червей!

— Все из-за тебя! — хрипло шепчу я, едва сдерживаясь, чтоб не заорать. — Это все из-за тебя!!!

— Что из-за меня? — не понимает она.

— Храм разрушился из-за тебя, вот что! — шепчу я и вижу, как из ее гнусного рта вырывается яркое желтое пламя. Оставляя за собою черный кипящий след, оно петляет меж свежих могил, доползает до Храмовой горы\*, расщепляется на бесконечное множество огненных змеек и вползает на Храм. Тот становится сначала желтым, потом черным, а я смотрю на небо и жду — жду, когда из-за облаков появится рука и схватит ключи от Храма, которые первосвященник швырнул высоко вверх\*\*, — но так увлекаюсь ожиданием этой руки, что не замечаю, как выразительное лицо Арье исчезает из виду, заслоненное обступившими его людьми.

С трудом выбравшись из их толпы, папа возвращается к нам. Еще минуту назад он был в кругу друзей — и вот он снова в царстве ядовитых женских сплетен. Но Арье я больше не вижу. Его черная кипа все еще мелькает в просветах меж чужих голов, но его искаженное от горя, выразительное и столь любимое мной лицо от меня спряталось. Мне становится страшно, что я больше никогда его не увижу — как если бы сегодня похоронили не Жозефину, а его самого, — и меня охватывает ужасная тоска.

---

\* Храмовая гора — гора в Старом городе Иерусалима, на которой когда-то стоял Храм.

\*\* Имеется в виду одна из легенд о разрушении Первого Храма: «Увидя Храм объятый пламенем, взшел первосвященник на кровлю его, а вслед за ним — группа за группой — взошли юнейшие из коганидов [священников] с ключами от храмовых дверей в руках; и воззвали они к Господу, и сказали: «Владыка мира! Недостойные быть сокровищехранителями, заслужившими Твоего доверия, возвращаем мы Тебе ключи от Дома Твоего!» И с этими словами бросили ключи к небесам. Показалось подобие кисти руки и приняло ключи». («Агада».)



Пораженная силой этой тоски и окруженная с обеих сторон родителями (которые, подобно двум враждующим бандам, объединившимся, чтоб противостоять полиции, снова против меня сплотились), я уныло плетусь вместе со всеми к стоянке машин, разглядываю длинные ряды белых могильных плит и думаю. Я думаю о том, какое длинное имя — Авессалом — дали моему покойному брату, и о том, как папа оплакивал его, читая «Книгу Царств»: «Сын мой Авессалом! Сын мой, сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя...»\* (только она, эта древняя молитва, и оправдывала данное брату имя), а потом вспоминаю, как боялась, что слова этой молитвы сбудутся: мой брат вдруг вылезет из-под земли, а папа, вместо него, уйдет под землю. Но поскольку я думала тогда, что этой молитвой папа меня предает, я мстительно представляла, как тесно будет ему в крошечной могиле, как ему придется сложиться там пополам и скрючиться и как все тело у него будет болеть.

\* \* \*

В машине я сажусь сзади, рядом с Тирцей, которая сидит на своей большой заднице, широко расставив ноги, и равнодушно смотрит в окно.

— Мне неудобно вас обременять, — говорит она вдруг, обращаясь к моим родителям, — но через пару месяцев вам придется собраться здесь снова.

Они — из вежливости — начинают протестовать, но она их прерывает:

— Только не надо лицемерить, господа. Я болею тем же, чем и Жозефина. Нет никаких причин, чтоб у меня это закончилось иначе.

— А как она умерла? Что сказала перед смертью? — спрашиваю я, не удержавшись.

---

\* Вторая книга Царств, 18:33.

— Ты насмотрелась слишком много фильмов, моя дорогая, — горько усмехается Тирца. — Настоящая смерть обычно менее болтлива, чем кинематографическая. Жозефина не сказала ничего.

— А сколько времени она ничего не говорила?

— Не знаю, — пожимает плечами Тирца. — Когда я в обед вернулась с процедур, она спала. Когда к ней в пять часов пришел Арье, она тоже спала. Он сказал, что зайдет попозже, вместе с ее родственниками, но, когда они пришли, она уже не дышала.

— Так она что, после обеда так ничего и не сказала? — не отстаю я.

— Я же говорю, она все время спала, — раздражается Тирца. — Может, во сне она что и бормотала, но я не обратила внимания. И вообще, что с тобой сегодня? Что с тобой творится?

Я ничего не отвечаю и начинаю смотреть в окно на уродливые здания. «Как это страшно и как невероятно, что я была последней, с кем она разговаривала и кто видел ее живой!» — думаю я, и мне вдруг становится ясно, что я не зря сошла тогда с автобуса и не зря не пошла на встречу с завкафедрой. Я пытаюсь вспомнить, что она мне говорила, но ничего не вспоминается, кроме того, что в день, когда я родилась, ее вырвало, и чем больше я пытаюсь вспомнить, тем чувствую себя все хуже и хуже. Плюс ко всему у меня разбалывается голова: от боли я почти ничего, кроме тускло мерцающего зимнего солнца, не вижу — и тут, как с того света, доносится папин голос:

— Ну, так ты поговорила с Йони или нет?

— Нет, — отвечаю я. — Когда я вчера вернулась домой, он уже спал, а утром, когда я проснулась, он уже ушел.

— А что, — смеется Тирца, — отличный способ предохранить брак от распада. И как только я сама до этого не додумалась?

— Но почему я должна с ним говорить? — спрашиваю я с опаской. — О чем?

Однако папа не отвечает, и во мне просыпается вчерашний страх. Наверно, Йони сообщил им, что уходит от меня навсегда. Я чувствую, что меня сейчас вырвет. Жозефину вырвало в день, когда я родилась, а меня вырвет в день, когда ее похоронили. Но тут машина останавливается и папа объявляет: «Приехали». Удивившись тому, что этот совершенно чужой для меня человек знает, где я живу, я молча выхожу из машины — и меня рвет. Прямо на то место, где машина только что стояла.

\* \* \*

Вернувшись домой, я сразу отправляюсь в душ и моюсь до тех пор, пока не кончается горячая вода. Я мою голову, намазываю волосы кондиционером и даже взбиваю пену в паху. Однако на мне, в отличие от мамы и Арье, она чем-то особенным и достойным внимания не кажется. Обычная пена, которую видишь каждый день.

После душа я стригу ногти на руках и на ногах и пытаюсь себя успокоить. «Все в порядке, — внушаю я себе, — все в порядке. Я уже очистилась. Могу спокойно стричь ногти и чувствовать себя чистой. Горькую воду меня пить никто не заставит, и, если Йони что-то заподозрит, я буду все отрицать. Кстати, он тоже может все отрицать. Ведь если захотеть, можно поверить во все, что угодно, а про факты — забыть. Подобно тому как я забыла, что сказала мне Жозефина. Нет, скажу-ка я ему лучше так: “Я прощу тебя за то, что ты сделал ребенка соседке Арье, а ты простишь меня за то, что сделала я”. Впрочем, это работает только при условии, если ребенок действительно его; иначе мне не за что будет его прощать, и весь мой план рухнет. Поэтому не буду-ка я больше ничего выяснять вообще. А то еще окажется, что ошибаюсь. Пусть все это останется только в наших сердцах — в моем сердце и в его, — а вслух мы об этом говорить никогда не будем».

Я надеваю узкую мини-юбку, полосатый свитер, причесываюсь и смотрюсь в зеркало. Припухлости на носу уже почти не видно — даже мама ее сегодня не заметила, — и мне кажется, что теперь все будет хорошо: как-нибудь да выкручусь. Однако тут я вспоминаю лицо Арье, которое скрыла от меня толпа на кладбище, и мне становится жаль, что я так и не увидела, как оно сегодня у него менялось. Впрочем, в сравнении с тем, что мне еще предстоит, это потеря небольшая. Потому что мама наверняка права, и уже сегодня к нему переедет его подруга со стрижкой каре и мундштуком. Так что если я ему о себе не напомним, он забудет меня еще до окончания шлошим\*.

Одевшись, я начинаю краситься. Я делаю это с тайным восторгом девочки, которая подрабатывает нянкой и красит губы помадой хозяйки, и у меня такое ощущение, что я крашусь ворованной косметикой. На самом деле она, конечно, моя: и тональный крем, делающий лицо более смуглым и маскирующий морщинки; и карандаш, подчеркивающий форму глаз; и тушь, от которой ресницы становятся черней и гуще; и голубые тени, оттеняющие цвет глаз; и румяна, выделяющие скулы; и темно-красная помада с блеском — но ощущение, что я воровка, придает этому процессу какую-то особую прелесть.

Уже много лет я не красилась так тщательно, и результат — ошеломительный. Я стала такой ослепительно-красивой, как будто это не я, а кто-то другой. Но тут мне становится смешно, что я крашусь не перед выходом из дома, а, наоборот, вернувшись домой: как-то это не очень естественно — и я решаю, что раз уж я теперь такая красивая, жаль растрачивать эту красоту на желтые стены нашей квартиры. Стоит куда-нибудь сходить. Может, пойти на работу к Йони и узнать наконец-то, что он там вчера сказал моим

---

\* Шлошим (ивр. «тридцать») — тридцать дней, которые продолжается траур по покойному.

родителям? Но на этот счет у меня возникают сомнения. Ведь если у него есть подозрения, мое странное поведение — а оно действительно странное — их только усилит. Поэтому я решаю, что поеду в университет. Заставлю секретаршу умирать от зависти и очарую завкафедрой. Однако уже через минуту эта идея тоже кажется мне глупой. Жалко портить такой замечательный грим фальшивыми улыбками. Чтобы решить, что делать, я ложусь на кровать, но так как ни одна идея не кажется мне достаточно привлекательной, я начинаю размышлять, что глупее: делать макияж перед тем, как лечь в постель, или — подобно древним египтянам — краситься перед тем, как лечь в могилу, но еще до того, как прихожу к какому-то выводу, засыпаю.

\* \* \*

Хлопает дверь. Я просыпаюсь и испуганно вскакиваю с кровати. Сердце у меня колотится, и от каждого его толчка тело вздрагивает. «Вдруг это Йони только что ушел?!» — думаю я с ужасом. Точно так же я просыпалась в детстве, когда папа хлопал входной дверью после очередной ссоры с мамой, и у меня точно так же колотилось сердце. Меня охватывал страх, что папа больше не вернется, и я жалела, что упустила последнюю возможность с ним увидеться. Увидеться и уговорить остаться...

С толстым слоем грима на лице и в плотно облегающей юбке, я, как ошпаренная, выскакиваю из спальни. В квартире все признаки присутствия Йони: запах лосьона, висящая на стуле куртка, сумка на полу — но его самого нет. «Дура! — ругаю я себя. — Как же я позволила ему вот так вот улизнуть? Что же мне теперь до его возвращения делать? Да и вернется ли он вообще?» Я бросаюсь в ванную, чтобы проверить, на месте ли его бритвенные принадлежности и зубная щетка, вижу, что всё на месте, и не-



много успокаиваюсь, но потом вдруг думаю: а что, если он решил меня обмануть и специально купил себе еще одну зубную щетку? С этой мыслью я начинаю кружить по квартире и искать, что пропало, и в конце концов нахожу: на кухне нет мусорного ведра! «Так, — бормочу я, как умственно отсталая, — нет Йони и нет ведра. Что бы это значило?» Но в этот самый момент и Йони, и ведро возникают на пороге. Ведро — пустое. Я, кстати, сама собиралась его утром вынести, но забыла.

— Где ты была? — удивленно смотрит на меня Йони.

— В спальне. Спала.

— Накрашенная? — спрашивает он недоверчиво.

Вот так всегда: когда говоришь правду, тебе не верят. Я начинаю думать, что бы мне такое поубедительнее соврать, но в голову ничего не лезет. Тогда я разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов, подхожу к зеркалу и — о ужас! Я выгляжу так, словно вернулась с дикой оргии. Тушь растеклась, под глазами — грязные, смешавшиеся с румянами на щеках потеки, а губная помада частично стерлась: половина губ накрашена, половина — нет.

— Я просто перед выходом сделала макияж, но случайно заснула, — жалобно лепечу я. — Честное слово.

— Перед выходом куда? — спрашивает он, подозрительно глядя на меня, но вместо ответа я отправляюсь смывать грим, как будто теплая вода может смыть его подозрения.

Как же это все так получилось? Каким образом я из красавицы превратилась в уродину?! Я ведь красилась и наряжалась именно для него, для Йони. Хотела быть красивой и нарядной, когда он придет. Хотела выслушать то, что он собирается мне сообщить, с приведенным в порядок лицом. Однако и этот мой план обернулся утопией.

Я стираю мокрой ваткой грим со своего подурневшего, обезображенного косметикой лица, вижу, как

оно — на моих глазах — стареет и как еще недавно украшавшие его цвета — черный, коричневый, красный, голубой — переходят с него на ватку. Йони же нетерпеливо на меня смотрит, ожидая, пока я закончу, и нервно теревит свой курносый нос. Но от страха я никак не могу остановиться. Мое лицо уже совершенно белое и затерто чуть не до дыр, а я все тру, тру, тру, пока Йони наконец не выдерживает:

— Слушай, может, хватит уже?

— А что же мы будем делать? — спрашиваю я, закрывая кран, как будто и в самом деле совершенно нечем заняться, кроме как стоять перед зеркалом, краситься и смывать грим.

— Поедем в свадебное путешествие. У нас ведь не было медового месяца.

У нас его действительно не было, но меня это никогда особо не волновало. Наоборот, даже радовало. Создавало ощущение, что наша свадьба была ненастоящей, по крайней мере, для меня. «Вот и хорошо, — думала я, — что не было. Устрою себе медовый месяц после своей настоящей свадьбы».

— А куда мы поедем? — спрашиваю я осторожно, чтоб убедиться, что он не шутит. Может, он таким образом просто на что-то намекает?

— В Стамбул, завтра утром. Я уже обо всем позаботился. Твои предки подкинули нам денег. Остается только упаковать чемоданы.

Он говорит об этом с гордостью отличника, решившего все задачки и ожидающего, что учительница оценит его прилежание, и я действительно оцениваю его слова по достоинству. Я ужасно рада, что напугавшие меня загадочные намеки родителей обернулись таким приятным сюрпризом, и испытываю невероятное облегчение. А что? Может, именно так жить и надо? Готовиться всегда только к худшему и в награду получать от судьбы неожиданные подарки?

— Просто не верится, — говорю я, целуя его. — Как это тебе в голову пришло? Почему я ничего не заметила?

Я вдруг чувствую ужасный прилив любви к своему папе. И даже к маме. Я люблю их сейчас так сильно, что мне хочется, чтоб они поехали с нами. А правда? Будет такой семейный проект: «Совместный медовый месяц через пять лет после свадьбы». Чтоб они нас там оберегали. Потому что Стамбул меня вдруг пугает. Он представляется мне огромным, многоцветным, шумным базаром, куда можно легко войти, но откуда трудно выйти, и он наверняка кишмя кишит несчастными семейными парами, которые отправились в свадебное путешествие, но никак не могут найти дорогу обратно. Они бродят там голодные и измученные, смотрят на прилавки, ломящиеся от восточных лакомств, но у них уже нету денег, чтобы что-то купить, и они блуждают по этому огромному бесконечному лабиринту в течение многих дней и недель. Языка их никто не понимает, дорогу им показать никто не может: один показывает на восток, другой — на запад, третий — на север, четвертый — на юг; никаких дорожных указателей нет, и к тому же все вокруг выглядит совершенно одинаковым: перед глазами у них мелькают одинаковые прилавки, а над головой все время одно и то же небо, причем самого этого неба почти не видно, потому что в него, как кинжалы, вонзаются минареты многочисленных мечетей, превратившихся в церкви, или наоборот. И вот супруги, которые с таким волнением ждали этой поездки и так друг друга любили, плачут сейчас друг у друга на плече и друг друга ненавидят. Потому что каждый из них считает виноватым во всем другого. Жена думает: «Если б мой муж не был таким неудачником, он бы меня давно отсюда вывел». А муж думает: «Она наверняка знает, как отсюда выбраться, но нарочно мне этого не говорит, испытывает. Хочет, чтоб я доказал ей, на что способен». И им уже кажется, что они не вернутся домой никогда...

— А может, мы не поедem в Стамбул, а? Может, нам поехать в какое-нибудь другое место? — спраши-

ваю я Йони, глядя на него глазами, полными ужаса, но тут же думаю: «Так ведь везде одно и то же; повсюду одинаково страшно. Если кто-то боится путешествовать — пусть тогда дома сидит».

— Слушай, — говорю я с самой обворожительной улыбкой, на которую только способна, — а давай проведем медовый месяц дома? Не будем выходить из дома целую неделю. Как тогда, в самом начале, помнишь? Будем шляться по квартире, все время будем вместе...

— Это еще почему? — удивляется Йони. — В чем проблема-то?

На лице у него улыбка, но видно, что он разочарован.

— Я боюсь, что мы заблудимся на стамбульском базаре, — говорю я тоном капризной девочки, и мой детский страх пробуждает в нем отеческие чувства.

— Не волнуйся, я уже целый месяц этот город изучаю, — говорит он, обнимая меня, как обнимают несмышленных детей, достает из сумки цветной путеводитель и машет им у меня перед носом.

Но я не собираюсь сдаваться без боя.

— А откуда ты знаешь, что этому путеводителю можно доверять? Может, его написали специально, чтоб ввести людей в заблуждение? Ты хоть одного человека знаешь, который воспользовался этим путеводителем и вернулся обратно?

— Да люди туда все время ездят. Ездят — и возвращаются, ездят — и возвращаются. Никто еще там не остался, — говорит Йони, думая, что это мои обычные шуточки, и продолжая размахивать путеводителем так, словно отгоняет муху.

Его слова кажутся мне слишком общими, а информация недостаточно подробной, но я все же немного успокаиваюсь и решаю: если мне там будет плохо, уговорю его не вылезать из гостиницы; скажу, что у меня мигрень.

Он лезет на антресоли, сбрасывает оттуда большой, подаренный нам на свадьбу, чемодан, и тот па-

дает мне на ногу. Мне больно, но я ничего не говорю — не хочу портить ему праздник — и молча стираю с чемодана пыль, после чего начинаю рыться в шкафу.

— Слушай, а в Стамбуле холодно или тепло?

— Примерно как здесь. Может, чуть-чуть холодней.

В шкафу я нахожу валяющуюся там без употребления униформу для сексуальных игр: купленный мной когда-то эротичный пеньюар телесного цвета, несколько прозрачных трусиков, пояса для чулок — и укладываю все это в чемодан. Вдруг византийские ночи пробудят в нас желание? Вдруг они наконец-то снимут с нас волшебное заклятье, из-за которого мы с Йони никак не можем вырасти и повзрослеть? Но когда я вытаскиваю из шкафа несколько свитеров, то обнаруживаю, что за ними скрывается целый ворох эротической одежды, которую я годами скупала и складывала на полку до лучших времен: черные боди, колготки в сеточку, прозрачные черные чулки, откровенные бюстгальтеры. Я укладываю в чемодан и эти вещи тоже (как будто еду в Стамбул работать элитной проституткой), но тут бросаю взгляд на Йони, с серьезным и озабоченным видом складывающего в большую дорожную сумку клетчатые фланелевые рубашки ярких расцветок, и меня разбирает смех. Представляю себе, как он удивится, увидев в гостинице все эти наряды. Удивится, обрадуется, и я тоже обрадуюсь, видя, что смогла его порадовать. Мы будем жить в гостиничном номере, который мне ни о чем не напоминает, видеть людей, которых я не знаю и которые не знают меня, и, возможно, тогда мой дорогой Йони — который вместо того, чтобы бросить меня, предложил мне съездить в свадебное путешествие — забудет про этот стамбульский базар. Нет, ну правда, что мешает нам быть счастливыми? Я представляю, какими прелестными и молодыми мы выглядели бы сейчас, если б кто-то снял фильм



про то, как мы пакуем вещи, чтоб ехать в свадебное путешествие, и мне аж самой становится завидно. О, каким юным кажется Йони в сравнении с Арье! Ни одной седой пряди в волосах! И сейчас, можно сказать, мы стоим с ним на пороге новой жизни. Мы будем, как и все другие люди на планете (или, во всяком случае, большинство из них), вместе стариться; у нас будет ребенок, и еще один ребенок, и две карьеры, и две зарплаты, и мы — подобно всем прочим людям — преодолеем все трудности, и — подобно всем остальным — примиримся с тем, чего нам не хватает, а главное — главное состоит в том, что я всегда смогу на Йони положиться, всегда смогу на него опереться, не опасаясь его сломать, всегда буду чувствовать себя за каменной стеной...

Мне становится так хорошо, что я сажусь в чемодан — прямо на свои соблазнительные тряпки, — сладко потягиваюсь, как будто только что проснулась, и говорю:

— Иди ко мне. Я тебя хочу.

Вообще-то мне его совсем не хочется, но это не означает, что я вру. Потому что мне очень хочется хотеть, и я надеюсь, что если сумею уговорить его, то уговорю и себя.

Видя, что до него не доходит, я протягиваю к нему руки, но он удивленно надо мной склоняется и спрашивает:

— А может, сначала чего-нибудь перекусим? Я умираю с голоду.

Его пустой от голода живот кажется мне снизу большим и обвисшим, что вызывает у меня легкое отвращение, но я все же решаю попробовать еще раз: накрываю лицо каким-то чулком или трусами (они все друг на друга похожи) и томно говорю:

— Еда от тебя никуда не убежит, а я — убегу.

Йони смеется, думая, что я пошутила — не понял, что это была угроза, — и говорит:

— Просто магазин вот-вот закроется, а у нас даже хлеба нет. Я сгоняю, ладно? Можешь подождать меня в чемодане.

И не успеваю я открыть рот, как он исчезает.

Я моментально вылезаю из чемодана. С какой это стати я должна сидеть в нем и ждать? Я ему кто?! Гуттаперчевая ассистентка фокусника-неудачника?! Но мало того что я вылезаю, я еще и начинаю выкидывать оттуда вещи, которые с таким энтузиазмом укладывала. Потому что все это мне кажется вдруг совершенно бессмысленным.

В результате комната теперь завалена моими вещами. Вся наша простенькая подержанная мебель пестрит кружевным бельем.

Неожиданно за спиной у меня вырастает Йони. Я даже не слышала, как он вошел.

— Что? Магазин закрылся?— спрашиваю я, видя, что он вернулся с пустыми руками.

— Нет, я до него не дошел. Подумал, что тебя оби-дел и решил вернуться.

Вид у него при этом какой-то побитый, а голос — безрадостный и безжизненный. Интересно, он и до нашей встречи был таким или это я его таким сделала? Впрочем, этого мне знать не дано: ведь до нашей встречи мы знакомы не были. На нашем первом свидании он, правда, был грустным, но я решила, это из-за того, что у него мама умерла. Кроме того, тогда он был грустный, а сейчас побитый, а это хуже, чем грустный. Что же мы теперь будем делать? И что мы будем делать вообще? Опять уложим вещи в чемодан? Или, может, сами в него залезем и никогда из него не вылезем?

— Не страшно, — говорю я, пытаюсь придать своему голосу шутливый оттенок. — Может, действительно чего-нибудь поедем?

Удивленный и обрадованный тем, что я не сержусь, он снова убегает в магазин, но вскоре возвращается и вид у него еще более побитый, чем прежде.

— Закрылся, — сообщает он. — Только что.

И мне вдруг хочет его побить: больно отшлепать по попе, как мама Гершеле\*. Однако я решаю не обострять ситуацию.

— Ничего, — говорю я, — хлеб у нас, по-моему, есть. Посмотри в морозильнике.

— Правда? — говорит он с какой-то преувеличенной радостью. — Тогда я сделаю яичницу с помидорами.

Пока он делает яичницу, я укладываю вещи обратно в чемодан и закрываю его на молнию. Потому что в раскрытом виде он похож на темное отверстие влагалища, а кому нужно влагалище прямо посреди комнаты?

Мы садимся есть, и я — как профессиональный интервьюер, обязанный притворяться, что ему все интересно, — начинаю его расспрашивать: почему он выбрал именно Стамбул, сколько времени готовил этот сюрприз и все в таком же духе — а он мне охотно и подробно отвечает. И пока он, с набитым ртом, обстоятельно рассказывает о своих сомнениях: как думал, что выбрать — Стамбул или Прагу, как в конце концов понял, что надо ехать в Стамбул, потому что решил, что мне понравятся тамошние базары и одежда из кожи, хотя поначалу склонялся к Праге, — я пытаюсь себя приободрить: «Да, Яара, такова твоя жизнь. Но ведь могло быть и гораздо хуже, правда?» — но, несмотря на это, чувствую, что погружаюсь в бездну, и чем больше он говорит, тем сильнее я злюсь. Потому что я-то как раз предпочла бы Прагу, и он мог бы меня спросить. Я всегда завидовала женщинам, которым мужья преподносят подобные сюрпризы, но сейчас мне кажется, что с его стороны это на удивление эгоистично и бестактно, потому что лично я предпочитаю съездить в красивую, благородную Прагу, и не сейчас, а в более подходящее время, не тогда, когда мне нужно утешать скорбящих.

---

\* Дурачок Гершеле — герой израильских анекдотов.

Чувствуя, что меня снова тошнит, я бросаюсь в ванну, умываюсь холодной водой и, глядя в маленькое зеркало, думаю: сколько раз можно начинать жить заново? Сколько мне еще пытаться?!

Когда я возвращаюсь, Йони смотрит на меня с испугом: увидев мое мокрое лицо, он решил, что я плакала.

— Кротенок, я тебя чем-то обидел? Прости меня, пожалуйста. Я очень стараюсь, но все почему-то выходит наперекосяк.

«А ты меньше старайся и больше думай», — вертится у меня на языке, но я и сама не знаю, хороший это совет или нет. Скорее всего, нет. Что из того, что он будет больше думать? Да ничего. На самом деле ему нужно не больше думать, а стать другим. А может, и этого недостаточно. Потому что это я в действительности должна стать другой. Но как это сделать? Может, у меня хоть в Стамбуле получится? Вдруг, когда я выберусь наконец-то со стамбульского базара, я стану другой? И он станет другим... И жизнь станет другой...

Наша поездка начинает казаться мне вдруг чем-то вроде опасного задания — не развлечением, а наказанием, которое нас закалит и сплотит. Я чувствую себя, как перед призывом в армию: мне страшно, но в то же время я испытываю гордость. И вот, с высоко поднятой головой, я начинаю быстро, по-армейски, убирать со стола: левой-правой, левой-правой...

Йони смотрит на меня настороженно и, как всегда, внимательно следит за каждым моим движением, а потом говорит:

— Пойду-ка я приму душ.

Голос у него при этом такой торжественный, словно он намекает, что я могу, как и раньше, посидеть вместе с ним в ванной и что он делает это специально для меня. Да-да, я помню. В те времена, когда у нас еще была надежда, я любила, когда он купался, сидеть на унитазах, и мы болтали о всяких пустяках.

Это было в дни нашей любви. Если он умрет, именно по этому я скучать и буду. Только по этому. Не по нему самому, а по тому, как я сидела на крышке унитаза и как нас сближали эти разговоры ни о чем. Я пытаюсь вспомнить, какой у него тогда был голос. Каким он казался сквозь шум воды? Безрадостным? Безжизненным? По-моему, нет. По-моему, тогда его голос был приятным и бодрым, полным надежды. Но сколько же можно надеяться...

Ванная заполняется ароматным паром, и я вдруг с улыбкой думаю о том, что в последнее время провожу львиную долю своего времени, наблюдая за моющимися мужчинами. Стала, так сказать, девушкой по сопровождению мужиков, принимающих душ. Да, вот что из меня получилось...

Йони отодвигает занавеску, и я вижу, что его распрямившиеся от воды волосы стали длинными.

— По-моему, звонят, — говорит он, улыбнувшись. — Возьми трубку.

— Не важно, пусть звонят.

Но он настаивает:

— Это, наверное, папа. Хочет попрощаться.

\* \* \*

По контрасту с ванной воздух в квартире кажется сухим и холодным. Телефон не умолкает. Брать трубку у меня нет никакого желания, но в конце концов я ее снимаю и слышу

прокуренный

хриплый

любимый

ненавистный

обожженный

обжигающий

возбуждающий

голос,

и этот голос говорит:



— Яара.

Но я молчу. Нарочно молчу. Мне хочется еще раз услышать, как он назовет меня по имени. Я немного удивлена, но и горда: мне лестно, что он его еще помнит.

— Яара.

— Да, Арье.

— Я думал, ты сегодня придешь.

Я чувствую, как кровь застывает у меня в жилах.

В буквальном смысле слова останавливается и перестает течь.

От счастья и от горя одновременно.

— Ты один? — спрашиваю я, хоть и слышу, что на фоне звучат голоса.

— В каком-то смысле, да.

— А когда все расходятся?

— Скоро, ближе к ночи, — говорит он и, помолчав, спрашивает: — Придешь ко мне сегодня ночью?

— Ты действительно хочешь, чтоб я пришла? — спрашиваю я, медленно растягивая слова и чувствуя, что от них больно во рту.

— Да.

— Хорошо, я постараюсь, — говорю я и вешаю трубку.

«Да как он смеет?! — думаю я, стоя у телефона и дрожа мелкой дрожью. — Как смеет портить мне медовый месяц из-за своей шивы? Но с другой стороны, а в чем он, собственно, виноват? Он же всего-навсего меня хочет, а я ведь именно этого и ждала. С самой первой минуты, с того момента, как увидела его в дверях родительской квартиры».

И тут я вспоминаю, что сказала мама — или, может, это была Тирца? — что не пройдет и недели, как он приведет к себе другую женщину. А может, он позвал меня случайно? Или потому, что другие не захотели? Но если я сегодня к нему пойду, что будет с Йони и нашим медовым месяцем? А если не пойду? Что будет со мной?

Измученная, на взводе, я снова отправляюсь в ванную, сажусь на унитаз, прячусь от Йони за облаком густого пара и как во сне, откуда-то издалека, словно со дна глубокого колодца, слышу его голос:

— Кто звонил?

— Никто, не имеет значения, — отвечаю я, не в силах что-то сочинять.

«Ну вот и все, — думаю я, — настал мой судный день. Великий и ужасный день, когда все решится».

— Что-то случилось? — спрашивает Йони.

Голос у него влажный и прозрачный.

— Нет-нет, ничего не случилось, — говорю я и думаю о том, какая у меня поганая жизнь. «Поганая» — это еще мягко сказано. В кои-то веки получить два подарка сразу — и что? Одним из них я должна пожертвовать. А что, если я хочу одновременно и быть с Арье, пока у него траур, и поехать в Стамбул? Почему я обязательно должна выбирать?

Я не ожидала, что этот момент наступит так быстро — я вообще не верила, что он наступит, — а он взял да и наступил, и застал меня врасплох. И вот теперь я не знаю, какое решение принять. Конечно, я могу решить не ходить, но если я упущу сейчас этот момент — когда Арье, впервые за все это время, сам меня захотел, — то, возможно, больше не увижу его никогда, и никогда больше не услышу его мягкий, вкрадчивый голос, говорящий: «Придешь ко мне сегодня ночью?»

Я начинаю вспоминать все, что произошло с тех пор, как я впервые увидела его в доме своих родителей: как искала его на улицах и в магазинах; как сильно его хотела; как хотела, чтоб он хотел меня... И вот он меня захотел. Так какая разница, что и почему? Главное, что он меня хочет! И хочет прямо сейчас!

— Полотенце, — просит Йони.

Я выхожу из ванной, подхожу к шкафу, пытаюсь вспомнить, за чем пришла — и не могу. Тогда я на-

чинаю осматривать полки — одну за другой — как будто прощаюсь с ними навсегда. Может, хоть это поможет мне вспомнить, что я ищу? Но вместо этого я вдруг вспоминаю, как мы этот шкаф собирали. Мы решили сделать это самостоятельно, и он получился кривым. «Давай его разберем и соберем заново?» — время от времени предлагал Йони, а я в ответ только смеялась: «Тебе что, больше делать нечего?» — «Тебя тоже надо разобрать и собрать заново, — сказал он однажды. — Ты тоже кривая».

— Куда ты пропала? — слышу я раздраженный голос Йони. — Я же просил полотенце.

Я оборачиваюсь. Он стоит голый, и с него капает вода.

— Прости, — мямлю я, — никак не могу найти полку с полотенцами.

— Она у тебя перед носом. Совсем, что ли, уже? — грубо отталкивает он меня и хватает полотенце.

Но он, по-видимому, тоже забыл, зачем пришел, потому что вместо того, чтоб вытираться, застывает на месте. А я смотрю на него — голого, мокрого, с полотенцем в руке — и разглядываю его тело. Оно вдруг представляется мне чем-то вроде шкафа, и на каждой его полке лежит что-то свое. Я начинаю осматривать эти полки одна за другой и первым делом смотрю вниз, на его большие плоские ступни. Потом поднимаю глаза повыше и вижу его на удивление тонкие щиколотки. Только сейчас я замечаю, какие они у него хрупкие. Как-то это грустно. Затем идут белые, покрытые черными волосками ноги; чем выше, тем ноги становятся толще. Я разглядываю его шероховатые розовые коленки, мягкие бедра, широкий таз, черную растительность в паху, болтающуюся между ног мошонку, розоватый, слегка изогнутый член, маленькое отвисшее пузико, высокую талию, белую грудь, немного покатые плечи, растущие из них ширококостные загорелые руки (они словно приделаны к его белому телу искусственно и похожи на протезы,

изготовленные так хорошо, что превосходят по качеству настоящие руки; я всегда любила представлять, как они будут держать нашего ребенка), и лишь когда я дохожу до его склоненной головы, только тогда он начинает вытираться. Он делает это так медленно, словно хочет дать мне время попрощаться с его наготой (как будто его самого я еще увижу, а ее — нет), потом достает из шкафа белые трусы и белую трикотажную майку, проворно одевается и ложится в постель, а я стою в оставшейся после него лужице и не знаю, что сказать. Потому что всё как-то внезапно рассыпалось на осколки и я понятия не имею, как их склеить.

— Тебе еще долго паковаться? Нам нужно быть в аэропорту в семь утра, — говорит Йони, доставая из тумбочки будильник, и я начинаю швырять в чемодан все подряд. Достаяю из шкафа — и бросаю. Даже не смотрю, что это. Потом укладываю кремы, косметику, лежащую на тумбочке возле кровати книгу, туфли, босоножки...

— К лету мы уже вернемся, — смеется Йони. — Лучше сапоги возьми.

Я послушно укладываю в чемодан сапоги, но босоножки не вытаскиваю, и тут снова звонит телефон. Опять Арье? Наверно, передумал. А правда, хорошо бы, если б это был он. Потому что если он действительно передумал, пусть скажет мне об этом прямо сейчас, пока еще можно что-то спасти.

Но это не он; это мама.

— Ну? — слышу я в трубке ее радостный голос. — Как тебе наш сюрприз?

— Спасибо тебе, мамочка, честное слово, спасибо. Но это сущие пустяки в сравнении с тем, какой сюрприз собираюсь преподнести вам я.

Мама поначалу смеется, но потом спрашивает:

— Что ты имеешь в виду?

В ее голосе я слышу подозрение.

— Ничего. Я в том смысле, что надеюсь когда-нибудь вас за это отблагодарить.

— Пустяки. Мы всегда рады вам помочь. Папа вас целует и желает приятной поездки.

Я возвращаюсь в спальню на цыпочках. Я очень надеюсь, что Йони уже спит, но он лежит на боку и при слабом свете ночника читает путеводитель. Свет создает вокруг его головы ореол, и его мокрые волосы блестят.

— Прости, если я тебя обидел, — говорит он, глядя на меня сладкими, как мед, глазами. — Это было очень глупо с моей стороны.

— Ничего, Йони, я уже забыла.

Я ложусь в кровать спиной к нему и вдруг чувствую на спине его руку. Она меня то ли гладит, то ли массирует. Видимо, проверяет, откликнусь ли я. Однако меня это злит еще больше. Это ведь моя спина, а не его. С какой стати он ее трогает?

— Спина — это моя частная собственность, — говорю я капризным голосом маленькой девочки.

— Что ты сказал? — спрашивает он, прижимаясь ко мне.

В такие минуты мы обычно переходим на мужской род.

— Крысенок, я устал.

— Ну, спи тогда, кротенок. Завтра ты отправишься к реке.

Это я приучила его ко всем этим глупостям из сказки «Ветер в ивах». В армии мы так разговаривали с подружками, и я его быстро этим заразила\*.

— Крысенок, что с нами будет? — спрашиваю я. — Я боится.

---

\* «Ветер в ивах» — сказка Кеннета Грэма. Среди ее персонажей — Крот и дядюшка Рэт (водяная крыса). Слова Йони «Завтра ты отправишься к реке» отсылают к эпизоду, где Крот впервые видит реку: «Крот подумал, что он полностью счастлив, как вдруг... оказался на самом берегу... реки. Он прежде никогда ее не видел... Он пошел вдоль реки... И наконец, утомившись, присел на берегу. А река все продолжала рассказывать свои прекрасные переливчатые сказки...» (Пер. с англ. И. Токмаковой.)



— Все будет хорошо, кротеныш, не бойсь. С завтрашнего дня все будет хорошо.

Тем не менее его пальцы продолжают упрямо бегать по моей спине. Это настолько не соответствует нашему инфантильному сюсюканью, как если бы порнушку озвучили текстом из «Пиноккио», и я каменею от отвращения, но он не перестает: кладет мне одну руку на грудь, вторую — между ног и пытается, с нехарактерной для него настойчивостью, засунуть пальцы внутрь. Это внезапное вторжение не вызывает у меня ничего, кроме досады, но он, по-видимому, думает, что мое предложение все еще в силе. Это не так, абсолютно не так, и мне хочется грубо его оттолкнуть, но я вдруг думаю: «А какая, в сущности, разница? Это ведь в последний раз», — ложусь на спину, раздвигаю ноги и вставляю его член в себя. Презерватива на Йони нет, но на ощупь его член как резиновый (когда я с ним, мне вообще всегда кажется, что на нем презерватив), и, крепко вцепившись ему в зад, я твержу про себя, как мантру — а может, и как угрозу — «Это в последний раз, это в последний раз...».

— Тебе хорошо? Хочешь еще? — спрашивает Йони, но, видя, что я не отвечаю, переходит на наш язык:

— Кротеныш, ответить.

Однако сейчас, когда мы трахаемся, это звучит настолько неуместно, что на глаза у меня наворачиваются слезы.

— Да! Да! — ору я и от злости щипаю его за широкий зад, а он вдруг делает глубокий вдох, начинает печально, как шакал, подвывать и — кончает.

Кончив, он кладет голову мне на грудь и благодарно прижимается ко мне своим мягким телом, а я — в соответствии с нашим стандартным протоколом — глажу его по голове и жду, пока он заснет, но сегодня ему хочется поговорить, и он шепчет:

— Я люблю ощущать тебя так близко.

— Я тоже, — говорю я, чтоб что-нибудь сказать.

— Я так волнуюсь, что не могу заснуть, — шепчет он. — У меня такое ощущение, что завтра наша настоящая свадьба.

— У меня тоже.

— А скажи, — спрашивает он, помолчав, — за то время, пока мы вместе, у тебя еще с кем-нибудь так было?

Я чувствую, как к горлу подступают слезы, и думаю: «Ну вот мой час и пробил. Сейчас я ему все расскажу — и начну жизнь заново. Почему я должна его все время щадить? И почему должна все время бояться?» Однако у меня не хватает храбрости, и вместо этого я шепчу:

— Нет. А с чего ты вдруг спрашиваешь?

— Ну... Просто у меня такое ощущение, что ты от меня что-то скрываешь. В этом нет ничего страшного, — говорит он, погладив меня по голове. — Я не считаю тебя своей собственностью, честное слово. Просто хочу знать.

— Да нечего тут знать, крысенок. Давай мы лучше с тобой поспим.

— Спокойной ночи, кротенок, — говорит он, поворачиваясь на другой бок, и тушит свет.

Зная, что никогда больше не услышу ни этого голоса, ни этих слов, я лежу в темноте и пытаюсь себя уговорить. «Еще не поздно, — внушаю я себе, — ты можешь остаться. Ты не обязана вылезать из этой теплой постели. Ты можешь завтра поехать с Йони в аэропорт, родить ему ребенка с овечьей мордашкой...» — и с этой мыслью начинаю составлять в уме таблицу аргументов «за» и «против»: в одну колонку пишу прибыль, в другую — убытки, — но в конце концов от всей этой бухгалтерии у меня разбаливается голова, и я решаю, что если смогу заснуть — останусь, а не смогу — уйду.

Чтобы заснуть, я начинаю думать обо всяких приятных вещах, но тут что-то с силой бьет меня изнутри. Как будто в животе у меня брыкается необъезженный

конь. Мне больно, и с каждой минутой становится всё больней, потому что лягается уже не один необъезженный конь, а целый табун (который ко всему прочему еще и непрерывно увеличивается), и я вдруг понимаю, что это не обычные кони, а кони, обитающие в небесных чертогах: кони тьмы, кони смерти, кони кровавые, кони железные и кони тумана. Когда они подходят к огненной кормушке и начинают есть\*, я не выдерживаю, осторожно слезаю с кровати, иду в ванную, умываюсь холодной водой, возвращаюсь в спальню, проверяю, спит ли Йони, вижу, что дыхание у него тихое и ровное, стою какое-то время возле кровати и смотрю на него, как смотрят на больных детей: с жалостью и ужасом — а потом тихонько выношу чемодан из спальни в гостиную, надеваю, не зажигая света, первые попавшиеся вещи из чемодана и направляюсь к выходу, но у двери останавливаюсь, беру листок бумаги, ручку и пишу: «Как бы мне хотелось поехать с тобой в свадебное путешествие...»

---

\* Упоминаемые здесь кони описываются в «Книге [небесных] чертогов», где говорится, что они обитают на «седьмом небе», едят угли из огненных кормушек и пьют из огненных рек. «Книга чертогов» — мистическое еврейское сочинение, написанное в первые века нашей эры.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ночь не такая, какой она представлялась мне, когда я лежала в постели: она менее темная, менее страшная, и уже ощущается конец зимы. Потная, несмотря на холод, я тащу по ненавистной мне улице распухший от лифчиков, поясов, колготок и трусов чемодан и думаю о том, где окажусь весной и где буду летом. Возле меня останавливаются несколько такси, но я продолжаю идти: мне не хочется сейчас ни с кем разговаривать. Хочется просто брести. И я бреду. Бреду мимо магазинов, светофоров, дорожных указателей — и чувствую себя военачальником. В честь его победы устроили парад, стоящие строем солдаты отдают ему честь, а он идет мимо них и благосклонно кивает им головой. Тем не менее я все время оглядываюсь. Потому что мне кажется, что за мной идет Йони. Он идет и шепчет: «Вернись ко мне, кротеныш! Вернись!» Только почему он шепчет, причем все тише и тише? Почему не кричит, если хочет, чтоб я его услышала? Шепчет, как люди, которых засыпало во время обвала и которым суждено умереть еще до того, как их откопают. Я явственно слышу, как он шепчет мне что-то из-под земли, останавливаюсь, нагибаюсь, чтобы расслышать, что он говорит, и резко сажусь на узкий тротуар. Потому что невыразимая тоска вдруг с силой бьет меня кулаком под дых. Еще

не поздно, я могу вернуться, думаю я. Ведь Йони наверняка сейчас спит. Вернусь, быстренько разденусь, лягу в постель, и все будет выглядеть так, словно я никогда из нее не вылезала. А Арье... Он уж, наверно, и не помнит, что меня пригласил. Я оглядываюсь вокруг в поисках какого-нибудь знака, вспоминаю, что перед разрушением Храма над Иерусалимом целый год висела не исчезающая ни зимой, ни летом звезда в форме меча — ее сияние можно было видеть даже при свете дня, — и вдруг, словно гонимая какой-то силой, вскакиваю на ноги. Нет! Я не могу отказаться от выпавшего мне шанса!

\* \* \*

Тяжело дыша, я стою перед дверью Арье и прислушиваюсь. Из квартиры напротив слышен громкий и требовательный плач ребенка, которого я собиралась нянчить, но из квартиры семейства Эвен не доносится ни звука. Я тихонько — чуть не ласково — стучу в эту до боли знакомую дверь, она открывается, и я вижу не менее знакомое мне лицо. Глаза у Арье — хмурые и серьезные. Он впускает меня, быстро запирает дверь на замок и ведет в спальню.

Спальня изменилась до неузнаваемости. Медицинские приборы исчезли, кровати сдвинуты вместе и накрыты цветастым покрывалом, на котором лежат большие мягкие подушки, а с обеих сторон стоят деревянные тумбочки с круглыми ночниками. Причем на одной тумбочке — наполненная окурками пепельница и полная до краев рюмка, а на второй — ничего, как будто она только и ждет, что я расставлю на ней свои кремы. И когда он только все это успел? Еще вчера спальня выглядела, как больничная палата, а сейчас — начищена до блеска и похожа на типовой гостиничный стамбульский номер. Потому что я представляю его себе именно таким. И меня вдруг берет зло. Как это может быть, чтоб он ликвидировал все следы присутствия Жозефины так быстро?



И сколько, интересно, времени займет у него устранить следы, оставшиеся от меня? Если женщину, с которой он прожил почти тридцать лет, он стер из памяти всего за один день, то с какой скоростью он сотрет меня, если мы проживем с ним, скажем, год?

— Слушай, а когда ты все это успел?

— Ну, это было не так уж трудно. Я всего лишь вернул спальню в ее предыдущее состояние.

Но мне здесь как-то неуютно. Предыдущая декорация нравилась мне больше.

Я ставлю чемодан на пол и сажусь на него, как в аэропорту.

— Интересно, что ты в нем принесла, — насмешливо говорит Арье, глядя на чемодан.

— Подарки, — отвечаю я с кривой улыбкой, потому что мне становится вдруг ужасно стыдно, что я приперлась к нему с чемоданом. Он пригласил меня всего на одну ночь, а я, как какая-то Мэри Поппинс, притащила огромный чемодан.

— Ну что ж, давай на них посмотрим, — говорит Арье, делая мне знак подняться с чемодана, открывает его и начинает вынимать мои вещи. — А что, недурно, — говорит он, внимательно их осматривая, и смеется.

А я гляжу на черное белье, которое он достал, и от унижения мне хочется плакать. Хоть бы он закашлялся, что ли, думаю я, садясь на кровать и пряча голову в колени. Может, хоть тогда перестанет смеяться?

— Не обижайся, — говорит он, присаживаясь возле меня и обнимая за плечи, — я смеюсь не над тобой. Я просто радуюсь, что ты пришла с чемоданом. Клянусь тебе, что мы не выйдем отсюда, пока не используем все эти вещи по назначению. И вообще, хорошо, что ты меня насмешила, — говорит он, поднимая мне голову и глядя в глаза. — Потому что утешать скорбящих — дело богоугодное.

— Что-то ты не очень похож на скорбящего.

— Ненавижу, когда мне указывают, что я должен чувствовать! — говорит вдруг Арье, резко от меня отстраняясь. — Я скорблю когда хочу и как хочу. В семнадцать лет я именно по этой причине бросил учебу в иешиве и больше никогда этого не потерплю, ясно тебе? Никто и никогда не будет мне указывать, когда мне радоваться, а когда скорбеть. Мне жаль, что Жозефина заплатила за любовь так дорого, и жаль, что тебе тоже за это приходится платить. Когда-то говорили, что любовь — дело бесплатное, но большей глупости я не слышал. Это любовь-то — дело бесплатное? Именно за нее как раз люди самую дорогую цену и платят. Тем не менее я рад, что Жозефина отмучилась, и рад видеть все эти твои пояса, — подытоживает он, несколько шокировав меня тем, что поставил Жозефину и пояса в один ряд.

Закончив свой спич — который в целом прозвучал достаточно убедительно, но показался мне несколько затасканным, как если бы он произносил эту речь уже не раз, — Арье встает, снимает свои элегантные похоронные брюки, остается в одних трусах, ложится — на своей половине — на кровать и снова начинает смеяться.

— Похоже, ты разочарована, — говорит он с неприятным смешком. — Пришла потрахаться, а вместо этого вынуждена была прослушать лекцию.

— Ничего подобного, — говорю я, ложась рядом с ним и прижимаясь к нему всем телом. — Мне нравится тебя слушать.

И мне действительно это нравится. Мне приятно, что он говорит со мной так тепло и успокаивающе. Не с кем-нибудь, а именно со мной. Я знала, что он способен быть таким, всегда это знала. А значит, все это того стоило! Да-да, это того стоило! Моя интуиция меня не подвела! И именно это я в нем и люблю: не когда он отчужденно молчит, а когда говорит. И каждое его слово мне кажется весомым, каждое — возбуждает. Буквально каждое его слово. И то, как его язык движется во рту, возбуждает, и то, как смыка-

ются и размыкаются темные губы и как они сжимают сигарету...

— Хочешь? — говорит Арье, протягивая ее мне. — Кстати, это не простая сигарета. Я в нее кой-какое лекарство добавил. Чтоб легче было траур переносить.

— На меня это лекарство не действует, — говорю я, потому что раньше оно на меня и в самом деле не действовало: сколько раз ни пробовала — всегда разочаровывалась. Однако сейчас...

...то ли «лекарство» другое, то ли я другая, но я вдруг чувствую себя сильной — настолько сильной, что способна вылизать его душистое смуглое тело снизу доверху и именно это делать и начинаю; мне кажется, что арье — это древняя, разбившаяся на осколки статуя, которую я откопала на археологических раскопках; я все ее осколки собрала и хочу склеить их своей слюной; мне страшно интересно, что из этого выйдет, но в процессе склеивания глаза открывать нельзя, лишь в конце; только тогда я увижу, что у меня получилось; арье лежит молча, курит и время от времени посмеивается, но мне это совсем не мешает, даже радует; я радуюсь, что у него есть причины смеяться, и продолжаю склеивать; сначала склеиваю тонкие длинные ноги, потом — красивый, вздыбившийся между ними, как во время утренней эрекции, член, и продолжаю медленно продвигаться вверх; слюна у меня почти кончилась, но я не останавливаюсь, потому что хочу, чтоб у моей статуи были голова и плечи, и, когда я, наконец, заканчиваю, то с гордостью ее осматриваю; она получилась у меня очень красивой; каждая ее часть — на своем месте; я буквально воссоздала ее заново; если так чувствовал себя бог, когда сотворил человека, значит, мы с ним испытали одно и то же; эта мысль приводит меня в восторг, и я чувствую, что внизу у меня становится горячо; «смотри, как там горячо. как в печке», — говорю я, положив туда руку арье; «да, надо срочно сбить тебе температуру, это опасно», — говорит он, изобращая озабоченность, раздевает меня, вынимает

из своей рюмки кубик льда, несколько секунд держит его во рту, а потом кладет мне между ног и медленно заталкивает внутрь; я чувствую, как лед во мне тает, и дрожу от наслаждения; вот я тебя и растопила, любимый мой, думаю я, вот я тебя и растопила, а арье вынимает из моего чемодана сетчатое боди и начинает его на меня надевать; он надевает его на мое обнаженное тело так, словно я грудной ребенок, не умеющий одеваться сам, а закончив, поднимает мне волосы наверх, связывает их вместо резинки черным шелковым чулком и начинает целовать; он целует меня в обнажившуюся от волос шею и в соски, напрягшиеся так сильно, что, кажется, вот-вот прорвут тонкую сетку боди, а я вдруг слышу тихий смех; нет, это не смех; это лисий лай; или, может, это мне только кажется; может, это смеюсь я сама, видя, как по развалинам храма, по самой его «святая святых»\*, рыскают лисы; сетка давит мне на грудь, как тюремная решетка, а кровать раскачивается из стороны в сторону так сильно, словно я плыву на судне, качаемемся на морских волнах; это судно, на котором перевозят заключенных; как странно быть арестанткой в открытом море; ведь море — это символ свободы; но везут меня не в тюрьму; меня везут в стамбул: хотят продать там в гарем султана; я знаю, я никогда уже оттуда не выйду, и султан всю жизнь будет делать со мной все, что захочет...

...Но тут я вижу Арье. Он сидит в дальнем углу кровати и прикуривает сигарету.

— Хочешь еще немножко лекарства от траура? — спрашивает он хрипло.

— Да.

— Значит, ты тоже в трауре... — то ли констатирует, то ли спрашивает он.

Взгляд у него ласковый, но голос такой деловитый, как будто он интересуется, нет ли у меня сдачи.

---

\* «Святая святых» — помещение Иерусалимского Храма, в котором хранился Ковчег завета.

— Да, тоже, — отвечаю я, подползая к нему и кладя голову на колени.

Не задавая дальнейших вопросов, он протягивает мне самокрутку, на конце которой горит красный огонек, говорит: «Я положил в нее довольно много лекарства», — а затем виновато смотрит на меня, гладит по голове и, сказав: «Не уверен, что эта кровать может вынести так много траура», — резко встает.

— Ты куда? — пугаюсь я.

— Отлить, — шепчет он.

— А почему мы шепчем? — спрашиваю я, потому что вдруг замечаю, что мы оба говорим шепотом, словно боимся кого-то разбудить.

— Мы не шепчем. Во всяком случае, ты-то уж точно не шепчешь. Ты так орала, что соседи, наверно, сильно удивились.

— Это было ужасно, да? — пристыженно спрашиваю я, слушая, как его пузырящаяся моча долго и монотонно льется в унитаз.

— Не волнуйся, — отвечает он из ванной. — Они наверняка думают, что это кричу я, от горя. Кричу — и рву волосы на голове.

Вернувшись, он ложится рядом со мной, с силой притягивает к себе, усаживает сверху, а затем начинает приподнимать и опускать. Как будто я не человек, а тряпичная кукла...

*...он поднимает меня и опускает, расширяет и сужает, выпрямляет и искривляет, удерживает и швыряет, и я чувствую, что мне больно — больно, как тогда, в первый раз, среди пивных банок и кусков угля, — но сейчас мне все равно и, более того, мне это нравится; нравится чувствовать себя безвольной куклой; нравится, что ситуацию полностью контролирует арье; нравится, что не нужно ничего решать самой; даже не нужно думать, подвинуть зад влево или вправо, вверх или вниз; «можешь кричать, крошка. пусть все слышат, как ты скорбишь», — говорит арье, и я кричу; потому что так велел мне он, а я хочу выполнять все его приказы; и даже не хочу, а знаю: что бы*



он ни сказал, я сделаю; мне даже не мешает, что он называет меня «крошкой»; и этот мой траурный крик, этот полный отказ от собственной индивидуальности приводят к тому, что меня вдруг накрывает с головой такая сладкая волна, словно я лежу в кровати, полной меда; движения арье у меня внутри становятся какими-то нежными и укачивающими — как будто между ног у меня примостился ребенок, а арье укладывает его спать, — и я засыпаю; засыпаю, как женщины, которым я всегда завидовала; женщины, умеющие спать возле мужчин, которые не обещали им любить их вечно; женщины, способные, несмотря на это, спать крепко; я засыпаю и думаю, что узнала сегодня нечто такое, что обязана записать; да-да, я просто обязана это записать, чтоб не забыть; но у меня уже нету сил открыть глаза...

\* \* \*

Когда я просыпаюсь, то уже ничего не помню. Я лежу в какой-то большой комнате; никого, кроме меня, в ней нет; и у меня раскалывается голова.

Я испуганно смотрю на часы. Девять. Прямо сейчас в аэропорту взлетает наш самолет... Самолет, который возит счастливых супругов в Стамбул... Господи, что я наделала... Что я наделала... Что я наделала...

Я лихорадочно набираю наш домашний номер. Просто чтоб услышать голос Йони. Удостоверюсь, что с ним все в порядке, и повешу трубку. Но трубку никто не берет. Наверно, он поехал в наше свадебное путешествие один.

Мысль о том, что мы проводим наш медовый месяц порознь, заставляет меня в первый момент улыбнуться, но тут я вспоминаю, что это не шутка, что это по-настоящему, и мне становится не смешно. Но делать уже нечего. Не звонить же пилоту самолета, не просить же его сделать посадку возле кровати Арье и

подобрать меня. Нет, сделать уже ничего нельзя, ничего вообще.

Я встаю с постели. Мое боди порвано, все тело в синяках от рук Арье, а мышцы болят, как после тяжелой тренировки.

Прихрамывая, я плетусь в ванную, моюсь под такой горячей — чуть не кипящей — водой, что мне трудно дышать, а затем мажу тело кремом и надеваю пеньюар телесного цвета. Все, больше ничего я сделать не могу.

Жалюзи на окне опущены, но я не решаюсь их поднять: боюсь, что кто-нибудь меня через окно увидит, — а за дверью слышны приглушенные голоса. В основном эти голоса женские, но среди них я слышу и хриплый, сдержанный голос Арье. Я подхожу к двери, чтобы узнать, о чем они говорят, тяну ее на себя, чтоб немного приоткрыть, и обнаруживаю, что она заперта. От возмущения и обиды меня начинает колотить. «Да что он о себе возомнил?! Он что, турецкий султан, что ли? — думаю я, прислонившись к двери. — Запер меня в своей спальне, как свою собственность! А что творится в других комнатах его квартиры? Может, у него в каждой комнате по бабе? Может, он празднует свое новоиспеченное вдовство с каждой из них по очереди? В гостиной у него обливаются слезами люди, пришедшие выразить соболезнования, а в других комнатах квартиры в это время обливаются потом разгоряченные похотью тела? И вот теперь я, которая боится запираť дверь даже в туалете, у него в плену! Заперта в его спальне на замок! Полностью завишу от его милости! А что, если он про меня забудет?! Я что, так и буду здесь сидеть до следующей ночи? Сидеть и умирать от голода и жажды? А ведь я даже кричать не могу! Потому что тогда все узнают, что я здесь. Узнают, что я осквернила ложе покойной. Узнают, что я оскорбила ее светлую память...»

От отчаянья я снова иду в ванную, жадно пью воду из-под крана, умываюсь, чтобы успокоиться, возвращаюсь в кровать и пытаюсь посмотреть на ситуацию

с другой стороны. Нет, у Арье просто не было другого выхода. Попросить меня запереться изнутри он не мог. Ведь для этого ему пришлось бы меня разбудить, а он наверняка хотел дать мне выспаться. Оставить дверь незапертой он тоже не мог. Ведь мама или сестра его жены могут в любой момент сюда зайти. Например, чтобы бросить на кровать пальто или прилечь отдохнуть. Наверное, он просто ждет подходящего момента, чтоб улизнуть и принести мне что-нибудь поесть. И попить. Как тогда, в детстве, когда к нам в гости приходил дядя Алекс со своей новой женой, а я украдкой носила Тирце остатки еды со стола.

Я прислушиваюсь, чтобы понять, что происходит за дверью, и слышу, что шум усиливается, а входная дверь то и дело хлопает. Нет, думаю я уныло, в ближайшее время он ко мне явно не придет. Ни малейшего шанса...

За дверью слышатся шаги, и я вздрагиваю. Кто-то несколько раз дергает за ручку и разочарованно удаляется, а я, сгорая от стыда, заливаюсь краской. Господи, думаю я с ужасом, ведь меня могли сейчас застукать! Какое счастье, что дверь заперта! Наверно, кому-то из гостей понадобилось в туалет, а гостевой туалет занят, вот они сюда и приперлись...

Нет, все-таки было бы лучше, если бы ключ сейчас был не у Арье, а у меня. Потому что тогда я могла бы отсюда выйти и смешаться с гостями. Сделала бы вид, что тоже пришла выразить соболезнования. Я ведь в конце концов была последней, кто разговаривал с Жозефиной. Даже если об этом никто не знает и даже если это не должно было произойти. Тем не менее это все-таки произошло, и я могла бы сейчас помочь Арье принимать гостей. Подавала бы на стол, готовила кофе... А первым делом сделала бы кофе самой себе! Потому что не знаю, что бы я сейчас отдала за чашку кофе.

«Как же мне отсюда сбежать? — думаю я, как какая-нибудь сидящая в тюрьме ээчка. — Этаж у него тут второй. Я могу вылезти в окно и вернуться через

дверь. Мол, пришла, как и все, с официальным визитом, выразить соболезнования».

Я приподнимаю жалюзи, чтобы посмотреть, нет ли на окне решетки, и вижу, что она там, к несчастью, есть. Причем такая густая, что не пролезешь. Да еще и — словно в насмешку — с железными такими сердечками. «Ну что, красавица, допрыгалась? — думаю я, горестно таращась на решетку. — Вместо того чтоб находиться сейчас в Стамбуле, завтракать в «Хилтоне», смотреть в окно на Босфорский пролив и на соединяющий Европу с Азией мост, ты вынуждена разглядывать решетку с сердечками».

От голода у меня сосет под ложечкой. Я вспоминаю вдруг, как ночью Арье назвал меня крошкой, и мне становится противно. Да за кого он меня принимает? Но тут же понимаю, что неправа. За кого себя выдаю, за ту и принимает. Во сколько себя оценила, за столько и купил. Задешево купил. Да что там задешево — бесплатно. Мало того: я еще и сама за это удовольствие заплатила. Дорого заплатила, очень дорого. Даже приплатить готова, если кто-то соглашается купить.

Я снова звоню Йони, и снова мне никто не отвечает, но мне все равно не верится, что он уехал без меня. Жалкий ты мой, дорогой ты мой, грустный ты мой Йонечка, сиротинушка ты моя... Теперь мы все товарищи по несчастью. И ты, потерявший мать, и я, потерявшая брата, и Арье, потерявший жену... Да, мы все теперь одна большая и несчастливая семья...

А вот интересно, кто в нашей семье самый-пре-самый несчастный? Наверное, Йони, отправившийся в свадебное путешествие в одиночку. Ведь пока он — как какой-то шелудивый пес — проводит медовый месяц в полном одиночестве, вдовец Арье, вместо того чтоб соблюдать траур и сидеть шиву, живет бурной половой жизнью. С другой стороны, тот, кто уезжает в одиночку, не обязательно в одиночку и возвращается. Да, наш с Йони медовый месяц не

состоялся, но ведь в Стамбуле он вполне может познакомиться с другой женщиной, правда? Познакомиться — и провести медовый месяц с ней. А что? Такой сценарий практически неизбежен и даже напрашивается. Потому что таковы неписанные правила любви. И по этим же неписанным правилам, самой несчастной в конце концов окажусь я. Потому что тот, кто гоняется за лишней порцией хлеба — сверх той, что ему положена, — в конечном счете остается ни с чем.

Я испуганно оглядываюсь по сторонам. Потому что эти правила кажутся мне вдруг клеткой, в которой я заперта. Как будто я одна из сидящих в полутемной папиной лаборатории крыс. Как же мне от всех этих правил сбежать? Как увернуться от своей судьбы? Она представляется мне сейчас чем-то наподобие мячика в полузабытой детской игре. Этот мячик не должен в тебя попасть; если он в тебя попадает, ты выбываешь из игры. Как же эта игра называется? «Штандер», по-моему...

Я смотрю на часы: мне интересно, далеко ли успел улететь Йони — но они по-прежнему показывают девять. Не может быть. Ведь даже когда время идет медленно, оно все равно идет. Даже если ты ничего не делаешь, оно идет. Меня это всегда в каком-то смысле утешало. Но тут вдруг до меня доходит, что часы стоят. Наверно, остановились ночью, от тряски. Они вообще у меня чересчур чувствительные: даже на мои настроения — и то реагируют. Однако без них я чувствую себя совсем пропащей. Теперь даже время посмотреть не могу. Как же я узнаю, светит ли мне все еще завтрак — хотя я уже согласна и на обед — и когда разойдутся гости? Я вдруг смутно припоминаю, что во время шивы вроде бы положено с двух до четырех делать перерыв и выпроваживать гостей. Однако если даже гости на это время и разойдутся, родственники Жозефины все равно останутся здесь — хотя бы из жалости к ее матери с голубенькими волосиками. Не тащиться же ей всего на два часа



в гостиницу? Интересно, она ходит делать прическу в парикмахерскую или укладывает волосы сама, этими своими тоненькими ручками? Я вспоминаю вдруг, как тоненькое тельце Жозефины соскользнуло в могилу. Соскользнуло с такой поразительной легкостью, словно она полетела туда, взмахнув крыльями. Любопытно, какой она была в детстве? Наверно, ее мать сидит сейчас и рассказывает присутствующим, какой талантливой и воспитанной девочкой она была. Играла на пианино, с выражением декламировала Бодлера... Впрочем, это мог быть и Мольер, и кто угодно другой, потому что из ее уст все звучало одинаково сладко. А уста у нее были красивые, как цветок, и умерла она тоже, как цветок: завяла, сбросила листья, засохла, и ее выкинули в мусорное ведро...

Кстати, вид увядающих цветов всегда производит на меня угнетающее впечатление. Когда они склоняют свои засохшие головки, а из банки противно пахнет протухшей водой, дом начинает казаться запущенным. По-моему, лучше смотреть на пустую банку, чем на банку с увядшим букетом. Каждый раз, как Йони приносил мне цветы, я просила его больше этого не делать и, помнится, однажды сказала: «Жалко тратить деньги на такую красоту, чтоб увидеть, как она превратится в уродство. Ведь максимум через неделю букет завянет, но я, как всегда, забуду его выбросить и вспомню об этом еще через неделю. А всю эту неделю буду гадать, почему в доме так воняет, почему он выглядит таким запущенным и почему у нас дома такая угнетающая атмосфера. Когда же я понесу букет в мусорное ведро, с него начнут отваливаться сухие листья. Они разлетятся по всему дому, и пол надо будет подметать, как будто мне больше делать нечего. Это займет черт знает сколько времени, и неизвестно еще, сколько времени пройдет, пока нанесенная мне этим букетом душевная травма окончательно залечится».

Ну что ж, послушаем-послушаем, о чем они там говорят. Даже если они говорят не про Жозефину, это поможет мне хотя бы время скоротать. Потому что Жозефина, если честно, интересует меня уже гораздо меньше, чем раньше. Я ведь на этих поминках представляю все-таки сторону Арье, а не его жены, чего уж там греха таить. Да, когда она умирала, она действительно вызвала у меня определенный интерес, но, как только умерла, стала казаться человеком весьма заурядным. Ну прожила какое-то там количество лет, ну умерла, ну оставила после себя безликую спальню с густой решеткой в форме сердечек... Нет, умирала она все-таки гораздо интереснее, чем жила. По-видимому, смерть дала ей возможность продемонстрировать свое душевное благородство, и, зная, что это ее последний шанс, она решила им воспользоваться (что в общем-то правильно), но мне-то что до того? Почему я должна быть святее Папы Римского, в смысле, святее ее собственного мужа?

Я беру стоящий в углу стул, ставлю его возле двери и сажусь на него. Сначала голоса слышно плохо, но потом я начинаю слышать их лучше. Вот приходит какая-то женщина и кто-то ее радостно приветствует. Голос у нее, к счастью, немолодой, и я слышу его очень хорошо. Потому что она говорит очень громко.

— Я только что от ветеринара, — сообщает она. — Вы даже не представляете, что там было.

— Собака заболела? — спрашивает ее кто-то с беспокойством.

— Ой, вы даже себе не представляете. Я ходила кастрировать своего кобеля. У него началась течка, и он совершенно сбесился. Ну и все мне говорят: кастрируй его, кастрируй, ему так будет лучше. Ну и вот. Кладут его на операционный стол, усыпляют, а ветеринар говорит: «Скажите, вы что, слепая? Это же не кобель, а сука». Я была просто в шоке. Как будто он сказал это про моего мужа. Я была абсолютно уверена, что это кобель. «И что теперь? — спрашиваю. —

Что делать-то?» А он говорит: «Вообще-то это не важно, что это сука. Суку тем более стоит стерилизовать. Когда у нее течка, проблем с ней еще больше». Я говорю: «Ну ладно, если так, стерилизуйте». Ну и сижу жду. И вот через несколько минут он выходит и показывает мне ее матку. А у нее там, представляете, четыре щенка! Маленькие такие, кругленькие... Как орешки. Я как начала орать: «Убийца! Немедленно верните ей это в живот!» А он говорит: «Чего вы так разорались? Вы же сами согласились на стерилизацию». Ему даже в голову не пришло посмотреть, есть ли там щенки. И вот теперь ее матка со щенками лежит в мусорном ведре! Он сказал, что, когда собака придет в себя, она ни о чем не догадается, но я-то знаю! Я-то это знаю! Меня это просто сводит с ума!!!

Я слышу, как она начинает всхлипывать (по правде говоря, меня эта история тоже потрясает настолько, что мне хочется расцарапать дверь), все принимают ее утешать, а про Жозефину никто даже и не вспоминает. Как будто пришли на поминки не к Арье, а к этой женщине.

— Да плюньте вы на это, — говорит чей-то мужской голос (не исключено даже, что он принадлежит Арье). — Просто представьте себе, что это не сука, а кобель. Тем более что без матки — это теперь кобель и есть. Но кобели ведь не рожают, правда? Ну, и в чем тогда трагедия?

— Да?! — вопит женщина своим зычным голосом. — А вы сами, когда у вас горе... вы тоже себя таким манером утешаете?

Ответа мужчины я не слышу, но чей-то молодой женский голос спрашивает: «Тами, вы кофе не хотите?» — и я аж подскакиваю. Потому что кто же еще может предлагать кофе так непринужденно, как не эта его племянница с мундштуком? Или, может, у него еще одна подружка есть? Расхаживает себе по дому, как хозяйка, и всем распоряжается?

Я слышу позвякивание ложечек в чашках, но Тами больше не слышно. Успокоилась, наверное. Но через несколько минут ее громкий голос раздается снова:

— Нет, ну вы представляете, что я пережила? Это как если б мне сказали, что мой муж — женщина!

У меня вдруг темнеет в глазах, а большая пустая спальня начинает кружиться и переворачивается вверх тормашками. Я пытаюсь добраться до кровати, но натыкаюсь на чемодан, чуть не падаю и начинаю лихорадочно в нем рыться. Я роюсь в нем с огромной любовью, потому что он напоминает мне про Йони, про мою прежнюю жизнь и пахнет домом, а этот запах кажется мне сейчас сладким запахом свободы. Потому что тогда я была совершенно свободной: могла выходить, когда захочу, входить, когда захочу... Я роюсь в своих сексуальных шмотках и вдруг нащупываю что-то твердое. Это книга. Та самая редкая книга из личной библиотеки завкафедрой, которую он мне одолжил. Книга легенд о разрушении Храма. Оказывается, я, сама того не заметив, положила ее в чемодан. Я жадно ее хватаю, начинаю листать и с радостью встречаю в ней своих старых знакомых. Как будто пришла к кому-то в гости и нашла пожелтевшую фотографию нашего школьного выпуска. Вот «сота», берущая из рук своего сына-первосвященника глиняную чашу с горькой водой. Она выпивает ее до дна и даже облизывает край, а сын стоит перед ней, кричит и плачет. И вовсе не потому выпивает она эту чашу до дна, что считает себя невиновной, а как раз потому, что признает себя виновной. А вот и дочь первосвященника. Ее отца убивают у нее на глазах, а когда она кричит — убивают и ее саму. Ее кровь смешивается с его кровью, и на моих глазах исчезает целая семья\*. А это — Марта, дочь Байтоса, и прочие

---

\* Имеется в виду одна из легенд о разрушении Первого Храма: «Когда первосвященник направился к выходу, он был схвачен воинами Навузарадана [военачальник Навуходоносо-ра] и заколот возле жертвенника, на том месте, где им совершалось обыкновенно жертвоприношение «тамид». При виде этого дочь его кинулась бежать, вопия: «Горе мне, отец мой, радость очей моих!» Схватили и ее и закололи, и кровь ее смешалась с кровью отца» («Агада»).

изнеженные дочери Сиона, которые даже на рынок сами никогда не ходили. Они тщетно ищут остатки еды в конском навозе, охватывают руками колонны и умирают на каждом углу. Их грудные дети ползают между ними, разыскивая своих матерей, и припадают к материнской груди, пытаясь ее сосать, но им это не удастся; они сходят с ума и умирают у матерей на груди\*. Я представляю, как соседка Арье лежит возле двери своей квартиры мертвая, а ее сын ползает возле нее. Лицо у него овечье, худое и бледное, а мимо проплывает тень Иеремии, направляющегося из Анафофы в Иерусалим\*\*. Плача, он идет среди отрубленных конечностей\*\*\* и вдруг видит женщину с распущенными волосами в черной одежде. «Кто меня утешит?» — вопиет она и вопрошает. «А кто утешит меня?» — вопиет и вопрошает в ответ Иеремия\*\*\*\*. В точности как мы с Арье сегодня ночью. Потому что мы тоже кричали: «Кто меня утешит?» Он — мне,

---

\* «Даже на рынок сами никогда не ходили... умирают у матерей на груди» — неточная цитата из сочинения IX века «Псикта Рабати».

\*\* Когда вавилоняне разрушали Первый Храм, пророк Иеремия шел из Анафофы в Иерусалим, еще не зная, что обнаружит там пепелище: «Приближаясь... к Иерусалиму, увидел Иеремия — дым клубится, восходя от того места, где Храм находится. И подумал он: “Не раскаялся ли народ, возобновив жертвоприношения Господу? Ведь это дым от воскурений вижу я”» («Агада»).

\*\*\* «Горе, горе тебе, благодатнейшая из стран!» — восклицал он [Иеремия], идя в обратный путь свой. А по дорогам, тут и там, валялись отрубленные пальцы рук и ног; и подбирал он их, прижимал к груди, целовал долго и нежно, в складки одежд своих заботливо заворачивал и прятал их...» («Агада»)

\*\*\*\* «И так повествовал Иеремия: — Когда я всходил к Иерусалиму, поднял я глаза и увидел: женщина сидит на вершине горы, в одежды черные облачена, и волосы ее по плечам в беспорядке раскинуты. И вопиет, и вопрошает она: О, может ли быть утешение для меня? И я иду, вопия и вопрошая: О, может ли быть утешение для меня?» («Агада»)



а я — ему. Но больше всего меня радует встреча с женой плотника, вышедшей замуж за подмастерье. Я читаю эту легенду уже в который раз и, вчитываясь в ее лаконичный текст, пытаюсь понять, что эта женщина чувствовала. Что она чувствовала, когда плотник им прислуживал? Что чувствовала, когда его слезы капали ей в бокал? Догадывалась ли, что именно в этот момент Храму был вынесен приговор? Я раскрываю книгу нараспашку, чтоб она могла обнять меня своими бумажными руками, кладу ее себе на грудь, накрываю нас обеих одеялом и пытаюсь заснуть в надежде, что во сне время пройдет быстрее. Как будто сегодня Йом Кипур\*.

\* \* \*

На какое-то время я, видимо, отключаюсь, но тут в замке поворачивается ключ. Я моментально сажусь на постели (ведь если Арье увидит, что я сплю, он может уйти) и вижу его перед собой. Он стоит рядом и смотрит на меня каким-то безумными глазами. Я оглядываю комнату в поисках еды: ведь он мне, наверное, что-то принес — но еды нигде нет, и в руках у него тоже пусто.

— Молчи, — говорит он почти беззвучно, одними губами, присаживаясь на край кровати, и его прищуренные, пристально вглядывающиеся в меня глаза начинают ко мне приближаться.

Когда они приближаются настолько, что я уже почти не вижу его лица, он срывает с меня пеньюар, начинает холодными руками грубо шарить по всему моему телу, а потом кладет мою руку на ширинку своих траурных черных брюк и шепчет:

— Ты сильно его хочешь, крошка?

— Сильно, — шепчу я.

— Тогда покажи мне, насколько сильно.

---

\* В Йом Кипур (день покаяния) запрещается есть и пить в течение 24-х часов. Это трудно, и некоторые верующие, чтобы легче было перенести пост, ложатся спать.

Я не понимаю, что он имеет в виду. Как можно такое показать? Но мне хочется его ублажить, и я начинаю сквозь брюки массировать ему член.

— Ты меня не убедила, — говорит он и встает.

— Что ты хочешь, чтоб я сделала? — спрашиваю я, чуть не плача.

— Чего я хочу? Ничего. А ты? Чего хочешь ты?

— Тебя, — отвечаю я, как прилежная ученица.

— Тогда подумай, как меня в этом убедить. Ночью у тебя будет еще один шанс.

С этими словами он направляется к двери, а я, голая, бросаюсь за ним.

— Ты не можешь меня вот так вот здесь бросить! Позволь мне отсюда выйти!

— Но у меня в гостях родственники Жозефины.

— Тогда принеси мне что-нибудь поесть.

— Сначала покажи мне, насколько сильно ты его хочешь.

Меня охватывает злость. Я падаю на колени, набрасываюсь на Арье, как голодный-кусающийся-царапающийся-глотаящий-все-подряд-зверь, и, уже ничего не соображая — где я, а где он, где у него перед, а где зад, — тяну его на пол:

— Иди ко мне! Я не могу больше ждать!

Но Арье подтягивает брюки, склоняется надо мной и, смеясь своим лисьим смехом, говорит:

— А тебя, оказывается, стоит поморить голодом. Ты начинаешь бороться за жизнь.

Я обиженно отворачиваюсь: не желаю больше видеть его физиономию.

— Да получишь ты его, крошка, получишь, причем на этом же самом полу. Только не сейчас, а ночью. Тебе удалось убедить меня, что ты его хочешь, — говорит он, снова рассмеявшись, после чего выходит и запирает дверь.

У меня нет сил, чтобы встать с пола, и я хочу Арье так сильно, что все тело у меня болит: видимо, я сумела убедить в этом не только его, но и себя; его отсутствие внутри меня я ощущаю сейчас даже силь-

нее, чем его присутствие, — но одновременно с этим во мне пробуждается страх. Потому что все эти его странные игры меня пугают. Зачем они ему? А вдруг я связалась с опасным типом? Может, он из тех, с кем связываться не стоит? Если, конечно, не хочешь закончить свою жизнь запертой в спальне. Что я о нем, в сущности, знаю? И все же, как ни странно, мне не хочется отсюда уходить. Даже если б у меня сейчас оказался ключ от замка, не ушла бы. Во всяком случае, до наступления ночи.

Я встаю и медленно плетусь к кровати. Я чувствую себя какой-то отяжелевшей, но вместе с тем меня греет мысль, что мне предстоит провести с Арье целую ночь. И тут он вдруг возвращается. В руках у него круглый поднос — который он несет, как профессиональный официант, на кончиках пальцев — а на подносе — большая чашка кофе, стакан сока, два бутерброда, тарелка с нарезанными овощами и миска с фруктами. Лицо у него сейчас совершенно другое: спокойное и приветливое. Ну просто милый дядюшка какой-то. Когда же он успел все это приготовить? Ведь не прошло и двух минут. Наверно, еще до своего первого прихода. Хотел просто надо мной поиздеваться. А вот интересно, на кого-нибудь эти его игры впечатление производят? И тут словно какой-то голос мне говорит: «На тебя, дорогуша, на кого же еще. На тебя они впечатление производят».

— Room service\*, — говорит Арье, ставя поднос на кровать, а я набрасываюсь на кофе и еду.

От одного только вида этого подноса меня переполняет счастье. Не поднос, а произведение искусства какое-то. Арье же берет с него морковку и начинает ее со скучающим видом жевать.

— Мы одни? — спрашиваю я.

— Не совсем. В соседней комнате спит мама Жозефины.

— А сколько сейчас времени?

---

\* Обслуживание номеров (англ.).

— Три.

В Йом Кипур этот час самый тяжелый: есть хочется особенно сильно. Но если перетерпеть, начинает казаться, что можно поститься вечно.

— А можно еще кофе? — прошу я, и Арье приносит блестящий красный термос.

— Сначала я приносил Жозефине кофе из дома, как раз вот в этом самом термосе, но потом кофе стал вызывать у нее отвращение, — говорит он, ставя термос на поднос, и о чем-то задумывается.

«Печальным воспоминаниям, наверно, предается, как и положено в его положении, — думаю я, разглядывая термос, — но как же это все-таки бестактно с его стороны. Просто хамство какое-то. Мне-то за чем про этот термос рассказывать?»

— Тогда я еще думал, что все будет хорошо.

— Как в такой ситуации может быть все хорошо? — спрашиваю я с набитым ртом.

— У нее ничего не нашли. Мы думали, это все от нервов. У нее волосы болели, представляешь? Ты когда-нибудь слышала о болезни, при которой болят волосы?

— Нет, — отвечаю я и из уважения к покойной перестаю жевать.

— Она была блондинкой, — говорит Арье с горькой усмешкой, — у нее были красивые волосы. Даже когда она постарела, волосы у нее были, как у молодой, никаких признаков седины. Все были уверены, что она красится. И именно они-то у нее и заболели. У нее были жуткие боли. Она причесывалась и плакала, можешь себе представить? Я был уверен, что это — нервы, думал, это можно вылечить любовью. Знаешь, как это ужасно, когда понимаешь, что есть такая боль, которую любовь вылечить неспособна? Она всегда думала, что я ее недостаточно люблю, и мы оба верили — это, разумеется, была иллюзия, — что, если я полюблю ее такой любовью, в которой она нуждается, все образуется. Но оказалось, что лю-

бовь — ничто. Полный ноль. Одна таблетка обезболивающего — и та больше стоит, чем любовь.

«Прямо как обиженный Каин какой-то, — думаю я. — Обиделся на Бога за то, что Тот не оценил его даров»\*.

— Теперь-то я понимаю, это была боль от расставания с ее волосами, — говорит Арье еле слышно, почти шепотом. — Они просто раньше нас поняли, что их время вышло и что им больше не позволят украшать ее дорогое лицо.

Я пристально смотрю на термос (мне кажется сейчас, что это не он, а Жозефина) и в страхе трогаю себя за волосы. Такие истории всегда производят сильное впечатление. Арье же вздыхает и бросает на меня такой строгий взгляд, как будто он учитель, а я ученица и он хочет меня спросить: «Ну? Ты хоть что-нибудь из всего этого поняла?»

— А нет ли чего-нибудь сладенького? — спрашиваю я с виноватой улыбкой.

На самом деле сладкого мне совсем не хочется, но я хочу сменить тему разговора.

— Есть, — говорит Арье. — Мы выгребли все, что было у Жозефины в больничной тумбочке, и ты даже не представляешь, сколько там накопилось шоколадных конфет.

Он уходит — причем дверь не запирает — и возвращается с несколькими коробками конфет.

— Мне нужно немного прибраться, — говорит он. — Скоро атака возобновится.

— А можно я тебе помогу?

— Не советую.

— Ну я же могу прийти выразить тебе соболезнования? Просто как твоя знакомая. У тебя же есть знакомые женщины, правда?

— Не стоит, — говорит Арье. — У меня такое предчувствие, что сегодня придут твои предки.

---

\* Бытие, 4:2—5.



От ужаса я чуть не подпрыгиваю. Господи, как же я об этом не подумала?! Ну да, разве мамуля такое развлечение пропустит? Странно, что она еще утром не заявила. Решила, наверно, что не стоит так открыто демонстрировать свое любопытство.

Мысль о том, что родители могут меня здесь застать, так меня ошарашивает, что я отодвигаю поднос, ложусь и натягиваю на себя одеяло.

— Да-да, поспи, — говорит Арье. — Не исключено, что тебе предстоит бурная ночь.

— В каком это смысле «не исключено»? Ты что, в этом не уверен?

— Ну, — смеется он, — сегодня все зависит только от тебя.

— Знаешь что, иди-ка ты в жопу! Трахайся с другими бабами! Не надо мне твоих подачек! — возмущенно говорю я, чувствуя, что больше не в силах переносить его чванство и сексизм, но, к моему ужасу, он срывает с меня одеяло и, глядя на меня бешеными глазами, злобно шепчет:

— Не смей говорить мне ничего, чего ты на самом деле не думаешь, ясно тебе?! Ты ведь не хочешь, чтоб я трахался с другими бабами, правда? И очень даже нуждаешься сейчас в моих подачках. Так что не надо трепать языком, если не хочешь, чтоб я уморил тебя голодом!

— Что ты? Что с тобой? — лепечу я, пытаюсь натянуть одеяло обратно на себя. — Чего ты так распсиховался?

— Ненавижу, когда говорят просто так, — говорит он и отпускает одеяло.

— А ты что, никогда не говоришь просто так?

— А ты познакомься со мной поближе и узнаешь.

Он смотрит на меня с такой неприязнью, словно я мясник, продавший ему тухлое мясо, и я накрываюсь одеялом с головой. «Не уходи, — мысленно умоляю я его. — Давай помиримся». Но он уходит и запирает дверь, а мне снова становится страшно. Меня пугают внезапные перепады его настроения, вспышки агрес-

сии, болезненная обидчивость. Конечно, все это не более чем инфантилизм, но все равно страшно.

У меня вдруг появляется предчувствие, что мое пребывание здесь добром не кончится: возможно, я вообще из этой спальни живой не выйду — и мне становится так плохо, что я не могу уснуть. «Жозефина, наверно, тоже вот так вот часами лежала и пялилась на конфеты», — думаю я, глядя на лежащие стопкой коробки конфет и прислушиваясь к тому, что происходит за дверью. «Если услышу голоса родителей, — думаю я, — начну орать и они меня вызволят». Однако ничьих голосов не слышно. Слышно только, как в раковину сваливают грязную посуду. Потом я слышу звук текущей из-под крана воды, тяжелый старческий кашель и еще раз звоню Йони.

Я пытаюсь представить себе, как телефонный звонок гуляет по нашей маленькой желтой квартирке. Сейчас он в гостиной. Потом направляется в кухню. Оттуда идет в маленькую спальню с кривым шкафом. А в спальне сейчас, наверное, темно, потому что солнце уже начинает садиться, и за толстыми деревьями его не видно. Наши верные и преданные батареи постепенно разогреваются. Они разогреваются медленно, но неуклонно, пока не становятся раскаленными, а на столике в прихожей меня, наверное, ждет письмо. Это самое грустное письмо, которое только можно себе вообразить, и читать его мне, наверно, не стоит. Зачем? Что мне с ним делать? И что мне делать вообще? А жизнь? Что мне делать с жизнью? Из нее ведь невозможно выбраться живой. Она как непрерывная болезнь. Принимаешь лекарство, чтобы вылечить какую-нибудь болячку, а в результате появляется новая. Пьешь лекарство от головной боли — и боль проходит, но начинается язва желудка. Принимаешь лекарство от язвы желудка — начинается изжога. Пьешь лекарство от изжоги — начинается тошнота. Принимаешь лекарство от тошноты — начинается головная боль. И в конце

концов к твоей двери подползает самая последняя твоя болезнь, а дверь раскрыта настежь, как Золотые ворота в далеком Стамбуле. Таким образом, все, что твоей болезни остается, — это заползти в квартиру и с тобой покончить. Тебе скучно с Йони? Идешь к Арье. С ним тебе совсем не скучно. Одна загвоздка: рядом с ним невозможно дышать. Поэтому ты идешь искать кого-нибудь еще — чтоб и не скучно было, и дышать можно было, — но если ты такого и найдешь, то окажется, что он любит мужчин или малолеток. И это еще в лучшем случае: если ты сумеешь когда-нибудь выбраться из этой спальни. И как только другим удастся остаться вместе? Не всем, конечно, но большинству. Мало того что они ухитряются остаться вместе, так еще и детей производят. Отсюда, из кровати, где я лежу, это кажется абсолютно невозможным и противоречащим законам природы. Кстати, насчет детей. Слышится громкий плач. Видимо, у соседки напротив проснулся ребенок. Поспал после обеда и проснулся. А вдруг Йони не поехал в Стамбул? Вдруг он совсем недалеко от меня, за стенкой, со своим овцеподобным сыном и его мамашей? В таком случае мы проводим наш медовый месяц практически вместе. А если бы стены были прозрачные, мы могли бы еще и друг друга видеть. Я бы увидела, как живет в своей параллельной жизни он, а он бы увидел, как живу в своей альтернативной жизни я. Даже рукой могли бы друг другу помахать, по-дружески так. Всего хорошего могли бы друг другу пожелать. Жаль, что это невозможно. Как бы это было здорово, если бы у меня было несколько параллельных жизней и ни одна не мешала другой. Это решило бы все наши проблемы. Лекарство от головной боли не привело бы к язве желудка, лекарство от язвы желудка не вызвало бы изжоги...

Эта теория приводит меня в дикий восторг. Это ведь настоящий путь к спасению, новое евангелие! Как только отсюда выберусь, буду его проповедовать.

Ведь таким образом, вместо того, чтобы прожить разные жизни в реинкарнациях после смерти, можно прожить несколько жизней еще до того, как умрешь! И так мне эта моя идея нравится, что я засыпаю.

\* \* \*

Просыпаюсь я от плача. Он назойливо жужжит у меня в ушах, и поначалу я думаю, что это опять, наверно, этот чертов ребенок, но плач совсем близко от меня. Я машинально ищу глазами Арье, но его здесь нет, и тут до меня доходит, что этот плач — мой. Лицо у меня мокрое, из открытого рта течет слюна, из носа льются сопли. Одним словом, плачет все мое тело.

В комнате совершенно темно. Закрытые жалюзи свет не пропускают, и только под дверью — тонкая светлая полоска.

Вдруг звонит дверной звонок (похоже, кто-то забыл, что во время шивы звонить в дверь не принято), и я слышу голоса людей. Судя по их восторгу, они ужасно рады друг друга видеть, и я начинаю испытывать к ним черную зависть. Да, хорошо им всем живется. Даже если у них и есть какие-то проблемы или неприятности, они не ломают себе жизнь. «А твоя проблема, — говорю я себе, — состоит в том, что ты не проводишь границу между жизнью и любовью, тогда как их должна разделять непроходимая стена. Тебе кажется, что это одно и то же, но это не так. Любовь — это всего лишь часть жизни, причем не самая важная. Только один — причем маленький — карман в костюме жизни. И все гости Арье это знают. Поэтому и сидят себе посиживают у него в гостиной, кофе пьют и пирожные лопают. А ты вот лежишь тут. В темноте и за запертой дверью. Как зэчка какая-нибудь или психбольная. И не просто лежишь, но еще и в изоляторе. Как будто у тебя какая-то заразная болезнь и только одному-единственному человеку разрешается тебя лечить. Потому что сам он, наверно,

болен настолько тяжело, что ему уже ничто повредить не может. Однако это совсем не означает, крошка, что он не может повредить тебе».

В общем шуме я различаю вдруг голос, похожий на папин, и чтоб никаких сомнений в том, что это именно он, у меня не было, кто-то говорит:

— Ну вот. Корман, как всегда, предается мечтам.

Это говорится с явной симпатией, а не с презрением, с которым обычно говорит про него мама. Ее голоса я пока не слышу.

Я вскакиваю с кровати, усаживаюсь у двери и вся превращаюсь в слух. Голос у папы приятный, юношеский, чистый, и я слушаю его с какой-то неожиданной жадностью. Да, голос у него именно чистый. Я годами не могла подобрать нужного определения, и вот оно наконец-то нашлось. Его голос струится, как река. Не настоящая река, а игрушечная (если такая, конечно, существует), по которой плавают крошечные деревянные кораблики. Много лет я думала, можно ли этому голосу доверять. Если человек выглядит, как старик, а голос у него молодой, чему верить? Внешности или голосу? Если он выглядит больным, а говорит, как здоровый, выглядит грустным, а голос у него веселый, если кажется, что он ненавидит, а голос у него любящий, — как узнать, чему верить больше? Много лет я спрашивала себя: этот старый печальный человек с радостным молодым голосом радуется или грустит? Старый он или молодой? Его надо жалеть или ему надо завидовать? Я так много об этом думала, что у меня не оставалось времени его любить. И вот теперь, в этой темноте, я вдруг чувствую, что очень его люблю. Мне хочется, чтоб он пришел ко мне, сел — с виновато-обеспокоенным видом — возле моей постели, как делал, когда я болела, и прочитал какую-нибудь сказку. Пусть даже такую, которую я знаю наизусть. Например, про человека, возжелавшего жену своего хозяина. Был этот человек подмастерьем плотника. Однажды его хозяину понадобились деньги, и подмастерье ему сказал:



«Отправь ко мне свою жену — и я передам деньги с ней». Плотник отправил к нему жену, и та пробыла у подмастерья три дня. Через три дня плотник приходит и спрашивает: «Где моя жена, которую я к тебе послал?» Подмастерье говорит: «Я ее сразу отослал назад, но слышал, что по дороге ее изнасиловали молодые парни». — «Что же мне делать?» — спрашивает плотник. «Мой тебе совет, — отвечает подмастерье, — разведись с ней». Плотник говорит: «Но по брачному договору я должен заплатить за развод большую сумму денег». — «А я тебе одолжу, — говорит подмастерье, — и ты расплатишься». Плотник послушался его и развелся, а подмастерье на ней женился. И вот приходит время возвращать долг, но у плотника денег нет. Подмастерье говорит: «А ты иди ко мне служить — и отработаешь свой долг». И вот, когда подмастерье с женой сидели за столом, ели и пили, плотник стоял рядом и подливал им вина, а из глаз у него к ним в бокалы капали слезы. Именно в этот момент и был вынесен приговор. Вдруг благодаря папиному чистому голосу у этой сказки изменится конец? Вдруг, когда он дойдет до слов «в этот момент и был вынесен приговор», эти слова превратятся в слова утешения и примирения?

Тут я слышу знакомый голос дамы с кобелем, в смысле дамы с сукой. Наверно, она близкий друг семьи, раз не поленилась прийти за один день уже дважды. А может, ей сейчас просто скучно? Сука оправляется после операции, и дама скучает.

— В Стамбул? — восторженно говорит она. — Здорово!

Видимо, думаю я, она собирается свозить свою суку в Стамбул, чтоб немного ее этой поездкой утешить, но тут до меня доходит, что это мой папа с гордостью рассказывает о своей дочери. О своей единственной и такой успешной дочурке, которая поехала с мужем в Стамбул. От стыда мне хочется разбить голову об дверь, но я боюсь поднимать шум. Только бы папа не сказал, что это наш с Йони запоздалый

медовый месяц! И только бы Арье этого не услышал! Хоть бы он сейчас на кухне был! Но нет. Я слышу, как Арье нарочито громко, словно обращаясь ко мне, заговаривает про Стамбул.

— Я объездил почти весь мир, — говорит он, — но если и есть город, куда бы мне хотелось вернуться, так это Стамбул.

— А Прага? — спрашивает папа.

— Нет, Прага слишком совершенна. Настолько, что даже скучно. Стамбул же город пороков и контрастов. В нем есть и что-то притягательное, и что-то отталкивающее, теплое и жестокое. Не знаю, подходит ли он для молодых супругов, чтобы провести медовый месяц, — говорит Арье со смехом, — но для тех, кто прожил половину жизни и знает, что ищет, — это самое подходящее место.

«А что, — думаю я, — пожалуй, я тоже охарактеризовала бы Стамбул именно так: как город пороков и контрастов. Но в таком случае Арье не что иное, как мой Стамбул! Да, Йони — Прага, а он — Стамбул. Таким образом можно сказать, что в Стамбуле я в каком-то смысле побывала».

Эта мысль меня немного приободряет. Мое пребывание в спальне у Арье перестает казаться мне таким сюрреальным и начинает представляться не таким уж и страшным. Он ведь все-таки папин друг; он не может причинить мне зла. «Только не впутывай в это родителей; нельзя повсюду таскать за собой родителей», — говорю я себе и вспоминаю, как они в первый раз приехали навестить меня в армии. Это было в самом начале службы, во время курса молодого бойца.

\* \* \*

Я очень их ждала. Со своими новыми подружками, в новенькой военной форме, я сидела у входа на базу и с волнением ждала их прибытия. И тут я их увидела.

Они появились в воротах нашей военной базы вместе с шумной толпой других посетителей. В руках у них, как у всех, были сумки, в сумках, как у всех, — судки с едой, и все же они были не такие, как все: какие-то издерганные, нервные — как будто уже успели поссориться. Бледные, испуганные, как трепыхающиеся на берегу рыбы, они шли, не видя меня, и были похожи на слепых, ощупывающих палками дорогу. Мне захотелось убежать и спрятаться. Я вдруг почувствовала, что не перенесу этой пытки с сумками и судками. Мне казалось, что в этих судках плещется яд. «Как я могла рассчитывать, что эти жалкие существа меня спасут? Неужели я действительно верила, что они вызволят меня из этого мрачного места?» — с горечью думала я, пятясь назад. Я не решалась повернуться к ним спиной: мне казалось, что, если я повернусь, они меня увидят. И вот они приближаются — а я пачусь. Гляжу на них, как загипнотизированная, и пачусь. Но тут они меня заметили, замахали руками, и я вынуждена была остановиться. Мы молча обнялись, пошли в какой-то дальний угол, уселись на землю, поросшую свежей травкой (это было самое начало израильской зимы), мама постелила скатерть, похожую на клеенку, которую стелят писающимся по ночам детям, поставила на ней одноразовые тарелки, стаканы и вдруг вспомнила, что забыла бумажные салфетки. «Шломо, — сказала она папе, нахмурившись, — почему ты мне не напомнил?» — «Я напоминал. Я даже вписал их в список вещей, которые надо взять с собой», — сказал папа, достал из кармана мятый список и показал маме. «Но перед самым отъездом ты мне не напомнил», — сказала она, и они начали ссориться.

Я взяла у папы список и стала его читать. Бутерброды с авокадо, клубника со сливками, яблочный сок, соленые печенья, какао, яичный салат, салат с тунцом, творожный пирог, бумажные салфетки, одноразовые тарелки и стаканы, одноразовые столовые приборы... Родители продолжали ссориться (папа

ворчал: «Ничего никогда не можешь сделать как следует»; мама орала: «Я две недели готовилась к этой поездке! Я хотела, чтоб все прошло без сучка без задоринки и просила тебя только об одном: проверить по списку, что мы ничего не забыли!»), а я сидела, читала список, и мне было ужасно грустно. Он был написан почему-то не столбиком, а в строчку, и мне казалось, что я читаю запоздалое любовное письмо. Письмо, отправленное мне человеком, которого я уже разлюбила.

Мимо прошли несколько моих подружек в обнимку с парнями. «Если б у меня был парень, все было бы иначе», — подумала я и решила, что выйду замуж за того, кто первым пообещает любить меня вечно — лишь бы уйти от родителей; но тут заметила, что они на меня удивленно смотрят. Молчат и смотрят. «Почему ты плачешь?» — спросила мама. «Потому что я хотела чего-нибудь горячего, а вы привезли все холодное». На самом деле мне было все равно, и я сказала это просто потому, что неподалеку сидело семейство, поедавшее из глубоких тарелок горячий ароматный чолнт, но мама ужасно расстроилась. «Ничего-то у меня не выходит! — запричитала она. — Ну, совершенно ничего не выходит!» И мне страшно захотелось, чтоб они поскорей уехали. «Ну что, поняла теперь? — сказала я себе. — Никогда больше по ним не скучай. Они никогда тебе ничем не помогут». Но когда мы прощались у ворот военной базы, мне стало их вдруг ужасно жалко. Куда они теперь пойдут? Что ждет их дома?

\* \* \*

Я снова слышу папин голос и, чтоб слышать его лучше, прикладываю ухо к двери.

— Я знаю, — говорит он, обращаясь, по-видимому, к Тами, — ты думаешь, я несчастен. Думаешь, что профукал свою жизнь. Так знай: я считаю себя счастливым человеком, абсолютно счастливым. — И, слов-

но желая окончательно победить ее скепсис, добавляет: — Да-да, представь себе. Я пребываю в полной гармонии с самим собой.

Несмотря на то что он говорит это Тами, мне кажется, что он говорит это мне — как будто знает, что я сижу в спальне, и отвечает на мой вопрос, — и поначалу его ответ меня радует. Потому что это очень хорошая новость (пусть даже я и узнала ее, подслушивая под дверь), но потом меня берет злость. Это что же получается? Получается, что он меня обманул, что ли? Я искренне считала его несчастным и потратила, можно сказать, всю свою жизнь на жалость к нему, а он, оказывается, просто притворялся? Впрочем, возможно, он совсем и не притворялся; возможно, я просто дура и неправильно его поняла, решаю я в конце концов и вдруг слышу, как Тами говорит:

— Да-да, Корман, мы все отлично знаем, какой ты счастливый. Каждый раз, как я думаю о счастье, всегда представляю себе именно тебя.

Она говорит это так ласково, как будто мой папа — умственно отсталый, и я знаю, что она над ним смеется, но что это значит? Неужели его заявление действительно кажется им всем таким смешным? Неужели они воспринимают его как ходячее олицетворение несчастья даже больше, чем я?

Воцаряется тягостное молчанье — я чувствую, насколько оно тягостное даже из спальни, — и вдруг слышится лисий смех.

— Они встречались в кафе возле стамбульского кладбища, — говорит Арье.

— Возле кладбища? — переспрашивает Тами.

— Да, на самой вершине холма, с которого открывается вид на Золотой Рог. Самое красивое место в Стамбуле. Там они обычно и встречались.

— Ой, — обрадованно говорит папа, — а я помню эту историю. Он был французским писателем, а она замужней турчанкой. Когда их схватили, его экстрадировали во Францию, а ее казнили.



— А как ее казнили? — со страхом спрашивает Тами.

— Камнями забили, наверное, — говорит папа. — Точно так же, как у нас когда-то. Если оказывалось, что женщина — «сота».

— Кошмар какой! — вскрикивает Тами. — Просто не верится.

— В этом кафе есть их фотографии, — говорит Арье. — Красивая была женщина.

— Да, я сказал Йони, что они обязательно должны туда сходить, потому что это самое красивое место в Стамбуле, — говорит папа.

— А кто это, Йони? — спрашивает Арье.

«Папулечка! — мысленно кричу я, вцепившись в холодную дверную ручку. — Папочка ты мой дорогой! Слышал ли ты когда-нибудь историю про отца, у которого был единственный сын? Этот отец устроил сыну свадьбу, а сын прямо на свадьбе взял да и умер. Так вот, то, что чувствовал этот отец — то же самое чувствовал и Бог, когда был разрушен Храм. Слышал ли ты когда-нибудь эту историю, а? Так знай, мне хочется швырнуть ее тебе в лицо, точно так же, как ты швырнул мне в лицо историю про турчанку, изменившую мужу. И это далеко не единственная история, которой мне хочется сейчас в тебя запулить!»

\* \* \*

Квартира вдруг наполняется французским щебетанием — по-видимому, пришли с визитом друзья покойной, — и я снова возвращаюсь в кровать. «Папочка, только не уходи, останься со мной, спаси меня!» — умоляю я его, лежа в темноте, но он таки уходит. Я слышу, как он прощается и как Тами говорит ему своим визгливым голосом:

— Передай Рахели, чтоб поскорей выздоравливала.

Как это «выздоровливала»? Да ведь она же еще вчера была здорова, как лошадь! Что же с ней слу-

чилось? Как она могла не прийти выразить соболезнования? Ведь такие мероприятия она никогда не пропускает. Неужели действительно больна? Или, может, у нее есть какая-то другая, более веская причина?

Я чувствую себя вдруг всеми покинутой — как будто меня привели в детский сад и оставили с новой воспитательницей, которую я не знаю, — и решаю, что надо позвонить маме. Услышу ее голос — и повешу трубку. Узнаю, по крайней мере, способна ли она говорить.

Я приподнимаю телефонную трубку, но с удивлением слышу в ней какое-то невнятное бормотанье, как будто это не трубка, а раковина, в которой слышен шум морских волн. Пораженная этим, я приближаю трубку к уху и вдруг слышу обворожительный женский голос: нежный, грудной и настолько мелодичный, словно это не речь, а пение. Что она говорит, я не понимаю — и даже не пытаюсь понять, — но слушать ее мне ужасно нравится, как будто я слушаю музыку. Но тут я слышу еще один голос — знойный, ласковый, сладкий — и начинаю старательно вслушиваться, чтобы что-то разобрать. Потому что это не просто голос, а голос Арье. Они говорят на беглом французском, но меня интересует только одно: употребляют ли они два единственных знакомых мне французских выражения: «Je t'aime» и «Voulez-vous coucher avec moi?»\* Но разобрать мне ничего не удастся, потому что они говорят слишком быстро, и я начинаю на себя злиться. Дура! Как я могла выбрать в школе не французский, а арабский?! О чем только я думала?! Что у Арье будет любовница-арабка, что ли?! Ведь любовницей может быть только француженка и больше никто; это же ясно, как божий день! Но хотя все их слова звучат для меня одинаково, тем не менее я догадываюсь, что становлюсь свидетелем

---

\* «Я тебя люблю»; «Не хотите ли со мной переспать?» (фр.)

ницей начинающейся ссоры. По-видимому, это ссора между влюбленными, только не серьезная, а легкая, после которой помириться — одно удовольствие. Девушка говорит задыхаясь и тяжело дыша, слова текут у нее изо рта сплошным потоком, а Арье говорит более медленно, сдержанно и, по-видимому, пытается ее успокоить. Мне ужасно хочется знать, что он ей там такое вкручивает, но тут она вдруг успокаивается и говорит:

— Aller...\*

Она говорит это голосом раскапризничавшейся девочки, которая, перестав наконец-то плакать, стоит в обнимку с куклой и утирает сопли, но это всего лишь «aller», а не «mon amour»\*\*.

— Aller, — повторяет за ней Арье, и у меня появляется сильное желание тоже сказать «алёр», но тут девушка говорит:

— Je t'embrasse, — и отключается.

По-моему, то, что она сказала, как-то связано с поцелуями\*\*\*, но меня сейчас занимает не это, а та поразительная скорость, с которой она закончила разговор (похоже, эта девушка вообще все делает быстро), и Арье, судя по всему, тоже этим удивлен, потому что в трубке слышно, как он тяжело дышит.

Мы сидим с ним, каждый наедине со своим удивлением, и слушаем друг друга — как будто молча беседуем, — и я вдруг остро ощущаю, что мы с ним товарищи по несчастью. Потому что оба ее потеряли. Она исчезла так быстро, что, кажется, я до сих слышу в трубке ее полудетский возбуждающий голос и быстрое заячье дыхание. Но тут Арье закашливается — сначала вздыхает, а потом начинает кашлять, — и мне вдруг становится страшно. А что, если он не вешает трубку потому, что подозревает, что я под-

---

\* Здесь: «Ну...» (фр.)

\*\* Любимый (фр.).

\*\*\* Выражение, используемое при прощании — «обнимаю», «целую» (фр.).

слушиваю, и хочет в этом убедиться?! Тем не менее я тоже ее не вешаю, хотя мне очень хочется: я ведь не могу сделать это раньше него. В конце концов он прокашливается и все-таки отключается, после чего вешаю трубку и я, а повесив, ложусь и накрываюсь одеялом с головой.

Я лежу неподвижно и стараюсь дышать как можно тише. Если Арье зайдет меня проведать — пусть думает, что я сплю. Интересно, когда он сюда придет? Если прямо сейчас — значит, чувствует передо мной свою вину, а если позже — значит, никакой вины не чувствует. Но, похоже, ему на меня глубоко наплевать, потому что он все не идет и не идет. Кстати, а зачем я трубку-то сняла? Не помню. И вообще, что изменилось с тех пор, как я увидела его с этой девицей в магазине? Да ничего, абсолютно ничего. Внушила себе, как последняя дура, что он меня хочет, а это не более чем иллюзия. В действительности я всего лишь запасная любовница, заместительница, так сказать. Нечто вроде временной учительницы, заменяющей основную. А все заместительницы — они всегда второго сорта. Но вместо того, чтоб из-за этого расстроиться, я, как ни странно, испытываю облегчение. Потому что если я заместительница, значит, мне больше не надо разжигать в Арье огонь любви. Да и вообще ничего разжигать не надо, потому что и разжигать-то нечего. И шпагат делать по ночам не надо, чтоб на Арье впечатление произвести, и трахаться, стоя на руках. Никакой акробатики вообще больше не нужно. Я вдруг понимаю, что, когда Арье меня наконец-то захотел, я скорей испугалась, чем обрадовалась. То есть сначала, наверно, все-таки обрадовалась, но потом меня обуял страх, и этот вытеснивший мою радость страх стал меня душить. Потому что я почувствовала себя человеком с мешком золотых монет, на которого со всех сторон наступают грабители. Ситуация совершенно безнадежная. Нет, ты можешь, конечно, попытаться от них отбиться, и мешок останется у тебя, но это крайне трудно. Поэтому лучше

уступить мешок им. Бросить его и дать деру. Ну, разве что взять себе на память и сунуть в карман пару монет. Что я, кстати, сейчас здесь и делаю. Беру себе, так сказать, монетку на память. И даже не беру, а ворую. Вернусь домой — а она у меня в кармане. Вопрос только в том, есть ли у меня еще дом. От этой мысли мне снова становится плохо, и я опять представляю себе наши темные квадратные комнатки. Может, они тоже поехали в Турцию и поплывут оттуда по Тигру и Ефрату — вместе со всей нашей подержанной мебелью, посудой, которую подарили нам на свадьбу, и белым мусорным ведром — в Вавилон? Вавилонский царь присвоит нашу посуду себе и будет использовать ее на своих пирах, прямо на наших глазах. В точности, как убили первосвященника на глазах у его дочери. У меня вдруг возникает абсолютная уверенность, что нашего дома больше не существует (потому что как же он может оставаться на своем месте, если нас разбросало в разные стороны?), и я решаю снова позвонить Йони, но тут понимаю, что забыла номер нашего телефона. Начисто забыла и вспомнить не могу, как ни стараюсь. Как будто и не знала никогда.

\* \* \*

В такой позе Арье меня и застает. Лежащей в постели с телефонной трубкой в руке. Ежу понятно, что я подслушивала его разговор с любимой девушкой.

Он входит и без предупреждения зажигает свет.

— Потуши, — шепчу я, хлопая ресницами, как глупая бабочка, машущая крыльями. — Твои гости могут догадаться, что здесь кто-то есть.

— Но ведь сейчас здесь нахожусь я, не так ли? — ухмыляется он. — Я же не обязан сидеть в темноте, даже если сейчас шива.

После этого он смотрит на телефонную трубку и подчеркнуто вежливо спрашивает:

— Кстати, я тебе не помешал? Ты с кем-то говорила?



— Нет-нет, я еще не успела позвонить.

— Это срочно?

— Нет, не срочно.

Тогда он властно, как мой повелитель, берет у меня из руки трубку, кладет ее на аппарат, и его...

...гладкое-смуглое-мускулистое-старое-вызывающее-у-меня-любовь-и-жалость-тело-которое-никогда-не-будет-моим-и-которого-мне-никогда-не-понять-сколько-бы-я-об-него-ни-терлась-тело-достигшее-абсолютной-зрелости-тело-в-котором-поразительно-сочетаются-властность-и-нежность-черствость-и-сила-чувств-грубость-и-чувствительность-уверенность-в-себе-и-развратность-тело-напоминающее-блюдо-приготовленное-выдающимся-шеф-поваром-по-уникальному-рецепту-который-невозможно-воспроизвести-потому-что-этот-рецепт-уничтожен-а-повар-убит...

...это тело растягивается на кровати рядом со мной.

— Стамбул, значит? Гм... — говорит Арье, глядя на меня с какой-то отеческой печалью, и вместо ответа я пожимаю плечами. Я испытываю смущение, но вместе с тем чувствую какую-то странную гордость. Как будто получила орден за смелость и самопожертвование. Я знаю, что его заслужила, но не уверена, что это того стоило, и, плюс ко всему, мне стыдно. Мне стыдно, что он узнал, чем я пожертвовала, чтобы лежать сейчас рядом с его роскошным-гладким-смуглым-мускулистым-старым-достигшим-абсолютной-зрелости-вызывающим-жалость-телом-которое-никогда-не-будет-моим-и-которого-мне-никогда-не-понять-сколько-бы-я-об-него-ни-терлась.

— Да, Стамбул — город большой. Большой, красивый и завораживающий, — говорит Арье со вздохом, после чего закуривает, и я не понимаю, смеется он надо мной или мне сочувствует. — Кстати, в последнее время я много о нем думал. Потому что именно там Жозефина и заболела. Мы много лет хотели туда съездить, но никак не получалось, а когда наконец-

то выбрались, пришлось вернуться раньше срока. Все началось с того, что она упала в обморок. С тех пор ей становилось только хуже и хуже. Ну а медицина там сама знаешь какая. Поэтому мы решили не рисковать и сразу вернулись. Она очень себя винила за то, что испортила мне путешествие.

— И ты на нее сердился?

— Стыдно в этом признаваться, но да, немножко. Неужели, думал, она не могла подождать с этим еще неделю? А она все говорила: «Как только выздоровлю, поедem в Стамбул». Перед самой же смертью сказала: «Когда я умру, поезжай в Стамбул».

— А может, съездишь туда со мной? — говорю я, обнимая его. — Нет, правда, возьми меня с собой в Стамбул, а? Обещаю, мы будем соблюдать там траур.

— Может быть, — говорит он со смехом. — Может быть.

Я крепко к нему прижимаюсь. Я знаю, что в Стамбуле мне будет с ним нестрашно, даже на базаре. Потому что его самого я боюсь сильнее, чем всех базаров, вместе взятых.

— Устал, — говорит он, рассеянно поглаживая меня и думая о чем-то своем. — Вся эта суета ужасно утомляет.

— Так оставайся здесь. Не уходи.

— Нет, — говорит он, глядя на часы. — Я не могу бросить их там одних. Кстати, уже почти девять. Пора уже, наверно, эту лавочку закрывать.

Его глаза вдруг закрываются, а рот приоткрывается. Я беру его руку, лежащую у меня на животе, на том самом месте, где вызревают дети, и вспоминаю мамину беременность.

\* \* \*

Ее беременность казалась мне ужасно долгой, чуть не бесконечной. Даже ее ребенок — и тот прожил в три раза меньше, чем эта беременность длилась. Правда, тогда я, разумеется, еще не знала, сколько он прожи-

вет. Я с ужасом смотрела на ее устрашающе огромный живот, представляла, что в нем сижу я, и пыталась вообразить, как я выглядела до своего рождения. Зрелище, надо сказать, было не слишком приятным. «Ничего, — думала я, — вот скоро я рожусь, и моя первая жизнь закончится. Она закончится и начнется новая, совсем другая». «Если это будет девочка, — сказала я как-то маме, — назовите ее Яара». Я так привыкла быть единственной дочерью, что считала, что новые дети не прибавляются к уже существующим, а их сменяют. Как в королевской династии. Никто же не говорит: «Родился еще один король; теперь у нас будет два или три короля». Говорят: «Король умер — да здравствует новый король!» Поэтому я очень удивилась, когда братик родился, а я все еще продолжала жить. Ему дали собственное имя, у него была собственная кровать, он не был мной, потому что был мальчиком, и становился все больше и больше (тогда как мамин живот — все меньше и меньше), как если бы в мире было место для нас обоих. Пока, конечно, не оказалось, что это не так... Я знала, что если бы им пришлось выбирать, они выбрали бы не меня, а его, и меня это совсем не удивляло. Я даже их оправдывала. Я ведь не могла их больше спасти: я была отработанный вариант. Братик же только-только родился, перед моими родителями открылись новые горизонты, на его толстенные душистые плечики можно было возлагать новые надежды, и я не только на них за это не сердилась, но еще им и сочувствовала. Я знала, что судьба обошлась с ними несправедливо, мне было жаль, что они перестали друг друга любить, и я не осуждала их за то, что они были против меня настроены.

\* \* \*

Красивая смуглая рука Арье по-прежнему лежит у меня на животе. Если бы внутри у меня был ребенок, я бы крепко прижала ее к животу и спросила: «Чув-

ствуешь, как он шевелится?» А так... Что я могу ему сказать? Уснул возле меня, как будто я его жена и была ею испокон веков. Жена, возле которой успокаиваются после бурных телефонных разговоров...

Как мало на этой сцене ролей и как беден репертуар возможных амплуа. Раньше тут лежала Жозефина, сегодня лежу я, завтра будет лежать «зайчиха». Вчера возле меня спал Йони, сегодня спит Арье, завтра будет спать кто-то другой. Сколько усилий мне пришлось приложить, а в результате я получила фактически то же самое. А ведь в будущем меня наверняка ожидают какие-то новые роли и новые перевоплощения, но они уже не вызывают у меня ничего, кроме равнодушия. Эти будущие роли сидят у меня сейчас, как дети, в животе и пинают своими ножками, но вместо радости ожидания я испытываю грусть. Потому что сколько ни перевоплощайся — в конечном счете оказываешься там же, где была.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В дверь стучат. Стучат так слабо, словно стук доно-сится изнутри меня, и кто-то тихонько шепчет:

— Яари!

Я открываю рот, чтобы сказать «Я здесь!», но стук повторяется и тот же голос говорит:

— Ари!

Ослышалась... Хорошо хоть ответить не успела.

Арье моментально вскакивает с кровати — с такой скоростью, словно кровать загорелась, — направляется к выходу, выключает свет, выходит из спальни и почти беззвучно запирает за собой дверь.

Перед уходом он не сказал мне ни слова и полностью меня проигнорировал — еще никогда в своей жизни я не чувствовала себя такой несуществующей, — но я на него не обижаюсь. Ведь его действия оправдываются обстоятельствами, и по-другому он, наверно, поступить не может. Ну а тот факт, что он меня снова здесь запер... А что? Ведь никто из моих родственников все равно не знает, где я нахожусь. Это знает только он, прячущий меня тут от всех, как прячут умственно отсталых и сумасшедших. Что ж, буду сидеть здесь и дальше. Сидеть тут долгими томительными часами и получать информацию о происходящем в мире, подслушивая через стенку.

Кстати, а кто это его так называет? «Ари». Теща, что ли, с голубыми волосами? Сестра жены? Нет,



наверно, это его возлюбленная. Пришла помириться после ссоры и хочет остаться на ночь. Интересно, как он ей это объяснит? Ну, что спальня занята и что сегодня он с ней переспать не сможет. Впрочем, тот факт, что спальня занята, отнюдь не обязан рушить все их планы. В квартире ведь и другие комнаты имеются, верно? Так что, когда гости разойдутся, он сможет преспокойненько вдуть ей прямо у меня за стенкой. Я буду сидеть здесь под замком, а они... Или еще вариант: запрет ее, как меня, и будет бегать туда-сюда: от нее ко мне, от меня — к ней. Ключи-то от всех комнат — у него.

Нет, все-таки это чудовищно — чувствовать себя несуществующей. Да, такой у меня теперь статус: несуществующая женщина — и изменить его я не могу. Более того: на каком свете нахожусь — и то не знаю. Цепляюсь за какие-то намеки, но понятия не имею, чего бояться и на что надеяться. Да еще и полностью завишу от капризов мужика, чье настроение меняется чуть не каждую минуту: то я для него желанная, то обуза... Нет, дорогая моя, если ты и дальше собираешься от него зависеть, то далеко не пойдешь. А впрочем, может, и пойдешь. Причем настолько далеко, что к предыдущей жизни возврата уже не будет.

Я начинаю думать о своей предыдущей жизни: о Йони, обо всех остальных — и все они кажутся мне сейчас камнями, привязанными к моим ногам. Их привязали, чтоб я далеко не убежала и не пропала из виду окончательно. Я представляю себе камень в форме Йони, в смысле его статую — тяжелую такую и твердую статую, — мысленно наряжаю ее в клетчатую рубашку и отправляю гулять на стамбульский базар. Как будто это не статуя, а человек. В конце концов я совершенно забываю, что это статуя, и мне становится ужасно интересно за ней наблюдать. Как она там без меня разгуливает. С курносым младенческим носом и болтающейся между ног мошонкой.

О чем, интересно, Йони думает, когда он в полном одиночестве лежит на мягкой кровати в гостиничном номере? И о чем он думает, когда сидит в одиночестве в кафе над кладбищем? Нет, правда, о чем он думает? И зачем он, в сущности, живет? Что у него в жизни есть? И что есть у всех остальных? Это для меня загадка. Взять, например, мою маму. Она обожает катастрофы. Это придает ее жизни хоть какой-то смысл. Главное для нее — это увидеть, как с кем-то происходит что-то ужасное. А я? Что главное для меня? Сейчас для меня главное — это заполучить Арье и пробудить в нем любовь ко мне. В данный момент я одержима только этим. Но для чего я жила до того, как его встретила? Совершенно непонятно. Прошлая жизнь кажется мне сейчас какой-то пустой и скучной. Как будто каждый день был незаполненным листком белой бумаги, и все эти листки были похожи друг на друга, как две капли воды. Это даже страшнее, чем моя нынешняя жизнь. А может, я хочу не заполучить Арье, а разгадать его загадку? И через него постичь саму себя? Да и всех нас вообще? Честно говоря, я не очень-то понимаю, что это значит, «всех нас вообще», но мне нравится думать во множественном числе. Как будто я не одна. Как будто меня окружает большая толпа людей, которая все растет и растет. Большая такая пребольшая группа людей, и я — их агент. Они отправили меня на задание. Я должна раздобыть информацию, которая прольет свет... На что же она прольет свет? Ну, скажем, на тайну жизни. Да, именно на тайну жизни! Эта тайна находится у Арье, и я должна ее у него выпытать. Именно для этого я, с риском для жизни, и ложусь с ним в постель. Вот такое вот на меня возложено задание. И именно это я скажу Йони, когда его курносый нос и мошонка вернутся из Стамбула. Странно, кстати, что они повсюду его сопровождают. Как бы там ни было, но я ему все это скажу, и он меня простит. Обязательно простит. И не только простит, но и обратно примет.

Когда-то давно я уже испытала нечто подобное — эту срочную и настойчивую потребность разгадать чью-то загадку, только в тот раз это была загадка одного сторожа...

\* \* \*

...Этот сторож жил неподалеку от нас в небольшом деревянном домике, и у него была собака, но я не понимала, что он сторожит, и это занимало меня все больше и больше. Наш район он никогда не патрулировал (я вообще никогда не видела, чтоб он занимался чем-нибудь таким, чем обычно занимаются сторожа) и большую часть времени проводил во дворе своего дома. В одной руке у него вечно был кусок сырого мяса, для собаки, а во второй — нож, которым он это мясо резал, и каждый день он этот нож точил. Это было чем-то вроде ритуала. Он клал на стоявшую у входа деревянную колоду большой точильный камень, ставил рядом с камнем свою толстую ногу и начинал точить. Звук был такой, будто он что-то пилил. После чего он непонятно откуда доставал кусок мяса (мне казалось, он отрезает его от своей толстой ноги), резал его на куски и начинал бросать собаке, а та радостно вокруг него бегала, хватала зубами мясо и восторженно пританцовывала. Но мясо он ей кидал так часто, словно над ней издевался. Не успеет она съесть один кусок, как он бросает ей второй, третий и так далее, так что в конце концов собака переставала есть и с отчаянием наблюдала за тем, как у нее над головой летает мясо. А я стояла и на все это смотрела. Однажды я не выдержала и спросила: «Почему вы кидаете ей мясо так часто?» А он посмотрел на меня неприязненно и сказал с иностранным акцентом: «Моя собака. Что хочу, то и делаю». Он сказал это очень грубо, но мясо тем не менее стал кидать реже и время от времени с любопытством на меня поглядывал. Лицо у него было молодое, но дышал он тяжело и со свистом, а между нижним краем рубашки (которая

была ему явно коротка) и съехавшими вниз штанами виднелась полоска розовой плоти, поразительно напоминавшая мясо, которое он кидал собаке, и что-то там пульсировало. Как будто на этом месте у него было еще одно сердце.

Он был отнюдь не первым сторожем, жившим в этом домике (который так и называли: «сторожка»), но другие сторожа (большинство из них были больными стариками) бродили по ночам по улицам нашего района, а этот — нет, и у меня возник вопрос, что же он такое охраняет. Разумеется, этот вопрос мог бы у меня и не возникнуть, но когда он все-таки возник, то стал меня мучить. Потому что сторож только и делал, что точил нож. Каждый день — утром, по дороге в школу, и в обед, когда я возвращалась домой, — я видела его круглое лицо и наглые голубые глаза. Небритый, с заросшими рыжей щетиной щеками, в приспущенных, обнажающих верхнюю часть ягодиц штанах, он стоял возле низкой колоды и точил. По вечерам, когда я ходила гулять по нашему маленькому району, я осторожно подкрадывалась к освещенному фонарем домику (он находился в самом конце дороги, как раз перед входом в сад), подсматривала, как сторож точит нож, и дрожала от сладкого страха, воображая, как он приставляет мне его к горлу. Однако ему самому это, похоже, даже в голову не приходило и он продолжал заниматься своими делами.

Постепенно я стала все больше и больше подозревать, что он что-то скрывает. Что именно, я не знала, но это было явно что-то очень важное, и я думала, что если смогу это понять, то спасу всех нас: и себя, и маму, и папу, а возможно, и всех людей вообще. Поэтому я продолжала вертеться возле его дома. Собака его меня уже хорошо знала и не лаяла, но он со мной не общался. Только постреливал иногда своими насмешливыми и наглыми голубыми глазами.

Однажды, когда я пришла к сторожу в очередной раз, то увидела, что во дворе его нет, а дверь приот-

крыта. Не удержавшись, я зашла внутрь и была поражена. Потому что никакой мебели у него не было — ни стула, ни шкафа, ни стола, — а на полу, как огромная рыба, лежал и колыхался темно-вишневый водяной матрас. Постояв там немного, я решила, что пора уходить, но тут на пороге появился сторож. «Что тебе здесь надо? — спросил он, тяжело дыша и обдавая меня вонью изо рта. «Вас», — сказала я. «Зачем? Что тебе от меня нужно?» — «Хочу спросить, что вы сторожите». — «Я ничего не сторожу. Я тут живу», — сказал он с улыбкой, и лицо его округлилось еще больше. «Но здесь же сторожка». — «И что? Какая мне разница, что здесь было раньше? Если человек живет в собачьей будке, разве это означает, что он собака? А если он живет в загоне, разве это означает, что он коза?» — «Почему же тогда у вас нет мебели?» — «У меня есть все, что нужно, — усмехнулся он, обнажив желтые зубы. — Я делаю все на матрасе». — «Делаете что?» — «Попользую жизнь», — сказал он. Не знаю, почему он так сказал — то ли потому, что иврит был для него неродным языком, то ли он мне таким образом на что-то намекал, — но пока я об этом размышляла, он вытер свой нож о ширинку штанов, и в паху у него расплылось красное пятно. Я была уверена, что он что-то скрывает, и это наверняка было что-то ужасное, но именно из-за этого-то меня к нему и влекло, и я смотрела на кровавое пятно, как замороженная. Однако тут я увидела в проеме двери силуэт своего худого и бледного папы. «Немедленно домой!» — кричал он.

По дороге домой папа меня постоянно подталкивал, чтоб я шла быстрее, а когда мы пришли, оказалось, что мама разбрызгивает жидкость от тараканов. Она ходила, пригнувшись, вдоль стен, брызгала жидкость на плинтусы, и в доме ужасно воняло. «Еще раз увижу тебя с этим сторожем — запру дома!» — крикнул мне папа с красным от гнева лицом. «Он не сторож, — сказала я. — То, что он живет в сторожке, еще



не означает, что он сторож. Так же как если кто-то живет в загоне, это не значит, что он коза». — «Нет, ну ты представляешь?! — заорал папа, обращаясь к маме. — Она ведет себя, как Тирца! Ну просто вылитая Тирца!» Но мама не прореагировала и молча продолжала брызгать, хотя дома и так уже было дышать нечем. «Если хочешь нас убить, лучше убей сразу, а не постепенно», — сказал папа то ли ей, то ли мне.

Я пошла к себе в комнату, обнялась со своей мягкой овечкой и стала думать про сторожа. «Если он не сторож, то почему тогда мне кажется, что он меня охраняет?» — думала я и, когда через несколько дней он исчез — потому что папа подал на него жалобу, — почувствовала себя беззащитной. По ночам мне было так страшно, что я не могла заснуть...

...Ночью, когда Арье придет ко мне и ляжет рядом, я расскажу ему про сторожа. Не с целью на что-то намекнуть, а просто так. Ибо что есть любовь, как не желание рассказывать любимому человеку обо всем, что с тобой происходит, каждую мелочь? Рассказывать и надеяться, что, когда слова из твоего рта перебегут по невидимым воздушным тропинкам в уши любимого, он тебя поймет. Поймет и не осудит. Да и вообще, разве не для того все это со мной случилось, чтоб я рассказала об этом Арье? И не только это. Все, что произошло со мной в прошлом, происходит в настоящем и произойдет в будущем, все это имеет смысл только при одном-единственном условии: если я могу рассказывать об этом Арье. Даже если он не хочет этого слышать.

\* \* \*

Слышно, как гости — на иврите и французском — прощаются с Арье и желают ему спокойной ночи, а затем входная дверь громко, даже как-то сердито, хлопает, и я моментально принимаю сидячее положение. Наконец-то; сейчас он придет и выпустит

меня отсюда. Но он, похоже, не торопится. Неожиданно я слышу его голос. Только его и больше ничей. Видимо, он говорит с кем-то по телефону. Причем не просто говорит, а ругается. Не решаясь снять трубку, я подтаскиваю телефон к себе и кладу на него, как на подушку, голову — как будто даже без снятой трубки он может помочь мне понять, о чем у них идет разговор, — но в этот момент слышу, как Арье что-то раздраженно кричит, швыряет трубку и изрыгает проклятье (во всяком случае, отсюда, из спальни, кажется, что это именно проклятье), а затем слышится звон посуды. Наконец проходит еще какое-то время (не знаю, сколько именно, потому что часы у меня стоят), и только тогда дверь открывается.

Когда зажигается свет и в спальню возвращается жизнь, я делаю попытку улыбнуться, но улыбка выходит у меня кривой. Как будто я жена, чей муж поздно вернулся домой. Жене не хочется, чтобы муж видел, как она расстроена, но получается у нее не ахти.

— Алло, — говорит Арье, словно все еще разговаривает по телефону.

Я рада, что он старается держать себя в руках, но глаза у него по-прежнему злые, и мне кажется, что он злится не на кого-нибудь, а именно на меня. Я вижу, как ему тяжело, понимаю, что у него плохое настроение, ощущаю его состояние каждой клеточкой своего тела и чувствую свою вину — как будто это я виновата в том, что он разозлился, — но как задобрить его, не знаю. Поэтому притихаю и стараюсь стать незаметной. Однако мне все равно страшно и в ушах у меня звучит свисток паровоза. Этот паровоз приближается к железнодорожной станции, на которой не работает шлагбаум, и я знаю, что авария неизбежна. Вопрос только в том, насколько она будет тяжелой.

— Выходи уже, а то клаустрофобию заработаешь, — говорит Арье, и я осторожно перешагиваю через порог.

У меня такое ощущение, будто я перешла границу государства, в котором мне угрожает опасность, и я

иду, со страхом озираясь по сторонам — а вдруг в одной из комнат все еще находится кто-то из гостей? — в гостиной же сразу усаживаюсь на диван, точно боюсь, что мое место займут. Мне холодно; мой тонкий пеньюар меня не греет.

— Есть небось хочешь, — говорит Арье.

— Да, — отвечаю я, энергично кивая головой в знак благодарности.

Он уходит на кухню, вынимает из холодильника какие-то продукты, разогревает что-то на плите и зовет меня. Я послушно прихожу и сажусь за круглый стол.

Он ставит передо мной большую тарелку, в которой лежит практически то же самое, чем кормила меня мама, когда я возвращалась из школы: куриные стейки, картошка, нарезанные овощи — а сам начинает носить из гостиной на кухню грязную посуду и пепельницы, полные окурков, но делает это так демонстративно, с таким грохотом и настолько раздраженно, что я вдруг чувствую себя здесь нежелательной. Это прочитывается буквально в каждом его жесте.

Я стараюсь есть совершенно бесшумно, чтоб он не слышал, как я жую — потому что если ты нежелателен, у тебя нет права на существование и ты должен сидеть тише воды ниже травы, — но как же это все-таки странно, что в этом доме от меня так мало зависит. К этому ужасно трудно привыкнуть. Потому что обычно к тебе относятся в соответствии с тем, как ты себя ведешь, но здесь законы совсем другие. Я становлюсь желательной или нежелательной из-за чего-то, что абсолютно не зависит от меня самой. Как будто я луна, которая светит отраженным светом солнца и полностью зависит от его милостей. Откуда, например, мне знать, почему Арье меня сейчас здесь терпит? Может, он терпит меня только потому, что поссорился с возлюбленной, а как только они помиряются — прогонит? Или, может, наоборот, не прого-

нит? Не знаю. Логика его поступков мне совершенно непонятна.

Из-за всех этих грустных мыслей из глаз у меня сами собой начинают капать слезы, прямо в тарелку.

— Что с тобой? — спрашивает Арье удивленно и подходит ко мне.

— Ничего! Ты не хочешь, чтоб я здесь находилась! — говорю я и начинаю реветь белугой.

— Почему ты так говоришь? — спрашивает он, не отрицая, что это так.

— Потому что я это чувствую! — продолжаю рыдать я.

— Да, иногда я действительно забываю, что ты здесь, но, когда вспоминаю, меня это радует.

Он говорит это с таким трудом, будто выжимает из себя последнюю каплю влаги, и я понимаю, что большего мне от него сейчас не добиться. Тем не менее мне все равно становится немного легче, потому что, если мое присутствие радует его по крайней мере иногда, это все же лучше, чем ничего. Но тут он вдруг говорит:

— Ты же знаешь, я насильно тебя не держу. Можешь уйти, когда захочешь, — и я чувствую острый прилив ненависти к нему. «Ах так?! — мысленно кричу я. — Значит, ты любезно возвращаешь мне мою свободу, да?! Очень мило с твоей стороны. Только что мне, интересно, с этой свободой теперь делать? Куда идти? Стамбул-то я из-за тебя уже упустила!»

Между тем настроение у него, похоже, начинает улучшаться, а движения становятся такими гибкими, словно суставы ему смазали оливковым маслом. Он достает из холодильника две банки пива, ставит на стол две огромные пивные кружки, разливает пиво и садится рядом, а я смотрю на него и думаю: «Нет, сейчас мне сдаваться нельзя! И отчаиваться тоже! Потому что я уже очень близка к финишной прямой, пусть даже и непонятно, что меня на ней ждет».

Я отхлебываю пива из кружки, настроение у меня улучшается, и я вспоминаю про чемодан с эротиче-

ской одеждой. Мне кажется сейчас, что даже одна проведенная с Арье ночь стоит всей моей предыдущей жизни, вместе взятой.

— Ну что, как ты? — спрашиваю я, положив свою руку на его.

— Нормально, — отвечает он, немного удивленный моим вопросом, но тут же поправляется: — В смысле, относительно нормально, конечно. Учитывая сложившиеся обстоятельства.

— Разумеется, — говорю я, — разумеется. Слушай, а кто приходил к тебе в гости? Я слышала из спальни такой радостный гвалт, как будто это не поминки, а праздник.

— Да, люди были рады повидаться, — улыбается он. — Сама знаешь, как это бывает.

По контрасту с его рукой моя кажется ужасно белой и чуть не светится.

— Видишь? — спрашиваю я.

— Жозефина тоже была белая. Мы были с ней, как день и ночь, — говорит он, глядя на мои пальцы, а затем идет к шкафу, роется в ящиках, возвращается со старой, перевязанной резинкой обувной коробкой, копается в ней, чему-то удивленно улыбается, достает из коробки фотографию, подтверждающую его слова, и показывает мне.

На фотографии они изображены вдвоем, переплетенные, как лианы — вернее, Жозефина обвилась вокруг Арье, как лиана вокруг ствола, — и оба голые. Однако интимных частей не видно, потому что грудь и половые органы у них так тесно прижаты друг к другу, что скрыты от глаз наблюдателя. Молодые, красивые, гордые своей наготой, они улыбаются, глядя в объектив фотоаппарата, и контрастируют по цвету, как белые и черные клетки на шахматной доске.

Эта фотография приводит меня в такой восторг, что я готова смотреть на нее вечно: так много в ней для меня новой информации. Просто сокровище какое-то, которое досталось мне ни за что ни про что.



Теперь у меня наконец-то есть возможность узнать, как выглядело тело Арье в молодости, разглядеть тело Жозефины, посмотреть на их любовь, и я даже не знаю, с чего начать. С темных волос, покрывающих его большую голову? С его искренней и доверчивой улыбки? С белых зубов? С искрящихся от радости глаз? На этой фотографии он моложе, чем я сейчас, и безусловно красив, но вместе с тем и гораздо менее привлекателен. Даже несколько глуповат. Я смотрю на его счастливую улыбку и думаю, что если б встретила его тогда, то вряд ли бы в него влюбилась. Но вот Жозефина... Она выглядит так, что не влюбиться в нее невозможно. Даже страшно. Пышные, соломенного цвета волосы, сияющие глаза, маленький прямой нос, сочные губы... А эта ее нагота... Ее нежное, переплетенное с Арье нагое тело выглядит потрясающе! Какая обида, что период ее расцвета был таким коротким.

Арье стоит у меня за спиной, и я чувствую, что он тоже смотрит на фотографию.

— Она действительно была так красива? — робко спрашиваю я в надежде, что он скажет «нет, фотография все врет» — потому что красота Жозефины действует на меня угнетающе, — но он говорит:

— Да, и даже еще красивее; она была просто великолепной, — после чего пытается забрать у меня фотографию, но я вцепляюсь в нее мертвой хваткой.

— Подожди, дай мне посмотреть еще немножко, — говорю я, вырывая у него фотографию с такой силой, что она чуть не рвется, и начинаю разглядывать их переплетенные — плавно изгибающиеся, но при этом очень стройные — ноги.

— Слушай, как ты мог ей изменять? Она ведь была такой прелестной, — говорю я, но тут же прикусываю язык, понимая, что совершила ошибку, потому что он злобно выхватывает у меня фотографию, сует ее обратно в коробку, перевязывает коробку резинкой, а затем грубо забирает у меня тарелку и кружку с еще не допитым пивом.

— Я ей не изменял! — рычит он. — Ясно тебе?! Я ей никогда не изменял!

— Но меня же ты обмануть не можешь, — говорю я; его гнев меня пугает, но я не в силах промолчать. — Со мной же ты ей изменял, забыл, что ли?

— Что ты болтаешь? Что ты вообще понимаешь?! — орет он, покраснев от злости и угрожающе размахивая у меня перед носом пивной кружкой. — Я ей никогда не изменял! Я был верен ей до самой последней минуты, и она это знала! По какому праву ты меня в этом обвиняешь? Как ты смеешь?! Кто ты такая, чтоб бросать мне в лицо такие обвинения?!

Он с размаху бьет кружкой по мраморному покрытию возле раковины, кружка разбивается вдребезги, и я с удивлением смотрю на разлетевшиеся по кухне осколки. Как это может быть, чтоб такая огромная кружка из пивного подвала распалась на такие мелкие кусочки? Кружка, которую трудно осушить даже самому завзятому пропойце. Как же она сейчас так легко сдалась?

Арье стоит и с удивлением разглядывает свою руку — поворачивая ее и так, и эдак, словно пытается на ней что-то прочесть, — а я, точно испуганное животное, бросаюсь в спальню, закрываю дверь и начинаю лихорадочно рыться в чемодане. От страха, отчаяния и разочарования меня всю колотит, и я так психую, что ничего не могу найти. Я даже не знаю, что, собственно, ищу. Наверное, одежду. Да, мне надо что-то на себя надеть. Но в чемодане только нижнее белье. Не выходить же в нем на улицу. В глазах у меня темнеет. Ну почему, почему я такая дура? О чем я только думала, собирая этот чертов чемодан? Что не буду вылезать из постели, что ли? Что буду разгуливать в одном только поясе для чулок и сапогах? Кстати! Вчера, когда я сюда пришла, на мне же было ведь что-то надето, верно? Трудно, конечно, поверить, что это было вчера: кажется, что прошел целый месяц — но не в поясе же и не в сапогах я сюда притащилась? Так

где моя одежда?! Я ищу ее под одеялом и заглядываю под кровать. Черт, где же я все-таки разделась? Мама мне всегда говорила: «Ищи в голове. В первую очередь ищи у себя голове», — но голова у меня сейчас не работает. Она парализована, подавлена и испугана, как и руки. Потому что мне кажется, что Арье сейчас сюда ворвется и меня убьет. Надо вспомнить, что в таких случаях делают в фильмах. О! В каком-то фильме я видела, как дверь подпирают стулом. Я бросаюсь к стулу с намерением подпереть им дверь и вдруг вижу свою одежду. Вот же она! Преспокойненько висит себе на спинке, да еще и аккуратно сложена. Я проворно одеваюсь, застегиваю чемодан, незаметно прокрадываюсь мимо кухни, открываю входную дверь и сбегает.

\* \* \*

Сначала я бегу, но, видя, что за мной никто не гонится, начинаю плестись медленно, как черепаха. А что? Спешить-то мне некуда. Разве меня кто-нибудь где-нибудь ждет?

Стоит приятная весенняя ночь, как будто за день, который я провела в спальне у Арье, зима успела смениться весной, и идти мне в моей теплой одежде тяжело. Я вся вспотела, устала и чувствую себя никому не нужной. Как будто я туристка, оказавшаяся в совершенно незнакомой мне стране — Стране Ночи, — где происходят страшные и неожиданные вещи. Я ставлю чемодан на тротуар, сажусь на него и, чувствуя, что меня засасывает какая-то трясина, начинаю себе уговаривать: «Держись, Яара, держись! Не позволяй трясине себя засосать! Иди домой, приведи свою жизнь в порядок. Ну разбилась там какая-то кружка... Подумаешь! Тебе же есть за что в этой жизни уцепиться. Возвращайся домой. Завтра поедешь в университет, пойдешь в библиотеку, будешь сидеть там среди книг... А этот человек пусть сходит с ума без тебя!»

Я представляю себя в читальном зале, где много книг. Я полной грудью вдыхаю их запах и танцую среди них, как счастливая бабочка, порхающая с цветка на цветок. То из одной книжки нектар пососу, то из другой... И вдруг с ужасом вспоминаю про редкую книгу из личной библиотеки завкафедрой — книгу легенд о разрушении Храма. Я раскрываю чемодан и начинаю в нем лихорадочно рыться, но книги там нет: я ее не положила. Она осталась на широкой кровати Арье. Я бросила ее там, как раненого на поле боя, и кто знает, что с ней теперь будет? Не станет ли она следующей жертвой гнева Арье? Не разорвет ли он ее в клочья, как вдребезги разбил пивную кружку? И всем героям этой книги — первосвященнику, его дочери, родовитым дочерям Сиона, плотнику, у которого украли жену, — всем им, и без того уже пострадавшим, придется пережить еще одну катастрофу! Нет, я просто обязана выволить их из когтей Арье! Конечно, может показаться, что я просто ищу предлог к нему вернуться, но это не так: я иду спасать героев книги! Войду, молча пройду в спальню, возьму книгу и уйду. А на Арье даже не взгляну!

\* \* \*

Стоя на темной лестничной площадке перед его дверью, я чувствую, как от желания его видеть у меня болят глаза, а когда он открывает мне дверь, то от тоски по нему, любви, жалости и печали у меня начинает болеть все тело, но, не говоря ему ни слова, я решительно отправляюсь в спальню, достаю из-под одеяла книгу, обнимаю ее и начинаю баюкать, как грудного ребенка.

Вскоре на пороге вырастает Арье. Он стоит, мрачно глядя на меня, и от его взгляда воздух в комнате начинает наэлектризовываться.

Я пытаюсь пройти мимо, но он очень медленно, как в рапиде, протягивает руку — и гладит меня по щеке.

— Я люблю тебя, — говорю я, видя, что рука у него перевязана. — Я знаю, что это неправильно, но я тебя люблю.

— Все правильно, все правильно, — говорит он и начинает нежно меня раздевать, причем даже не спросив, как ему свойственно, за что я его люблю.

— Я не хотела тебя обидеть.

— Я знаю. Ничего страшного, — говорит он и начинает меня обволакивать...

...он обволакивает меня снаружи и внутри, полностью заполняя своим теплом, и в голове у меня начинает звучать слово «счастье»; да, это счастье; такое же, какое испытываешь, когда встречаешься с человеком, которого считала мертвым и думала, что больше никогда его не увидишь; такое же, какое я могла бы испытать, если б можно было исправить мои прошлые ошибки, спасти смертельно больного человека или воссоединить расставшихся родителей; да, это счастье, нечто абсолютно невозможное, нереальное, и от этой мысли мне становится так сладко, что, кажется, я сейчас растаю; «все в мире умерли, а я счастлива! — напеваю я про себя. — все в мире умерли, а я счастлива!», а потом переставляю слова в другом порядке и пою: «я умерла, а все в мире счастливы! я умерла, а все в мире счастливы!», и сейчас это для меня совершенно одно и то же; арье вертит меня и так и сяк, а я думаю: «о, как мне повезло! ведь я могла прожить всю жизнь, так этого и не испытав, не “попользовав”, как говорил тот сторож; это мой самый настоящий медовый месяц, и другого у меня не будет; никогда, никогда, никогда у меня не будет другого медового месяца; и даже если это счастье будет продолжаться всего несколько часов, это все равно того стоило»...

...В этот момент Арье стонет от наслаждения, но стон его почему-то сразу переходит в плач.

— Не плачь, я люблю тебя, — шепчу я ему, крепко обнимая, но он начинает плакать еще сильнее.



— Я ей не изменял! — всхлипывает он, как ребенок. — Я никогда Жозефине не изменял! И она это знала! Она сама мне это перед смертью сказала!

— Что сказала?

— Сказала, что знает, что я был ей верен, — шепчет Арье. — Сказала, что нисколько в этом не сомневается.

— Да-да, я знаю, — говорю я, но вдруг чувствую, что он начинает охлаждаться и съеживаться. Прямо как пирог, вынутый из духовки. Только что был пышным — и вдруг сдулся. Сдувается буквально все его тело — даже плечи, бедра и колени, — а затем он поворачивается ко мне спиной и его всхлипывания сменяются храпом.

\* \* \*

Разочарованная, я некоторое время лежу рядом с Арье, подсчитывая, сколько раз он всхрапнул, и глажу его по спине. Ничего-ничего, он просто ненадолго задремал. Скоро он проснется и будет любить меня до утра. Я ведь ждала этой ночи весь день. Тем более что я совсем не чувствую усталости: почти целый день проспала.

Нет, что-то непохоже, что он быстро проснется. Я встаю с кровати, направляюсь в гостиную и по дороге обнаруживаю свой верный чемодан. Вот он, у двери. Я достаю из него пеньюар, надеваю его и иду на кухню.

На столе стоит старая, перевязанная резинкой коробка с фотографиями, и я начинаю в ней рыться. Сначала я делаю это без особого энтузиазма, почти равнодушно, но вскоре мое равнодушие сменяется волнением. Как будто в этой коробке хранятся все те острые ощущения, которые я так надеялась пережить сегодня ночью. Причем соблазнов в ней так много, что перед ними просто невозможно устоять. Из коробки на меня вываливается такое количество

человеческих тел (как голых, так и облаченных в настолько изысканные и соблазнительные наряды, что в сравнении с ними шмотки из моего чемодана кажутся рабочей одеждой еврейских женщин в Палестине начала двадцатого века), на меня обрушивается такое количество глаз разных форм и расцветок (круглых, узких, зеленых, голубых, черных), я вижу столько грудей, сосков, лобков, ягодич и волос, что начинаю чувствовать себя, как собака сторожа, которой бросают все новые и новые куски мяса. Она страстно о них мечтала, но их так много, что ее мечта превращается в кошмар и она начинает сходить с ума. Не коробка, а мясная лавка какая-то, битком набитая человеческой плотью. По-моему, в ней даже и находиться-то обидно. Впрочем, не находиться в ней тоже обидно. Ведь меня, в отличие от других, Арье так ни разу и не сфотографировал. Наверно, я единственная женщина в мире, которую он не сфотографировал. Не считая, так сказать, достойной.

Я пытаюсь отыскать на фотографиях знакомые лица, но поначалу никого не нахожу. Нет, этих людей я не знаю; фотографии сделаны в другой стране и в другую эпоху. Но тут мне попадает знакомая фотография, на которой изображены Арье и Жозефина, а также несколько парных фоток, сделанных в тот же период (может быть, даже в тот же день), и оказывается, что эта фотография — самая невинная из всех. Потому что еще на одном фото Жозефина сидит у Арье на коленях совершенно голая (как, впрочем, и он сам), и только его черные руки прикрывают ее белую грудь, а на третьем — она и вовсе лежит с раздвинутыми ногами. Лицо у нее от счастья светится, а промежность розовеет, как нежный цветок. Впрочем, есть несколько и более пристойных снимков. Они сделаны в парижских кафе, видимо, в начале их знакомства.

По мере того как я достаю из коробки все больше и больше фотографий, становится ясно, что они уло-

жены в ней примерно в хронологическом порядке, и в таком же порядке я стараюсь раскладывать их на столе. Сначала идут нечеткие снимки, сделанные в период детства Арье. На одном из них изображена группа худеньких детишек, рядом с которыми стоят смуглые женщины в платках и бородатые мужчины в черных костюмах. Но постепенно фотографии становятся более четкими, одежда на людях светлеет, а на лицах появляются улыбки, и одна из таких фоток вызывает у меня особый интерес. Потому что на ней изображены два обнявшихся юноши. А не та ли это фотография, которую искал в тот день папа, причем так отчаянно, что даже уронил себе на ногу ящик? Ну конечно же это она; я в этом абсолютно уверена. Это Арье и мой папа! Как же я их сразу не узнала?

Арье — высокий и чернявый; стоит и широко улыбается. Но его белозубая улыбка мне не нравится. Слишком уж она самоуверенная и высокомерная. Я бы даже сказала, что из-за нее он выглядит каким-то глуповатым. Папа же на фото — низенький и светлокожий, а лицо у него — бледное и одухотворенное, если не сказать страдальческое. Вот как, оказывается, он выглядел в начале своей жизни. В отличие от улыбки Арье, папина улыбка — какая-то неуверенная и недоверчивая, но на лице у него словно написано ожидание: ожидание счастья, готовность быть счастливым — и я никак не могу на него насмотреться.

Кого бы я из них выбрала, если б жила в то время? Если бы, например, была своей мамой? Выбрала бы я самоуверенную улыбку Арье или неуверенную улыбку папы? Да, выбрать себе спутника жизни не просто. Даже улыбку — и ту трудно. Ведь иногда хочется, чтоб она была самоуверенной, а иногда — чтоб неуверенной. Вот и реши, с какой из них связать свою судьбу.

Мне ужасно не хочется с этой фоткой расставаться, и я кладу ее в чемодан, после чего начинаю разглядывать оставшиеся фотографии. Поскольку я раз-

ложила их в хронологическом порядке, то по ним хорошо видно, что Жозефина начинает постепенно из жизни Арье исчезать. Поначалу она все еще на фотографиях мелькает (я вижу ее на всяких торжественных мероприятиях), но теперь она уже не голая, а одетая — причем я бы даже сказала, одетая несколько по-старушечьи — и чем дальше, тем больше ее вытесняют с фотографий наглые молоденькие девицы с длинными ногами, а свет у нее в глазах меркнет. Я вдруг ясно представляю себе этот момент — когда у Жозефины померк свет в глазах — и начинаю всех этих девиц люто ненавидеть. Очень надеюсь, что сегодня они уже не такие молоденькие, не такие здоровенькие, а возможно, даже не такие уж и живехонькие: не исключено, что их длинненькие ножки уже гниют в земле!

Одна из этих девиц просто очаровательна. Смуглая такая, на цыганку похожа. На одной из фотографий ее грудь и низ живота прикрыты небрежно повязанными тряпочками, но на второй — тряпочек уже нет и она совершенно голая. Ее наготу слегка прикрывают только длинные черные волосы. Она лежит на красном ковре, а на ней лежит Арье. Да, это, несомненно, он; я узнаю его узкий красивый зад. Неясно только, снято это до полового акта или после. Однако третья фотография таких вопросов не вызывает: совершенно очевидно, что они запечатлены на ней не до, не после, а во время. Девушка сидит на Арье, его орган находится у нее внутри, и на лице у нее — неопишемое наслаждение. Из четвертой же фотографии — она сделана в тот же день — я узнаю наконец-то, кто снимал предыдущие три. Потому что на ней видна маленькая фигурка Жозефины. Бледная, уже не такая красивая, как раньше, в белой комбинации, она стоит возле лежащей на кровати цыганки, и та трогает ее между ног. К сожалению, как Жозефина на это реагирует — с отвращением или благосклонно, — не видно; об этом можно только гадать.

Но на следующей фотографии Арье уже с совершенно другой девушкой: высокой, худой, с короткими волосами и маленькой грудью — и от снимка к снимку видно, как он стареет: черные волосы седеют, гладкая кожа покрывается морщинами, зубы желтеют, глаза тускнеют и суживаются, а его жизнерадостная улыбка становится все более и более сдержанной.

Когда я оглядываю стол с разложенными на нем фотографиями, мне кажется, что передо мной кадры из фильма о любовных похождениях господина по имени Арье Эвен. Да, бурную жизнь он прожил, господин этот ваш, нечего сказать. Даже непонятно, как он еще и другими-то вещами заниматься успевал и откуда у него до сих пор силы остаются. Впрочем, никаких особых сил у него уже и нет. Уж я-то, запрыгнувшая в последний вагон поезда его жизни, знаю это как никто. Так или иначе, но нет ничего странного в том, что его так трудно чем-то удивить: видимо, все свои подарочные талоны на удивление он уже израсходовал и все испытал. Разве что покончить с собой во время случки еще не пробовал. Хотя кто его знает? Может, даже и это уже попробовал. И что же все это означает? А то и означает, что пора тебе, красавица, укладывать свой голод в чемодан и выметаться отсюда. Потому что Арье твоим голодом сыт не будет. Голод и сытость вместе в ресторан не ходят.

Фотографии на столе вдруг вызывают у меня омерзение, и я начинаю запихивать их обратно в коробку. Не желаю их больше видеть! Я кладу их туда в обратном порядке: хороню в коробке сначала старость Арье, потом его молодость — но, когда уже собираюсь коробку закрывать, вдруг вижу фотографию, которую до сих пор не замечала. На ней изображена молодая, красивая и — какая приятная неожиданность! — одетая женщина с нежным лицом, заплетенными в косу волосами и тонким обручальным кольцом на пальце. Перед ней стоит почти пустая тарелка, а в руках



у нее — нож и вилка. Она опустила глаза в тарелку и сдержанно улыбается. Эту фотографию я прекрасно знаю, видела ее тыщу раз, и все равно смотрю на нее сейчас, как замороженная. Никогда еще я не разглядывала свою красивую молодую маму так пристально. Она сидит с серьезным лицом, как будто в голове у нее сейчас какая-то важная мысль, но какой бы важной и интересной эта мысль ни была, она явно не судьбоносная. Может, мама просто думает о пустой тарелке. Дома в альбоме у меня уже такая фотка есть, но я все равно бросаю ее в чемодан и она приземляется на мое черное белье, как упавший с дерева лист. Это моя самая любимая мамина фотография, и я не хочу оставлять ее в этой мерзкой коробке, рядом со всеми этими его шлюхами. Какое она имеет к ним отношение? Впрочем, может, и имеет, поди узнай. Ведь прошлое отгорожено от настоящего большим непроницаемым занавесом. Может, мама и сама этого не знает. Откуда же знать мне? Когда-нибудь у меня тоже будет дочь. Что она будет обо мне знать? Наверно, тоже будет рыться в этой коробке и искать мою фотографию. Ведь Арье будет вечно, как проклятый богом Агасфер, скитаться по земле. Он будет все таким же привлекательным и будет все так же — подобно магниту — притягивать к себе женские сердца...

У меня вдруг возникает желание написать дочери записку и положить ее в коробку. «Девочка моя, — напишу я ей, — знай, что если я даже возьму тебя на руки и твой вес прибавится к моему, мы все равно будем для Арье невесомы и невидимы, как воздух, наэлектризованный его взглядом». Однако вместо того, чтобы писать записку, я перевязываю коробку и гашу на кухне свет.

\* \* \*

Я брожу по темной квартире, переходя из комнаты в комнату, выдвигаю ящики, заглядываю в них, но ни письма из банка, ни телеграммы с соболезнования-

ми, ни дипломы на французском языке не вызывают у меня никакого интереса. В сравнении с тем, что я только что видела, они кажутся мне скучными и пресными.

Я снова сажусь на чемодан; почему-то сидеть на нем мне удобнее, чем во всех этих его креслах. Да, наверное, пора уходить. Этот человек слишком гнилой. Спать в его постели — все равно что ночевать на помойке.

Я возвращаюсь в спальню и вижу, что Арье там нет. Его широкая кровать пуста, как тарелка на маминой фотографии. А может, мне это только кажется? Ведь он и темнота — почти одного цвета. Однако когда я подхожу к кровати и трогаю мягкое одеяло, то убеждаюсь, что под ним действительно никого нет. Испарился он, что ли? Скукожился, как член после выброса семени? Растаял в воздухе, оставив вместо собственных детей коробку с фотографиями и всех этих запечатленных на них баб? Очень и очень надеюсь. Потому что это самый простой способ от него избавиться. Без конфликтов, без сожалений... Я сделала все, что могла, а остальное от меня не зависит. Пусть теперь те из его баб, кто еще не успел окочуриться, читают над его свежей могилой кадиш.

От всех этих мыслей мне становится несравненно легче, но тут я с огромным разочарованием слышу глухой звук испускаемых газов, а еще через какое-то время из крана льется вода. Ну надо же, даже ночью рук помыть не забывает. Только чем ему это, спрашивается, поможет? Грязный-то ведь он не снаружи, а изнутри.

Раздаются тяжелые шаги. Я слышу, как Арье плюхается в кровать; затем щелкает зажигалка, и при ее свете я вижу его лицо.

— Ты что, еще здесь? — спрашивает он удивленно и одновременно насмешливо, не отрывая глаз от прикуриваемой сигареты.

Тоже, видать, надеялся, что я растаяла. Думал, что я исчезла наконец-то из его жизни. А что, удобно: ни тебе сцен, ни расставаний, ни взаимных обвинений. И вот теперь мы оба разочарованы. Может, только это нас сейчас и объединяет: взаимное разочарование друг другом из-за того, что ни один из нас до сих пор не исчез.

— Ты хочешь, чтоб я ушла?

— Слушай, — говорит он со вздохом, — у меня нет сейчас на это никаких душевных сил. Да и какая тебе разница, чего хочу я? Думай о том, чего хочешь ты, и делай то, что хочется тебе.

— Но я же здесь не одна; нас двое.

— Ты что, не знаешь, что два человека — это два одиночества? Тогда я раскрою тебе еще одну страшную тайну: три человека — это три одиночества, и так далее и тому подобное.

Даже в темноте я вижу, как он доволен этой своей сентенцией, но думать о том, глупая она или умная, оригинальная или банальная, мне сейчас не хочется.

— Ну, если говорить про цифру три, то у меня сложилось впечатление, что в области «тройничков» ты крупный специалист.

— Ты это о чем? — зло спрашивает он, резко садясь на кровати.

— Да так, ни о чем.

— А, понятно, — ухмыляется он. — Рылась в моих фотографиях, да?

Я молчу. Я готова выдержать еще один приступ его гнева — тем более что на этот раз он, по крайней мере, будет оправданным, — но вместо того, чтобы злиться, он продолжает ерничать. Как будто решил вести себя так, чтобы я ни за что не могла предвидеть его дальнейших ходов.

— Надеюсь, ты, по крайней мере, получила удовольствие.

— Меньше, чем ты, когда фотографировался.

— Да, — смеется он, — обычно я и в самом деле получал удовольствие. Сейчас, когда большинство удовольствий уже позади, отрицать это не имеет смысла.

— То есть меня ты удовольствием не считаешь, — обиженно говорю я.

— Да ладно тебе, не принимай на свой счет. Я в том смысле, что если рассматривать нашу жизнь как огромную подарочную корзину, то почти все лежащие в ней подарки я уже вкусил. И наслаждения, которые в ней лежат, и сюрпризы. Так что моя корзина почти пуста. У тебя же, Яара, она еще полным-полна. Так что не вешай носа.

— Нет, моя корзина тоже пустая; я с такой корзиной родилась. От возраста это не зависит. Я никогда не чувствовала, что в моей корзине лежат подарки.

— А это и не чувствуется. Только после того, как проживаешь большую часть жизни и оглядываешься назад, только тогда картина и начинает проясняться, — говорит он и, словно для того, чтоб прояснить картину, зажигает ночник, после чего достает очередную порцию лекарства от траура и начинает готовить его к употреблению.

Я зачарованно смотрю на его руки, на его смуглое голое тело, но фотографии из коробки не выходят у меня из головы, и мне кажется, что все тело у него в пятнах. Как будто он леопард. Гибкий, пятнистый леопард, чье тело покрыто отпечатками пальцев и губ женщин, с которыми он все эти годы занимался любовью. Может, именно поэтому он и не выглядит потасканным? Ведь леопарды никогда не выглядят потасканными.

— Да, я получал от этого удовольствие, но наркотической зависимостью это не было, — говорит он, возвращаясь к предыдущей теме разговора, причем говорит это так сурово и категорично, что мне даже не приходит в голову ему возражать.

— Но где ты находил время, чтоб заниматься другими делами? — спрашиваю я, когда, затянувшись,

он сладко потягивается и протягивает «лекарство» мне.

— Ты забываешь, сколько мне лет, — смеется он. — За такое время можно многое успеть.

— Но ты же не мог раздваиваться. Тело-то у тебя только одно, второго нет. А то тело, что у тебя есть, — все в пятнах.

Арье с наигранным беспокойством осматривает свою гладкую смуглую руку, переворачивая ее так и сяк — словно и вправду мне поверил, — а потом облегченно вздыхает и говорит:

— По-моему, девочка, ты просто мне завидуешь. Послушай, жизнь — это как длинный коридор, в котором много закрытых дверей. Почему ты боишься их открывать? Даже когда ты осмеливаешься открыть одну из них, то при первой же неудаче сразу закрываешь.

— Что ты имеешь в виду? — настороженно спрашиваю я, даже не пытаясь отрицать, что я ему действительно завидую.

С одной стороны, я, конечно, рада, что он наконец-то — чуть не в первый раз за все это время — проявил интерес к моей персоне, но с другой — меня это немного коробит. С какой стати он лезет мне в душу?

— Да я и сам не знаю, что имею в виду. Я не о частностях, я — в общем. Вместо того чтоб перейти на жизнь в атаку, ты прячешься в окоп и готовишься к обороне. Высовываешься из него время от времени — и сразу прячешься обратно. Это, конечно, твое полное право: каждый имеет право жить, как хочет, но тебя это явно угнетает, сразу видно. Тебе мало сидеть в окопе: ты хочешь большего — но для этого надо рисковать, а ты не решаешься.

— Я рискую, — пытаюсь защищаться я. — Я ведь сейчас нахожусь здесь, разве нет?

— Да ну тебя, — пренебрежительно машет он рукой, — ты снова отвлекаешься на частности. Дело ведь не в том, что иногда ты осмеливаешься прове-



сти с кем-нибудь несколько ночей. Дело в том, как ты проживаешь свою жизнь в целом и кто кем распоряжается — ты ею или она тобой.

Я пристыженно втягиваю голову в плечи. Мне ужасно хочется быть женщиной, о которой он говорит. Женщиной, которая сама распоряжается своей жизнью, женщиной, которая не нуждается в мужчинах, женщиной, которая не должна ломать голову, с каким мужчиной ей выгоднее остаться, и не живет с мужчиной только потому, что хочет чувствовать себя за каменной стеной. Одним словом, мне хочется быть женщиной, которая живет по своим собственным правилам, и я вдруг ясно вижу, как в будущем этой женщиной становлюсь. В этом будущем нет ни Арье, ни Йони (который изо всех сил старается меня защитить и тем самым делает меня слабой), а я в нем сильная, самостоятельная и живу в маленькой мансарде. Да, именно в мансарде, потому что наша с Йони квартира — это темная и мрачная дыра, а мне нужна квартира, расположенная высоко, чтоб я могла видеть не отвлекающие от главного второстепенные детали, а всю панораму в целом. В этом будущем я сплю не с теми, кто пообещал любить меня вечно, а с теми, с кем мне хочется (кстати, может, иногда даже и с Арье), и мое тело, относительно которого я пока еще окончательно не решила, что с ним делать, живет своей — тайной и разнузданной — жизнью. Оно мой конь, и я на нем бесстрашно скачу...

Это грандиозное видение, столь ясно представшее перед моим взором, потрясает меня до глубины души, но я быстро прихожу в себя и понимаю, что реальная действительность будет гораздо менее радужной. Потому что в настоящей, а не сказочной жизни я буду сидеть в холодной мансарде в полном одиночестве, телефон будет все время молчать (в лучшем случае иногда будет позванивать мама), я буду размышлять о том, не сигануть ли мне прямо сейчас с крыши, и время от времени меня будет навещать Йони со своей

новой женой. Они будут приносить мне остатки чолнта со своего стола (который я буду есть, даже не разогревая), и в мою тарелку будут капать слезы.

Когда-то, когда я еще пыталась рисовать, в голове у меня часто возникали потрясающие образы, но когда я переносила их на бумагу, они, казавшиеся мне столь совершенными, превращались в нечто бесформенное и жалкое...

Мне вдруг становится себя ужасно жаль. «Да кто он такой, — думаю я со злостью, — чтоб учить меня жить?!»

— Ты тоже все эти годы был женат, — говорю я, стараясь держать себя в руках, — и тоже не мог позволить себе открывать все двери подряд.

— Ты ничего не поняла, — говорит Арье презрительно. — К браку это никакого отношения не имеет. Брак — дело второстепенное. Главное — это как ты себя воспринимаешь. Потому что можно быть незамужней и при этом бояться открывать двери, а можно быть замужем — и не бояться. Вопрос в том, с какой целью ты выходишь замуж, какими критериями руководишься, когда делаешь выбор, и как собираешься распорядиться своей жизнью. Собираешься ли ты прожить ее как трусливая ученица, которая время от времени сбегает с уроков, но строит из себя пайдевичку, чтоб учительница не пожаловалась на нее родителям, или хочешь стать хозяйкой своей судьбы, невзирая на возможные последствия. Мне кажется, ты постоянно пытаешься сидеть на двух стульях. С одной стороны, тебе нравится выходить за рамки дозволенного, но с другой — ты боишься заплатить за это слишком высокую цену. Может, в школе это еще и сработало бы, но прожить так всю жизнь... Жаль, честное слово, жаль. Пойми, я не призываю тебя сбегать с уроков — я лично от этого ничего не выиграю, — я просто смотрю на тебя, и мне тебя искренне жалко. Да-да, я знаю, тебе кажется, что я ничего вижу, кроме себя, не вижу, но это не так — вижу.

Я сижу к Арье спиной, обхватив руками колени, чувствую себя ученицей, получившей выговор, и не могу пошевелиться. Спина у меня болит, а по телу словно бегают чьи-то ледяные пальцы. Да, он прав, абсолютно прав. Но что мне с этим делать? Я как та домохозяйка, которая видит, что в доме разгром, хочет навести порядок, но не знает, с чего начать, не уверена, хватит ли ей на это жизни и думает: «Может, лучше и не пытаться?» Ненавижу его! Залез без спросу в дом моей души, сфотографировал меня без моего ведома сидящей на унитазе и ковыряющей в носу, а теперь размахивает этой фотографией у меня перед носом и говорит: «Вот это — ты. А теперь сама скажи, можно тебя любить или нет?» Да кто он такой? Как он смеет? Чего добивается?!

— А знаешь, — говорит он, — когда твой папа рассказывал про ваш медовый месяц в Стамбуле, у меня было сильное желание взять его за руку, подвести к спальне, открыть дверь и сказать: «Шломо, она здесь, но тебя это не касается», — а потом отвести обратно в гостиную и как ни в чем не бывало продолжать беседу. Уверен, он бы это проглотил. Он еще и не таких лягушек проглатывал. Ты даже не представляешь, что люди способны глотать.

— Но ведь после этого он уже не смог бы сказать, что он счастливый человек.

— Чепуха, — пренебрежительно отмахивается Арье. — Он скажет это, даже если ты умрешь. Как ты не понимаешь? Он счастлив не потому, что жизнь была к нему благосклонна — ты знаешь, что это не так, — а потому что сам решил быть счастливым. Поэтому его счастье не связано с тобой. Он счастлив не потому, что у тебя хороший муж и ты ездешь с ним в Стамбул. Его счастье не имеет к тебе никакого отношения вообще. Соответственно тебе и не надо от него ничего скрывать. Ты зря боишься, что это сделает его несчастным. И от мамы ничего скрывать не нужно, и от мужа. Правда — это лягушка, которую люди переваривают довольно легко. Не лишай их правды.

— Но дело же не только в том, что я чувствую ответственность за их счастье. Я еще и боюсь последствий: я не знаю, как они будут после этого ко мне относиться.

— Да, есть такое дело. Но в действительности это пустяки. Потому что, если кто-то не готов принять тебя такой, какая ты есть, он все равно из твоей жизни исчезнет. Глупо из-за этого притворяться.

— Но ведь я и сама толком не знаю, какая я. Утром я смелая, а вечером трусливая, утром готова порвать мир в клочья, а вечером хочу мужчину, который меня защитит.

— Так найди мужчину, который будет готов вечером тебя защищать, а утром — отпускать. Только помни, что все возможно. Мир — это система гораздо более открытая, чем тебе кажется. По сути, весь мир — это огромные открытые ворота, которые только и ждут, что ты в них войдешь.

Арье говорит все это так самоуверенно и безапелляционно, словно он бригадир рабочих, которые делают у меня в доме ремонт («эту стену надо сломать, ванную нужно перенести сюда»), и меня это ужасно бесит. Как будто речь идет не о такой проблематичной, жалкой, беспомощно трепыхающейся материи, как душа, а о простом кирпиче. Как он может так говорить? Как может так ошибаться? Впрочем, может быть, он и прав, а ошибаюсь я. Может, и в самом деле нужно жить так, словно мы кирпичи? Ремонтировать свою жизнь в соответствии с нашими меняющимися потребностями и не позволять душе нам мешать? Помню, как во втором или третьем классе учительница спросила меня, какие у человека есть внутренние органы. Я сказала: «Душа», — и весь класс заржал.

Я смотрю на широкоскулое, освещенное ночником лицо Арье, на его полуприкрытые глаза, на с удовольствием посасывающие «лекарство» губы, и мне становится ужасно грустно. Так грустно, словно я пью грусть из огромной пивной кружки и никак не могу осушить ее до дна. И чем дальше, тем моя тоска

становится все нестерпимее. Господи, какая безнадега... Чем больше Арье пытается убедить меня, что все двери передо мной открыты, тем больше дверей передо мной закрывается, да еще и с грохотом. Потому что частью моей жизни он себя явно не считает; это ясно, как божий день. Он всего лишь бригадир ремонтников. Пришел ко мне только для того, чтоб отремонтировать мою квартиру, но своим домом ее не считает и жить в ней не собирается. Да и Йони в этом своем далеком Стамбуле... Он тоже уже, наверно, не считает себя частью моей жизни, и вообще никто. Никто частью моей жизни уже не является. Теперь эта жизнь только моя и больше ничья. Что ж, наверно, это справедливо: я бы тоже из нее с удовольствием сбежала. Только как ты из нее сбежишь? Ведь она дается тебе еще до того, как у тебя появляется собственная комната...

— Давай немножко поспим, а то уже утро почти, — говорит Арье.

Я ложусь с ним рядом, утыкаюсь плечом в его пахнущую сосновой смолой, клейкую от пота подмышку, и он меня вдруг обнимает. Боже, как это приятно. Тело у него мягкое и сладкое, как горячая каша зимним утром.

— Скоро лето, — говорю я, глядя на бесцеремонно просачивающийся сквозь жалюзи холодный сизый свет.

— Да, — говорит он.

— Ненавижу лето.

— Я тоже.

— И зиму ненавижу. Вообще, когда думаешь о будущем с точки зрения смены сезонов, оно кажется безнадежным.

— Оно кажется безнадежным со всех точек зрения вообще, — вздыхает Арье, и мне вдруг хочется, чтоб мы остались в этой комнате с опущенными жалюзи навсегда. Будем прятаться в ней от смены сезонов, как люди прячутся в убежище от бомбежек, и вечно лежать в этой кровати.



Сколько я ни пытаюсь, заснуть мне так и не удастся: во-первых, просачивающийся сквозь жалюзи свет становится все ярче и ярче, а во-вторых, меня все раздражает: и храп Арье (у него вообще такое хриплое дыхание, что даже когда он не спит, кажется, что он храпит), и то, что он, как и я, ненавидит лето и зиму, и тот факт, что мы вместе прячемся от сезонов. Потому что раньше несчастной была только я одна, а теперь — и он тоже; таким образом, несчастья стало в два раза больше и мы с ним стали товарищами по несчастью. Оба сидим в убежище, а в окно к нам пытаются ворваться горячие пустынные ветры и противные дожди, от которых нас защищают только тонкие решетки с сердечками.

Арье приподнимается и тянется через меня к телефону. «Ага, решил, наверно, понежничать со своей возлюбленной. Ну что ж, послушаем», — думаю я, притворяясь спящей. Однако вместо того, чтоб позвонить, он берет коробку с конфетами. Я слышу, как он разрывает на ней целлофановую обертку, открывает, вынимает конфету, а затем раздается противное чавканье. Господи, до чего же он смешон! Строит из себя духовного пастыря, а собственные душевные раны лечит, лопаая старые шоколадные конфеты, которые не успела съесть его покойная жена. Но тут вдруг мне его становится жаль. Бедненький, наверное, не может уснуть; видимо, и в самом деле переживает. Просто днем это не так заметно, как ночью. У меня снова возникает ощущение, что я пью грусть из кружки. Держу в руках разбитую пивную кружку и пью.

В этот момент слышится негромкий, но резкий хруст. Арье, как ошпаренный, вскакивает с кровати и, чертыхаясь, бросается в ванную. Слыша, как он что-то там сплевывает, я тоже бегу за ним, а вбежав, вижу в раковине разжеванную шоколадную конфету.

— Суки! — злобно бормочет Арье, пытаясь найти что-то в коричневой жиже. — Сволочи! Косточки им трудно из вишен вынуть! Ну ничего, они у меня попляшут! Я на них сегодня же в суд подам!

С этими словами он достает из раковины обломок зуба, открывает рот, начинает осматривать его в зеркале и искривляет свои темные губы, в результате чего его лицо становится похоже на трагическую маску. Я тоже смотрю в зеркало и при слабом утреннем свете вижу, что один из его желтых от никотина передних зубов сломан. С этой нелепой гримасой на лице он кажется мне сейчас полной противоположностью юноше, который так самоуверенно улыбался мне с фотографии.

Нервно разбрызгивая вокруг себя воду, он начинает умываться, но ругаться при этом не перестает, однако поскольку он делает это, все время трогая своим толстым темным языком дырку в зубе — как будто пытается ее заткнуть, — то ругается он шепеляво, как семилетний мальчик, у которого выпал молочный зуб, и меня это ужасно смешит.

— Вот увидишь! — шепелявит он угрожающе. — В восемь утра я позвоню своему адвокату и вчиню им иск о возмещении ущерба. Я не позволю им над собой издеваться! Вот увидишь! — повторяет он, словно я выразила в этом сомнение, а затем возвращается в спальню, зажигает свет и начинает внимательно рассматривать коробку с конфетами, но, увидев, что на ней имеется предупреждение о том, что в вишнях, которыми начинены конфеты, есть косточки, со злостью швыряет коробку вверх, и маленькие круглые шоколадные конфетки рассыпаются вокруг. Часть из них падает на пол, часть — на кровать, а одна закатывается мне под руку, как птенец, пытающийся спрятаться под моим крылом. Я сжимаю ее в кулаке, жду, пока она подтаит, кладу себе на живот и начинаю ее по нему размазывать, словно это не живот, а кусок хлеба, на который я намазываю шоколадную массу.

Это меня немного успокаивает. Потому что очередной приступ гнева Арье вывел меня из равновесия и я снова чувствую себя виноватой: ведь конфеты оказались в спальне по моей вине. Как быстро портится погода наших отношений... По идее, мы должны были бы сейчас бурно заниматься любовью (и если бы действительно это делали, Арье не сломал бы себе зуб), но вместо этого едим. Как мыши, вылезаящие по ночам, чтоб чего-нибудь погрызть.

— Какой кретин принес эти конфеты в больницу?! — не может успокоиться Арье. — Он что, хотел, чтоб Жозефина сломала себе зубы, что ли? Вот увидишь, я опрошу всех, кто ее посещал, и найду этого гада!

Он гневно взмахивает рукой, а я вспоминаю маму. Когда она приходила в отчаянье и говорила: «Ничего-то у меня не выходит! Ну, совершенно ничего не выходит!» — меня это всегда ужасно бесило; поэтому я не говорю Арье: «Ничего-то у меня не выходит!» — а продолжаю размазывать по животу конфету и, когда от нее остается только вишня с косточкой, кладу ее во впадину пупка...

...«смотри, какой у меня сладенький животик», — говорю я, видя, что арье наконец-то перестал ругаться, беру его руку и кладу на липкий живот; сначала он ее отдергивает, но потом в глазах у него просыпается интерес; он подносит к животу нос, обнюхивает его, высовывает свой мясистый язык и начинает меня вылизывать, после чего берет еще несколько шоколадных «птенцов» и мажет мне ими внутреннюю сторону бедер; приятно удивленная тем, что он так охотно откликнулся на мой призыв, я поначалу с радостью отдаюсь его ласкам и начинаю страстно извиваться; нет, правда, разве это не здорово? у него умерла жена, сломался зуб, а он по-прежнему полон энергии и готов к подвигам; однако, чем дальше, тем больше меня начинает мучить ощущение, что это совсем не то, чего я ждала; потому что я думала, что меня ожидает

потрясающее эротическое наслаждение, а вместо этого чувствую себя женщиной, которой почему-то вылизывают живот; кто в этом виноват — арье или я сама, — я не знаю, но он, к моему удивлению, ничего не замечает и упрямо — как будто ему в его возрасте больше заняться нечем — продолжает меня лизать, приговаривая: «тебе это нравится! тебе хочется, чтоб тебя вылизывали, как кошку!»; от его языка у меня уже саднит все тело, но он все лижет, лижет, лижет, и я начинаю стонать; не портить же ему удовольствие; «тебе нравится, когда тебя трахают, как кошку?» — спрашивает он; «да!» — отвечаю я со стоном; по правде говоря, я в этом далеко не уверена, но, с другой стороны, разве не для этого мы сейчас здесь находимся; когда он ставит меня на четвереньки и входит сзади, мне кажется, что это, скорей, похоже на издевательство, чем на наслаждение, но, когда он с силой тянет меня за волосы, словно призывая мою непослушную голову к порядку, я вдруг начинаю входить во вкус; однако именно в этот момент он кончает, издает вопль — напоминающий больше не крик наслаждения, а грязное ругательство — и из меня выходит...

Он выжат, как лимон. Пот капает с него, как вода из только что постиранных носков. После стирки мама складывала носки в таз и отправляла меня развешивать их на улице — на проводах, натянутых меж двух столбов, — но на эти стоявшие на фоне гор столбы я не могла смотреть без страха. Мне казалось, что по проводам проходит электричество и, когда я начну развешивать на них мокрое белье, меня убьет током. «Наверно, мама хочет от меня таким образом избавиться», — думала я, видя, как она подсматривает за мной из окна, потому что вид у нее был такой, словно она со мной прощалась, но в конце концов я говорила себе: «Будь что будет!» — и начинала развешивать. Я вешала носок за носком и смотрела на горы. Они были невысокими, и в них не было ниче-

го величественного, но они казались мне какими-то нереальными. Особенно по утрам, когда из-за них поднималось солнце, и по вечерам, когда они сливались с багровым небом. От этих гор меня отделяли сады и засеянные морковью поля, но я находила там не только морковь. Иногда, например, попадалась и клубника...

— Где он?! — орёт вдруг Арье, резко садясь на кровати.

— Кто?

— Зуб! Обломок! Куда я его положил? Я должен показать его дантисту!

Мы зажигаем свет и начинаем лихорадочно искать. Ищем под подушками, ищем под одеялом; наконец я встаю с кровати и отправляюсь искать в ванную. Может, он забыл его на раковине?

Но тут Арье кричит:

— Стой! Не шевелишь! — и я застываю, чувствуя себя Вениамином, у которого вот-вот найдут драгоценную чашу\*. Я невиновна, но обвиняющий перст направлен на меня — прямо мне в спину, — и никакие оправдания уже не помогут. Арье же — словно леопард, собирающийся наброситься на зайца, — осторожно ко мне подкрадывается и достает пропавший обломок зуба из расщелины между моими ягодицами.

\* \* \*

Я стою в ванной (куда отправилась по инерции, поскольку все равно собиралась туда идти), принимаю горячий душ, смывая с себя этот чертов шоколад, и сама на себя злюсь. Ну почему, почему я всегда все порчу?! Почему я осталась холодной, когда Арье воз-

---

\* Имеется в виду рассказываемая в книге Бытия (гл. 44) история о том, как Иосиф велел домоправителю подложить в мешок своего брата Вениамина серебряную чашу, а затем обвинил братьев в ее краже.



будился? Он ведь так меня вылизывал! И вдруг чувствую, что от воспоминания о вылизывании начинаю возбуждаться. Когда это происходило на самом деле, меня это совершенно не волновало, но теперь, когда я вижу это в своем воображении... Вот всегда у меня так. Когда я что-то представляю или вспоминаю, на меня это действует сильнее, чем когда я переживаю это в действительности. Возможно, это связано с тем, что в своем воображении я могу полностью контролировать происходящее. Но тут вдруг горячая вода заканчивается и моим сладостным воспоминаниям приходит конец.

Я вытираюсь полотенцем Арье, возвращаюсь в спальню и вижу, что он спит. Рот у него приоткрыт, язык прикрывает передние зубы, а на раскрытой ладони лежит обломок. Не раздумывая, с той внезапной радостью, которая настигает тебя только в минуты абсолютного горя, я дрожащей рукой беру у него с ладони драгоценный обломок — обломок, которому нет и не будет замены, — возвращаюсь в ванную, бросаю его в унитаз, некоторое время смотрю на окружающие его крошечные, почти невидимые пузырьки воды и спускаю воду. Обломок исчезает. Все! Больше мы с Арье его никогда не увидим! Так что можно сказать, что мы снова товарищи по несчастью — крошечному и еле заметному, как пузырьки воды...

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я лежу в кровати и думаю о том, что все кончено. Нет, здесь мне не место, да и вообще нигде. И вдруг...

...в спальне начинается дождь; можно подумать, что у меня над головой нет ни потолка, ни крыши; мне страшно хочется вылезти из превратившейся в водную западню кровати, сбежать от тяжелых отсыревших подушек, от ставших мокрыми и топкими, как трясина, одеял, но я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, ни шеей; меня поливает дождь, а я лежу, как мешок с костями, и слышу женский голос, который спрашивает: «какой это дождь? первый дождь в году или последний, который бывает в конце зимы?»; это голос матери, разговаривающей с сыном; «иди посмотри, зацвела ли дримия, появились ли уже трясогузки и покрылись ли поля синим люпином», — просит она его; через несколько лет он возвращается и говорит: «видимо, тогда этот дождь был последним, потому что поля были синими, как море, и из-за ветра казалось, что они покрыты волнами»; «хорошо, что ты вернулся, — говорит ему мать. — но у меня сейчас новая семья»; «так возьми меня в свою новую семью», — просит сын; «но у тебя карие глаза, а у нас — голубые, — отвечает мать. — как ты докажешь, что ты наш?»; «я вырву себе глаза и вставлю вместо них синие люпины!» — плачет он; «уди! — беззвучно кричу я,

потому что мои губы отказываются шевелиться. — не вырывай себе свои замечательные карие глаза! я их люблю! я твоя мама, уди! ты меня не помнишь? неужели ты забыл, как я долгими часами неподвижно сидела на веранде?»; «ты не моя мама. ты просто становишься на нее все больше и больше похожей», — говорит он, глядя на меня сияющими глазами уди шайнфельда, брата моей школьной подруги орита...

...И тут вдруг перед глазами у меня всплывает лицо их мамы, Мазаль Шайнфельд, которая умирала, сидя на веранде.

\* \* \*

Меня всегда удивляло, что имя у нее сефардское, а фамилия ашкеназская, и я считала, что именно это предредило ее судьбу. Если бы, думала я, она вышла замуж за мужчину с другой фамилией, то не умирала бы сейчас в таком молодом возрасте на виду у всех, сидя на веранде в кресле-качалке, превратившемся в ее смертное ложе.

Когда мы с Орит возвращались из школы, изда- лека Мазаль казалась нам беззаботной, отдыхающей на кресле курортницей, но, когда подходили ближе, сразу становилось ясно, что она тяжело больна. Поэтому что прикрывавшая ее белая простыня не шевелилась, ни одна конечность под ней не двигалась, а ее — когда-то смуглое, но сейчас уже светло-серое — йеменское лицо со впалым ртом было застывшим, как маска. Только слабый хрип свидетельствовал о том, что она еще жива.

Пройдя мимо нее, мы открывали деревенскую, затянутую сеткой дверь, бежали на кухню, бросали свои тяжелые, провонявшие напитком «Темпо» и клейкие от жвачек «Базука» ранцы, в которых во время ходьбы постукивали цветные карандаши, Орит доставала свежий хлеб, делала — себе, брату и мне — бутерброды, мы этими бутербродами обедали и шли играть с

Уди. За хлебом каждое утро ходил именно он. Пробегал, весело посверкивая своими карими глазами, мимо веранды, где сидела Мазаль (на этой веранде она даже спала), а через некоторое время, тоже бегом, возвращался с хлебом. Она заболела сразу после его рождения, и он никогда не видел, как она ходит.

Иногда я у них ночевала, и по утрам Орит тоже делала нам бутерброды.

Она слегка прихрамывала, но это ее не портило, даже придавало какой-то шарм. Не помню уже, почему именно она хромала, но на ноге у нее был большой шрам; по-видимому, он имел к этому какое-то отношение.

Когда их папа, Гидеон Шайнфельд, возвращался с работы, он любил смотреть, как мы играем. Садился, прислонялся к стене, и из его просторных шорт цвета хаки выглядывала тонкая длинная мошонка. Нас с Орит это страшно сместило.

Во время шивы я приходила к ним каждый день. Сидела с Орит и Уди, разглядывала фотографии их красивой молодой мамы и наблюдала за их папой, который носился по дому и подавал гостям угощение. Между ног у него болталась светлая мошонка, и я представляла, как темнокожая красавица Мазаль держит ее в своих смуглых руках. Я воображала, как она ее оттягивает, взвешивает, и пыталась понять, чем он ей так понравился. Потому что волосы у него были жидкие, а губы слишком тонкие, отчего лицо казалось злым. Тем не менее пережитая им трагедия делала его в моих глазах привлекательным, и я мечтала, что когда подрасту — когда мне будет лет пятнадцать-шестнадцать, — он в меня влюбится. Я передумала жить, буду спать не с Орит, а с ним самим, а через несколько лет, когда мне вдруг станет трудно двигаться и держаться за его мошонку, меня отправят сидеть на веранду. А ведь мне тогда еще не будет и двадцати.

Но сбыться всем этим моим мечтам было не суждено, потому что после шивы мне с Орит дружить

расхотелось. Без кресла-качалки на веранде их дом стал гораздо менее интересным, а она со своим свежим хлебом мне наскучила. «Сколько уже можно есть эти бутерброды?» — думала я. В результате я перестала к ним ходить.

Чувствовала я себя, правда, из-за этого ужасно: мне казалось, что когда-нибудь я буду за это наказана — и до сих пор это меня очень мучает. Каждый раз, как я вижу на улице очаровательно прихрамывающую молодую женщину, пристыженно опускаю глаза, хоть и знаю, что Орит давно не хромает: уже много лет тому назад мне сообщили, что ей сделали операцию. Никогда не забуду, как она смотрела на меня, когда мы встречались, и как я делала вид, что этого не замечаю. Когда же Уди подходил ко мне на переменах, терся, как кот, об мою ногу и упрашивал прийти к ним поиграть в нашу любимую игру («Ты будешь моей мамой, а Орит — папой»), я врала, что занята, и даже не решалась дотронуться до его стриженных каштановых волос: боялась заразиться. Это была вторая причина, по которой я перестала к ним ходить. Пока их мама болела, я этого не боялась, но, когда она умерла, вдруг испугалась. Мне казалось, что ее болезнь не ушла вместе с ней в могилу, а осталась жить у них в доме и ищет себе новое тело, которое можно парализовать...

\* \* \*

...И вот теперь она его нашла.

Много лет я не вспоминала про семейство Шайнфельд, но сегодня, заключенная в этой спальне, в доме моей скорби, вдруг увидела перед собой карие глаза Уди. Из-за этого мои руки и ноги теперь не шевелятся.

Я плачу. Плачу от раскаяния, несмотря на то что они меня не слышат. Я виновата перед вами, Орит и Уди, мои лучшие друзья, семья моя. Наказание, кото-



рого я ждала, настигло меня, и я больше никогда не буду ходить. Скоро меня положат на носилки, отнесут к маме и папе, и им придется угадывать мои желания. Правда, как они будут это делать, непонятно; ведь даже когда я могла говорить, это получалось у них с трудом. Что же они будут делать теперь, когда я онемела? Наверно, будут сидеть у моей кровати и читать мне разные истории. Наподобие той, что я слышу сейчас. Я ее прекрасно знаю, и читает ее мне хорошо знакомый, сдержанный мамин голос:

— И пришел Иов к царю Давиду домой, и сказал: «Ты постыдно повел себя сегодня перед всеми слугами своими, спасшими сегодня и тебя, и сыновей твоих, и дочерей твоих, и жен твоих, и наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя, но ненавидишь любящих тебя. Ты вел себя сегодня так, словно у тебя нет военачальников и слуг. И понял я сегодня: если б Авессалом сегодня остался в живых, а мы бы умерли, ты бы считал, что это справедливо. А теперь встань, выйди к своим слугам и попытайся их уговорить. Потому что Богом клянусь, если ты к ним не выйдешь, ни один из них с тобой сегодня ночью не останется, и беды, которые постигнут тебя, будут хуже всех бед, постигших тебя с юности твоей и до сих пор»\*.

Да, я знаю, что Иов упрекает здесь не меня, а Давида, но упрек его адресован и мне. Как я могла ненавидеть любивших меня Орит, Уди и Йони? Ведь они — плоть моя; они — это я сама. Но ничего, сейчас ко мне выйдет царь Давид, сядет у ворот\*\*, и свет примиренья прольется на расколотую страну...

Тут я вдруг слышу прерывающийся от волнения голос Арье.

— Ты была моим радио, — говорит он кому-то, а затем, обращаясь к кому-то еще, повторяет: — На вой-

---

\* Вторая книга Царств, 19:5—7. Перевод Б. Борухова.

\*\* «И встал царь Давид и сел у ворот; и возвестили всему народу, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ, и предстал пред царем» (Вторая книга Царств, 19:8). Перевод Б. Борухова.

не она была моим радио. Когда меня ранило, она десять дней сидела у моей постели и читала мне вслух ТАНАХ. Других книг в госпитале не было.

— Да, и поначалу он совсем не разговаривал, — говорит мама. — Я даже не знала, слышит ли он меня. Врач говорит: «Никуда от него не отходи и каждые полчаса меняй ему жгут». А знаешь, как я понимала, что он меня слышит? Иногда я пропускала в тексте то или иное слово, и у него искривлялись губы.

— Да-да, — смеется Арье, — ведь я попал на войну вскоре после иешивы. Поменял, так сказать, «огонь Торы» на огонь сирийских пушек. А уже на следующий день, еле живой, валялся в госпитале и слушал — стих за стихом — текст все той же Торы. «Похоже, она тебя преследует, — сказал я себе тогда. — От нее не убежишь».

— Через десять дней, — продолжает мама, — я стала опускать последние слова в каждом стихе, а он договаривал их до конца, и только тогда я наконец-то услышала его голос. А через несколько лет, в университете, в корпусе «Терра-Санта»\*, смотрю: знакомое лицо. Я подхожу и говорю, как пароль: «Беды, которые постигнут тебя, будут хуже всех бед, постигших тебя». А он отвечает: «С юности твоей и до сих пор». Так я поняла, что это действительно он. Потому что к тому времени мы оба очень изменились. Ведь когда его доставили в госпиталь, он был совсем мальчишкой, да и мне тогда только-только шестнадцать исполнилось. Ребята из нашего класса гибли, как мухи. Ну а через неделю все кончилось\*\*, и нам го-

---

\* «Терра-Санта» — построенное францисканцами в 20-е годы прошлого века здание в центре Иерусалима, где с 1949 по 1999 год располагались некоторые факультеты и отделы Еврейского университета. В настоящее время — приют для паломников.

\*\* Мать Яары имеет в виду сражение с сирийцами в Иорданской долине в первые дни существования Государства Израиль. Это сражение длилось неделю и закончилось поражением Сирии.

ворят: «Идите домой, стройте свою жизнь, учитесь, создавайте семью, растите детей». Но как после этого жить? Когда вокруг так много горя, что невозможно дышать. Да еще с такими тяжелыми, тянущими тебя в прошлое воспоминаниями. Еще недавно у тебя их не было, а теперь вдруг есть.

— Ну а как только я выздоровел, то сразу из Иорданской долины сбежал, — говорит Арье. — Так что мое пребывание там оказалось хоть и смертельно опасным, но коротким. В мирное время я там не бывал; не успел я туда попасть — как сразу получил ранение; а через два месяца я снова вернулся в Иерусалим, правда, уже с инвалидностью. Поэтому иногда мне кажется, что вся эта война мне приснилась.

Я сажусь в кровати и тру глаза. Потому что мне кажется, что весь этот разговор мне тоже снится. Ведь раньше я слышала разговоры только через стену и дверь, а теперь слышу говорящих так ясно, словно они находятся рядом со мной.

Тут мама говорит:

— Как приятно сидеть на балконе.

— Да, — говорит Арье, — перед тем, как Жозефину положили в больницу, она часто здесь лежала.

— Какой прекрасный сегодня день. Первый день весны... — говорит еще один женский голос.

И я вдруг понимаю, что голоса доносятся с балкона. А я даже и не знала, что снаружи есть балкон.

Сквозь щели в жалюзи я выглядываю наружу и вижу, что балкон тянется от спальни до гостиной, а они сидят, удобно расположившись вокруг круглого плетеного столика. По-видимому, им надоело слушать французское щебетанье, и они решили уединиться в тесном кругу. Расположились на балконе и делятся военными воспоминаниями.

У меня такое ощущение, что я сижу в театре и смотрю спектакль. Зритель, правда, в зале только один, я сама, но зато актеров — несколько (кстати, через жалюзи я разглядела и третьего участника разговора:

это Тирца). Интересно, а не для моих ли ушей этот спектакль предназначен? Может, они специально вышли на балкон, чтоб я могла лучше их слышать? Или же мама и Тирца о моем присутствии все-таки не догадываются? Как бы там ни было, но поначалу то, что я слышу, большого впечатления на меня не производит, потому что говорят они вещи известные и само собой разумеющиеся. Да и слушать я на самом деле ничего не хочу. Не хочу и не могу. Потому что у меня все парализовано, даже уши. Главное, что меня поражает, — это то, что я слышу их так хорошо и что мне не приходится напрягать слух, чтоб расслышать их слова через стену. Их разговор подают мне, как завтрак в отеле, прямо в номер. Это кажется каким-то чудом. Однако постепенно я начинаю понимать, что то, о чем они говорят, — это, по сути, разгадка мучающей меня загадки.

— А что же Шломо? — спрашивает Тирца.

— Он уже приходил выразить соболезнования. Вчера. Правда, Ари? — обращается мама к Арье так фамильярно, словно они близкие люди.

— Нет, я имею в виду, как Шломо себя тогда повел? Ну, в «Терра-Санта», когда вы все трое там встретились.

— Ну, — говорит Арье, — стоим мы, значит, с ним, и вдруг подходит девушка — красивая такая, с косой — и говорит: «Беды, которые постигнут тебя, будут хуже всех бед, постигших тебя». А я — машинально, даже сам не понимая, что говорю — отвечаю: «С юности твоей и до сих пор». «Кто это?» — спрашивает Шломо. «Не знаю, — говорю. — Честное слово, не знаю», — и вдруг понимаю, что это та самая медсестра из Иорданской долины. Ну и... Шломо моментально в нее влюбился. Я видел это по его глазам.

— А помнишь похороны Элика? — спрашивает Тирца маму с неприятным смешком. — Весь поселок тогда ушел на похороны, а когда люди стали возвращаться обратно, один мужчина застукал жену с

другим человеком. Все стали относиться к ней, как к шлюхе, игнорировать, и через две недели она утопилась в море.

— Да, она была очаровательна, — отвечает мама. — Думаю, ее возненавидели не столько из-за того, что она изменила мужу — потому что он был козел, — а из-за того, что она сделала это в день похорон Элика. Из-за того, что воспользовалась тем, что весь поселок был в трауре. Она и сама себе, наверно, не могла этого простить.

Уши у меня начинают болеть. Я не хочу слышать продолжение этого разговора. Так как не хочу из-за него потерять свою маму, которая вдруг стала мне сейчас невероятно дорога. Не желаю ничего этого слышать, подобно тому, как муж не желает знать, что жена ему изменяет, потому что тогда ему придется ее выгнать. Поэтому я затыкаю уши одеялом и снова вспоминаю, как мама читала мне перед сном ТАНАХ.

\* \* \*

«Ты ей хоть трудные слова объясняй, что ли, — говорил папа. — Она ж ничего не понимает». — «А понимать и не надо, надо слушать», — отвечала мама, и я просто ее слушала. Голос у нее был мелодичный, читала она эмоционально, и на грустных местах мы обе плакали. Как только она начинала плакать, я сразу к ней присоединялась, чтоб ее поддержать. Я, конечно, не понимала, почему ей грустно, но верила, что у нее для этого есть убедительные причины. Больше всего мы плакали на истории царя Давида и его сына Авессалома. Потому что это была история, которая не могла кончиться хорошо. Она могла кончиться хорошо только в том случае, если б не началась вообще, но поскольку начаться ей было все-таки суждено, то печального конца избежать было невозможно, так как победитель был и самым большим проигравшим. Читая плач Давида по Авессалому, мы каждый раз



ревели заново, и, когда у меня родился брат, было совершенно очевидно, что мама назовет его Авессаломом, но папа воспротивился. Помню, как они спорили об этом целую неделю, вплоть до церемонии обрезания. Когда же моэль\* спросил, как они его назовут, мама спросила его в ответ: «Авессалом?» — как будто просила одобрить ее выбор, — а папа промолчал. Однако прожил Авессалом так недолго, что мы даже не успели его ни разу этим длинным именем назвать, и впервые оно прозвучало только у его могилы, когда папа читал этот жуткий плач Давида. Я думаю, так он мстил маме за ее выбор — как бы бросал ей в глаза публичное обвинение, — и с тех пор я ни разу не видела, чтоб она открывала ТАНАХ. Какое-то время я по инерции все еще просила почитать мне перед сном, особенно когда болела, но мама отказывалась. «Я тебе не радио», — грубо отвечала она.

\* \* \*

Со временем от бесконечных ссор и курения мелодичный голос мамы стал хриплым, но сейчас, когда они беседуют на балконе, он у нее вдруг снова стал мелодичным.

— Поразительно, — говорит она задумчиво. — Иногда какой-нибудь пустяк, которому ты не придаешь значения, сопровождает тебя потом всю жизнь. Взять, например, историю про Давида и Авессалома, которую я читала Арье, когда мне было шестнадцать. Она повторилась с каждым из моих детей. Только для меня она разделилась на две истории: с Яарой я сражалась, а Авессалома потеряла.

— Что значит «ты с ней сражалась»? — спрашивает Тирца. — По-моему, это как раз она с тобой сражалась.

— Не важно, кто начал, — говорит мама. — Вопрос в том, вступить в войну или нет. Давид тоже войну не

---

\* Моэль — ритуальный хирург, производящий обрезание.

начинал. Но он не смог ее избежать. А ведь он мог от всего отказаться и, не сражаясь с Авессаломом, отдать царскую корону ему. Но он этого не сделал. Да, — добавила она со вздохом, — вот что бывает, когда воюешь со своими детьми. Из этого сражения нельзя выйти победителем. Даже если победишь — все равно проиграешь.

Мамины слова потрясают меня до глубины души. Я не понимаю, о чем она говорит, но знаю, что это надгробная речь, в которой она кого-то или что-то оплакивает: то ли меня, то ли себя, то ли наши отношения. Однако поражает меня не только содержание их разговора, но и то, как они друг с другом общаются. Потому что они разговаривают, как близкие друзья. А ведь еще позавчера, на кладбище, мама и Тирца говорили об Арье гадости. Что же это значит? Как такое может быть? Ведь мама всегда говорила о нем с ненавистью, чуть не с омерзением. Странно, но почему-то загадки никогда не разгадываются. Почему-то они всегда становятся еще загадочней. Тебе кажется, что ты все уже поняла, но выясняется, что это не более, чем иллюзия. Тем не менее мне ужасно нравится, как они беседуют: говорят как друзья, ничего друг от друга не скрывают... Никогда не слышала, чтоб мама и папа так разговаривали. Они всегда говорят, как два осторожных дипломата, и мама старается не сболтнуть лишнего. Как будто боится, что, если сообщит папе какую-то информацию, признается, что в чем-то раскаивается, расскажет, что ее мучают угрызения совести, он обязательно использует это против нее.

— То есть я так понимаю, Шломо и Арье были соперниками? — спрашивает Тирца.

— Нет, — вздыхает мама. — Думаю, все было predetermined заранее.

— А я думаю, прошло слишком много времени, чтоб сейчас точно вспомнить, как все это было, — говорит Арье.

— Как это все-таки здорово: стареть, — смеется мама. — Каждому, кто переживает по поводу возрас-

та, надо объяснять, что через тридцать лет это покажется ему смешным. Только когда ты смотришь на вещи с расстояния в тридцать лет, лишь тогда ты понимаешь, как к ним надо относиться.

Мама говорит все это очень громко, как будто хочет, чтоб я ее услышала, и у меня снова возникает подозрение, что все это подстроено. Наверно, она все-таки знает, что я нахожусь в спальне и специально устраивает для меня это шоу. Непонятно только зачем. Хочет представить мне улучшенную версию событий? На что-то намекнуть? Что-то сообщить?

Я сажусь, подкладываю себе под спину подушки, чтоб удобней было сидеть (руки и ноги у меня опять шевелятся; может, паралич Мазаль Шайнфельд все-таки в меня не переселился? может, он подождет еще пару-тройку лет?) и продолжаю смотреть спектакль на балконе. Мне нравится в этом авангардистском «кроватьном» театре. Актеров видно только через жалюзи, и сидящая на кровати публика должна самостоятельно восстанавливать недостающие подробности. Вот мамино коричневое платье. Оно всегда ей шло, и я без труда его узнаю. Сквозь жалюзи ее профиль кажется красивым — красивее, чем выглядит обычно; жалюзи ей явно льстят. Тирца же, в отличие от нее, кажется сквозь них более уродливой: какой-то толстой и неповоротливой. А вот и Арье. Он напоминает мне огромного кота. Не кот — а прямо царь котов какой-то. Причем прирученный. Впрочем, уже в следующий момент он кажется мне не прирученным, а диким: спинка стула, к которой он прислонился, становится похожей на его торчащий вверх длинный хвост — и даже сквозь жалюзи я ощущаю огромную силу его притяжения. Они беседуют очень спокойно; в их словах нет ни горечи, ни обиды; и я ощущаю себя девочкой, подслушивающей разговор помилившихся родителей. «Теперь, — думает девочка, — я могу быть уверенной, что утром, когда я проснусь, они оба будут дома и в хорошем настроении». И так мне приятно слушать этот разговор, что я засыпаю.

Когда я просыпаюсь, на балконе уже никого нет, плетеного столика не видно, а лучи солнца больше сквозь жалюзи не проглядывают, и я начинаю сомневаться, что все это произошло со мной на самом деле. Если б не подушки за спиной, я бы подумала, что все это мне приснилось. Никогда, никогда не прощу себе, что заснула! Как я могла?! Закрывать глаза буквально за минуту до того, как правда вышла на свет! Я ведь больше всего на свете хотела досмотреть этот устроенный для меня спектакль до конца! Но именно конец-то как раз и проспала. Теперь я никогда не узнаю, чем кончилось! Спросить-то ведь не у кого. В зрительном зале, кроме меня, никого.

На тумбочке возле кровати стоит круглый поднос со стаканом апельсинового сока, свежей булочкой и красным термосом, но налить кофе не во что: Арье забыл принести чашку. Вот незадача. Что же мне делать? Я подношу термос ко рту, чтоб отхлебнуть из горлышка, но он пахнет то ли духами, то ли губной помадой, и я вспоминаю, как в последнее утро своей жизни Жозефина красила губы розовой помадой с блеском. Ее губы сверкали тогда на измученном лице так, словно не имели к нему никакого отношения и не хотели вместе с ним умирать. А что, если они в самом деле не умерли?! Что, если они спрыгнули с ее лица и перебрались в этот маленький, начищенный до блеска термос? И вот теперь в приготовленном для меня океане кофе, подобно пельменям в бульоне, плавают нежные, почти бесплотные, похожие на лепестки цикламена губы, и через мгновение, когда я наклоню термос, они соприкоснутся с моими собственными губами, прирастут к ним и никогда больше с них не сойдут.

Я с отвращением заглядываю внутрь термоса, но лицо мне обжигает горячий пар и в горлышке из-за него ничего не видно. Тогда я иду в ванную и начи-

наю медленно сливать кофе в раковину. Может, мне удастся слить вместе с ним и губы? Печально льющаяся в белую раковину и исчезающая в ее пересохшей от жажды глотке ароматная коричневая струя быстро иссякает: сначала превращается в капель, а потом перестает литься вообще — но губы из термоса так и не выливаются. Я заглядываю внутрь, но там темно и ничего не видно. Тогда я несколько раз наполняю термос водой и несколько раз ее выливаю. С каждым разом — по мере того, как термос очищается от остатков кофе — вода становится все более и более прозрачной, но губы так и не появляются, и я возвращаюсь обратно в спальню.

\* \* \*

«Как близка я была к кофе и как далека от него сейчас! — с отчаянием думаю я, глотая апельсиновый сок. — Так же, как от правды. Еще недавно она была так близко от меня: я почти вплотную приблизилась к маминой молодости, ее прошлому... И вот эта правда снова от меня отделилась. Потому что прошлое, оно как Арье: в какой-то момент это — кот, которого приручили, а в другой — кот дикий, страшный и воющий по ночам. Так или иначе, но оно призывает меня его изменить, и я должна это сделать. Я и никто другой. Я, которая с трудом способна изменить что-то даже в настоящем (не говоря уж о будущем), именно я и должна починить прошлое. Ведь из-за того, что в прошлом что-то сломалось, сломалась и я сама, и, только починив прошлое, я смогу починить себя. Если же починить его невозможно, значит, нельзя починить и меня. Между тем подслушанный мной сегодня разговор на балконе — мирный и размеренный разговор, подобного которому я никогда не слышала в нашем доме, — свидетельствует о том, что нормальная жизнь возможна, что распавшуюся на осколки жизнь можно склеить, подобно тому, как



воссоединились два обрывка стиха при встрече мамы и Арье. Впрочем, как исправить прошлое, если его не знаешь? Если с мыслью о том, что нам неизвестно наше будущее, примириться еще как-то можно, то с мыслью, что ты не знаешь прошлого, жить гораздо труднее».

Я беру расческу, подхожу к зеркалу, как будто решение всех моих проблем находится именно в нем, и — впервые с тех пор, как сюда попала — начинаю расчесывать волосы. Я расчесываю их до тех пор, пока они не приобретают красивый блеск, а затем заплетаю их в косу — такую же длинную и толстую, как та, что когда-то перебралась с маминой головы в ящик шкафа и валяется там с тех пор завернутая в газету, словно это не коса, а купленная на рынке рыба. В последний раз я видела эту блестящую, гладкую, толстую косу на маминой голове в тот вечер, когда они с папой вернулись из больницы вместе, когда на стене дома напротив плясали тени листьев, а в окнах извивалось пламя ханукальных свечей. Утром косы уже не было. «Что ты с собой сделала?» — спросила я, увидев, какой уродливой и мужеподобной стала вдруг мама: без косы ее голова казалась голой и лысой. «Отрезала косу, — сказала она. — Не желаю больше быть красивой». — «А где она?» — спросила я. «В мусорке», — ответила мама. Но уже через несколько месяцев, когда я по какой-то надобности полезла в шкаф, я ее нашла. Она лежала там завернутая в газету. Она была толще и длинней, чем та, что у меня сейчас, но очень на нее похожа. Я пыталась приставить ее к своей голове — привязывала к волосам платком, закрепляла резинкой — но все напрасно: она прямо соскальзывала с моего затылка, как если бы у нее были собственные планы на будущее. Как хорошо, что, в отличие от маминой, моя собственная коса не пытается от меня сбежать. Благодаря ей мне хочется гордо распрямить спину и любить Арье так, словно я — это не я, а моя мама.

Перед глазами у меня словно прокручивается черно-белый фильм: молодая девушка с белым лицом и черной косой идет по узкому университетскому коридору, видит двух молодых людей — черного и белого, — узнает в одном из них парня, за которым ухаживала в госпитале во время искалечившей их юность войны, и, когда два обрывка стиха из ТАНА-Ха соединяются в единое целое, Арье вдруг всё вспоминает. Вообще-то я и раньше слышала историю о юном солдате, которого тяжело ранило и с которым мама просидела десять дней — она рассказывала мне об этом несколько раз, хотя имени солдата не упоминала, — но если это и в самом деле был Арье и если он действительно был ранен так тяжело, то почему у него на теле нет ни единого шрама? Можно еще понять, почему на нем не видно следов женских поцелуев, но почему нет следов ранения? И не с этим ли ранением связано его бесплодие? Не про эту ли инвалидность он говорил?

Со страхом и жалостью я представляю себе его большое, красивое, бесплодное и навсегда обреченное быть печальным тело. «А что, если именно на меня возложена эта миссия: заполнить образовавшуюся в его теле из-за бесплодия пустоту? — думаю я со страхом человека, осознавшего всю тяжесть возложенной на него задачи. — Что, если именно я должна проникнуть в его тело, как в древнюю пещеру, просочиться сквозь смутную, гладкую, столь любимую мной кожу внутрь, погрузиться в абсолютную тьму и больше никогда не видеть света солнца?»

Порывшись в чемодане, я нахожу в нем мамину фотографию, смотрюсь в зеркало и сравниваю себя с ней. А что? В общем-то мы похожи. И косы у обеих, и выражение лиц одинаковое, серьезное такое. «Мам, — хочется мне ее спросить, — почему же ты этого не сделала? Почему не попыталась его утешить? Ты же его любила». Я вдруг понимаю это совершенно ясно. Возможно, благодаря тому что мои волосы заплете-

ны в косу. Да, она его любила! Тем не менее, как ни странно, никакой неприязни из-за того, что она всю жизнь любила не папу, а другого человека, я к ней не испытываю. Наоборот, мне это даже нравится: ведь она любила хоть кого-то. Все лучше, чем не любить никого вообще и не знать, что такое любовь. Но как же она могла так жить? Любить Арье, зная, что это безнадежно, и — в отличие от меня (которая за ним бегала и всюду его подкарауливала) — абсолютно ничего не предпринимать? Как можно всю свою жизнь, день за днем, плавать в океане, где нет ни единого островка надежды, на который можно забраться? Какой же все-таки ее жизнь была пустой. Ведь всегда наступает такой момент (я чувствую, что он подкрадывается и ко мне тоже), когда понимаешь, что уже никогда ничего не изменится, когда уже нельзя себе сказать: «Когда-нибудь появится мужчина, которого я полюблю» или «Когда-нибудь у меня будет жизнь, которую я буду любить», когда уже ясно, что никаких перемен к лучшему не будет, что это конец и что твоя жизнь всегда будет примерно такой же, как сейчас. Тогда все блекнет и тускнеет; сияние, которое придает всему смысл, гаснет; а ты чувствуешь себя голой и стыдишься своей наготы. Когда это происходит, то в первый момент хочется умереть, потом — плакать, а потом ты говоришь себе: «Ну и ладно, лишь бы только хуже не было».

\* \* \*

Сидя на кровати, я поглаживаю свою тяжелую косу так, словно это не коса, а кошка, представляю, что эта коса не моя, а мамина, и чуть не физически ощущаю, как мама несчастна, но тут дверь открывается, и на пороге появляется Арье. Он в синей летней рубашке с короткими рукавами, верхние пуговицы которой — в точности как в день, когда я его увидела впервые (только тогда был конец лета, а сейчас оно еще не началось), — расстегнуты, и на его широкой смуглой

груди торчат несколько седых волосков, подчеркивающие его смуглоту. Глаза у него сияют так, будто они светятся светом маминой любви, а в руке он держит большую синюю — под стать рубашке — чашку.

— Забыл, — говорит он, улыбаясь с закрытым ртом, чтоб не выставлять напоказ сломанный зуб, ставит чашку на поднос, берет термос и пытается налить из него в чашку кофе, но, обнаружив, что тот пуст, усмеивается, как если бы я сделала что-то смешное, и спрашивает: — Ты что, уже все выпила?

— Да, — отвечаю я, но, поскольку кофе мне по-прежнему хочется, мгновенно поправляюсь: — В смысле, нет.

— А что ты с собой сделала? — спрашивает он, разглядывая меня так пристально, что по привычке мне хочется спрятаться за ширмой своих волос, но тут я вспоминаю, что заплела их в косу, и с ужасом понимаю, что прятаться некуда. «Господи, теперь он увидит все мои морщинки и веснушки», — в отчаянии думаю я и вдруг вижу, что лицо у него искажается. Неожиданно он грубо хватает меня за мою роскошную косу, срывает с нее резинку, вырывая при этом несколько волосков, и расплетает ее с такой яростью, словно я одержимая, из которой он изгоняет бесов, а затем устало опускается на стул и вопит:

— Убирайся отсюда к чертовой матери! Мне осточертели твои шуточки!

Это продолжается от силы несколько секунд, но мне кажется, что проходит вечность, что я вижу происходящее в замедленной съемке. От ужаса мне становится трудно дышать, я вся дрожу и не могу пошевелиться, как будто я — это не я, а парализованная Мазаль Шайнфельд, а Арье вскакивает со стула, пинает мой чемодан ногой и орет:

— Хватит с меня! На этот раз ты перешла все границы!

Видя, что он тоже дрожит — хотя, возможно, мне это только кажется, потому что у меня такое ощущение, что весь мир сейчас дрожит, — я медленно встаю

с кровати, медленно одеваюсь, медленно складываю свои вещи обратно в чемодан, не забывая на этот раз и про книгу, медленно его застегиваю и медленно направляюсь к двери (я делаю это все так медленно, потому что мне кажется, что к ногам у меня привязаны тяжелые гири, и, сколько я ни пытаюсь двигаться быстрее, у меня не получается), но, когда я уже стою на пороге, Арье садится на кровать и закрывает лицо руками.

— Почему ты надо мной издеваешься? — спрашивает он уже более спокойно. — Чего ты добиваешься?

— Я ничего не добиваюсь, — говорю я. — Я ничего не знаю и ничего не понимаю.

— Я ненавижу эту косу!

— Но почему?

— Потому что нельзя любить змею, которая пыталась тебя укусить!

— Арье, я не понимаю.

— Ты что, правда ничего не знаешь? — спрашивает он, глядя на меня, как ребенок на взрослого, снизу вверх.

— Честное слово, клянусь тебе.

— Я ненавижу ее потому, что с ней разгуливала твоя мама. Строила из себя этакую гордую принцессу. Я даже помню, как эта ее роскошная коса раскачивалась у нее при ходьбе. Я ненавижу эту косу потому, что она напоминает мне, как твоя мама играла нашими чувствами.

— Но как же так? — спрашиваю я, пораженная тем, что он сказал. — Она же тебя так любила.

— Любила? — горько усмехается он. — Она любила только себя. Я был для нее всего лишь ностальгическим воспоминанием о войне, стихом из ТАНАХа, который мы оба знали наизусть. Но относиться ко мне всерьез? Такое ей даже в голову не приходило. Я был для нее шахор\* с сомнительным прошлым и

---

\* Шахор («черный» — ивр.) — оскорбительная кличка евреев, эмигрировавших в Израиль из стран Востока и Африки.



неясным будущим, выходец из бедного восточного квартала. Не то что твой — выросший в привилегированном ашкеназском районе Иерусалима и закончивший престижную школу — папенька. У меня, в отличие от него, не было родителей-врачей родом из Германии. Знаешь, что она мне сказала? — Он говорит это с такой обидой, словно всё это произошло вчера. — Сказала, что любит меня, но хочет детей. Дети — вот что ей было важно. Но я же получил ранение, и она знала, какие у него могут быть последствия. Узнала об этом даже раньше меня, еще когда начала за мной ухаживать; врачи ей все про это рассказали. Иными словами, она сказала мне, что я не вписываюсь в ее будущее, понимаешь? В то будущее, о котором она мечтала, когда у нее еще была коса. Она хотела выйти замуж за здорового устроенного мужчину, родить много детей, иметь нормальную семью. Я ее умолял, говорил: «Рахель, нельзя отказываться от любви; ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь», — но она считала, что она сам с усам, и, даже не потрудившись меня известить, вышла замуж за моего лучшего друга. Ну а я... Я бросил учебу, уехал из Израиля и на прощанье их проклял: пожелал им, чтоб у них никогда не было детей. Когда я узнал, что твой папа заболел и бросил университет — время от времени до меня доходили про них всякие новости, — я ему тогда искренне посочувствовал, но при этом подумал: так ей и надо. Она полагала, что всё уже на мази, что ее план идет как по маслу, ан нет; и впоследствии, каждый раз, как я встречался со своими израильскими друзьями и спрашивал, родила ли она, я видел, что мое проклятье работает. Но когда ты все-таки родилась, она меня победила и прямо в тот же день попросила твоего папу сообщить мне об этом в Париж. Как будто хотела мне этим сказать: ну, кто из нас был прав? А я говорил с ним по телефону и думал: «Наивный ты парень. Думаешь, я за вас рад. Ничего-то ты не понимаешь».

— И в тот день ты познакомился с Жозефиной?

— Да. А ты откуда знаешь? — удивляется Арье, но, не дожидаясь моего ответа, продолжает: — Жозефина хотела меня любой ценой, и в этом была она вся: она умела любить, не ожидая ничего взамен. Готова была поступиться чем угодно, лишь бы быть со мной. Даже ребенком ради меня пожертвовала, понимаешь? А ведь он уже был у нее в животе. Поэтому я и остался с ней до самого конца. Думаешь, твоя мама не пыталась меня вернуть? Еще как пыталась. Когда твой папа сделал ей ребенка и стал ей больше не нужен, она вдруг поняла, что не может без меня жить, что любит только меня, и заявила ко мне с коляской, в которой спала ты. «Давай, — говорит, — жить вместе и вместе воспитывать Яару; будешь ее отцом». Но я не смог ее простить: не мог забыть, как она меня прогнала — и радовался тому, что ее жизнь не удалась. Когда же умер Авессалом, я знал, что это ее наказание, и она это знала тоже. Поэтому и не хотела меня столько лет видеть. Я знаю, я не должен тебе все это рассказывать, но когда я увидел тебя с косой... Все как-то снова полезло наружу, как рвота.

Его рассказ меня потрясает. Он настолько непохож на то, что я себе представляла, что я с трудом улавливаю смысл его слов и даже не пытаюсь вникать в подробности. Но Боже, с какой злостью он все это говорит! Каким он сейчас выглядит мстительным, злопамятным, безжалостным! Видимо, он действительно ее так и не простил, ничего не забыл... Нет, это какая-то ошибка; не может быть, чтоб все было, как он рассказывает. Ведь Жозефина говорила совсем другое; она сказала, он обрадовался, когда я родилась. Так обрадовался или нет? Этот вопрос вдруг выходит для меня на первый план: я не в силах жить с мыслью, что в день моего рождения он расстроился.

Он закуривает, ложится на кровать и закрывает глаза, а я смотрю на его перекошенное от злости лицо и думаю о маме, о том, как она много лет его ненавидела. Разумеется. Когда люди, предназначен-

ные друг для друга, расстаются, они изменяют своему предназначению и приговаривают себя к жизни, полной ненависти и обвинений. А на самом деле виноваты в этом не мама, и не Арье, а все мы. Она — потому что отказалась от своей любви; папа — потому что заставил ее поверить, что она будет с ним счастлива; я — потому что из-за меня мама отказалась от любви к Арье, а я ей взамен ничего не дала; Арье — потому что отказался вернуться к ней, когда она этого хотела; а Жозефина — потому что доказала Арье, что существует настоящая любовь.

Я вижу, как огромное цунами вины затапливает весь мир, и от этого цунами некуда бежать. Можно даже и не пытаться. Это так же бесполезно, как выходить с игрушечным пистолетом на бой против армии, у которой есть ядерное оружие.

Я ложусь в постель спиной к Арье. Не хочу его сейчас видеть. Он стал мне вдруг противен. Как долго я об этом мечтала, как хотела все узнать! И вот наконец-то моя мечта сбылась: мне подали информацию, как еду на блюде, и с виду она была очень аппетитная. Однако когда я ее съела, оказалось, что это какая-то гадость, и у меня сейчас такое ощущение, будто я отравилась.

— Прости меня, — мрачно говорит Арье. — Я не должен был этого делать. Ты все время вынуждаешь меня терять над собой контроль. И вообще, я думаю, нам больше нельзя оставаться вместе: мы действуем друг другу на нервы. Вечером, когда все разойдутся, я отвезу тебя домой.

Он встает с кровати, медленно раздевается и идет принимать душ, а я слушаю, как течет вода, и думаю про снеговика из сказки, которую когда-то мне читала мама. Когда этот снеговик испачкался, его стали мыть водой и он растаял; исчез, как будто его никогда и не было. Самого этого снеговика я очень полюбила, но то, как с ним поступили, меня глубоко возмутило. «Зачем они стали его мыть?!» — недоуме-

вала я, сочувствуя бедному снеговiku. «Потому что он испачкался в грязи», — объяснила мама. «Но ведь лучше, чтоб он был грязным, чем чтоб его не было вообще!» — «Но они хотели, чтоб он был чистым». — «Но ведь это невозможно! — злилась я. — Они хотели невозможного! А тот, кто хочет невозможного, теряет всё!»

Потом я начинаю разглядывать коробки с конфетами, из-за которых Арье сломал зуб, и думаю о маме. Я представляю, как жизнь распахивает перед ней свои ворота, но тотчас же их захлопывает, а мама стучится в них, умоляет, чтоб ее пустили, но уже поздно. Одна ошибка влечет за собой другую, и в конечном счете получается ошибочная жизнь. Она отказалась от Арье, чтоб родить меня и Авессалома, но так нас ненавидела, что Авессалом от ее ненависти умер, а я так и не смогла устроить свою жизнь. С другой стороны, если б она выбрала Арье, а не нас с Авессаломом, я бы никогда не родилась и осталась бы нереализованной возможностью, невыполненным обещанием, коробкой со сладкими конфетами, которую так никто и не открыл. Наверное, каждый раз, как я будила ее по ночам, расстраивала, не делала уроков, хамила, она думала о цене, которую заплатила. И все это из-за обрывков стихов, которые так и не соединились в единое целое. Как ампутированные конечности, которые не удалось пришить. По той же причине заболела Жозефина. Арье был благодарен ей за ее любовь, но этого ей было мало. Она хотела не благодарности, а любви, только любви. Однако его способность любить загнила, как загнивает без света, солнца и воздуха стоячая вода в водоеме. Что же он мог ей дать? И что он может дать мне? Остатки своей застарелой обиды? Покрывшуюся вонючей плесенью радость победы над слабой женщиной? Но эта победа больше похожа на поражение. Нет, больше мне здесь делать нечего. Вечером я уйду и отправлюсь туда, куда поведет меня мой чемодан. Пусть он

ведет меня за собой, как собака-поводырь ведет слепого. Потому что я тоже сейчас слепая: чем больше у меня раскрываются глаза, тем меньше я вижу.

Сквозь шум льющейся воды я слышу голос Арье, который с чувством поет псалом «Мы сидели на берегах рек вавилонских и плакали, вспоминая Сион»\*. Голос у него печальный, но при этом звонкий и молодой. Такое впечатление, что он специально остается молодым, чтобы позлить мою сильно сдавшую маму. Чтобы, видя его, она вспоминала прошлое и понимала, что мужчина ее мечты не просто жив, но еще и с каждым годом становится все более и более недоступным.

— Яара! — кричит Арье и, не дожидаясь моего ответа, просит: — Принеси мне полотенце.

Смотри-ка, уверен, что я еще не ушла...

Я открываю шкаф и вижу, что все вещи там аккуратно свернуты, а полотенца, как доски, уложены в штабеля. Я беру лежащее сверху черное полотенце, но оно увлекает за собой полотенце, лежащее под ним, и то падает на пол. Я поднимаю его, пытаюсь сложить заново, но у меня ничего не получается, и в конце концов я несу в ванную оба.

— А второе кому? — язвительно улыбается Арье. — Тут что, есть кто-нибудь еще и он тоже попросил полотенце?

— Да, представь себе, — говорю я, понимая, что он намекает на Яффо, и перед глазами у меня возникает мой дорогой Йони.

Я вижу, как он стоит мокрый в ванне, ждет, пока я принесу полотенце, и дрожит от холода. Потому что когда я от него уходила, была зима. Наверно, так там до сих пор и стоит. Думает: сейчас она придет и меня оботрет...

---

\* ТАНАХ, книга «Теилим» («Псалмы»), 137:1 (пер. Б. Борухова). В православной Библии — псалом 136. «Сион» — город Иерусалим и Израиль в целом; по названию одной из иерусалимских гор.



Я укутываюсь — поверх одежды — в одно из полотенец и снова укладываюсь на кровать, а Арье выходит из ванной голый и подходит к шкафу.

— Ты с ней спал? — спрашиваю я, безуспешно пытаясь разглядеть у него на теле хоть какой-нибудь шрам.

Я вижу, что он меня слышит, потому что от моего вопроса его слегка передергивает (словно его тело — поверхность воды, покрывшаяся от ветра рябью), но вместо того, чтоб ответить, он резко оборачивается и спрашивает:

— Слушай, почему ты так заиклилась на прошлом, а? Почему бы тебе не спросить меня, собираюсь ли я спать с тобой? Когда слишком заикливаешься на прошлом, не остается времени на настоящее: невозможно заниматься и тем, и тем одновременно. Что тебе сейчас важнее: спал ли я тридцать лет назад с твоей мамой или собираюсь ли я сейчас спать с тобой?

— А ты что посоветуешь ответить? — растерянно смеюсь я, видя, как на меня надвигается его неожиданно выросший член. Такое впечатление, что сам Арье стоит на месте, а его член становится все длинней и тянется ко мне.

— Скажи правду.

— Мне важнее, спал ли ты с мамой.

Арье резко разворачивается, снова подходит к шкафу и начинает раздраженно одеваться.

— Но ты же сказал, я должна говорить правду.

— Сказал. Но за правду приходится платить. Ты этого не знаешь?

Я вдруг чувствую, что безумно его хочу, и чем больше на нем одежды, тем сильнее. Настолько, что глаза у меня заволакивает туман, а кожа горит так, будто я много часов пролежала на солнце. Почему я все время должна думать о маме? Ее уже не спасти, а мое счастье от меня вот-вот уплывет.

— Иди ко мне, — говорю я. — Я хочу тебя.

— А я уже не хочу и даже не могу, — говорит Арье, надменно глядя на меня сверху вниз, после чего подходит, показывает себе пальцем на ширинку и добавляет: — Вот, можешь сама убедиться, если хочешь. Он мертв. Больше его там нет. Для тебя я теперь женщина. Можешь считать, что у меня там не член, а влагалище.

— Он не может умереть так быстро, — с обидой говорю я, видя, что никакого буторка на брюках действительно нет. Как будто там совершенно пусто.

— Может. Представь себе.

— Только что ты меня хотел, а теперь вдруг нет?! — ору я в бешенстве. — Ты просто обиделся на то, что я сказала! Зачем ты тогда задаешь вопросы, если неспособен выслушать ответ?

— Это я-то неспособен?! — вскипает он. — Это ты неспособна поверить, что у меня на тебя не стоит!

— Врешь ты все! Правильно мама сделала, что за тебя не вышла! — визжу я, хватаясь за горло, потому что от крика оно у меня болит, в ответ на что Арье начинает громко и противно хохотать.

«Ничего-ничего, — думаю я, глядя на проникающий сквозь жалюзи оранжевый свет, — через несколько часов все это станет прошлым, и меня больше здесь не будет. Где именно я буду, я не имею ни малейшего понятия, но это не имеет значения. Главное, что меня не будет здесь! Потому что здесь все больное, больное...» Но тут, к моему удивлению, Арье, словно подслушав мои мысли, кричит:

— Из-за тебя тут все больное! Жозефина была воплощением здоровья, а ты распространяешь вокруг себя заразу и вынуждаешь меня вести себя так, что я себя ненавижу! Я больше не готов этого терпеть!

На какую-то долю секунды мне становится ужасно жалко, что, кроме нас, здесь больше никого нет — кого-нибудь, кто мог бы нас рассудить. Пусть даже это был бы кто-то из моих родителей. Но потом я думаю: а какая на самом деле разница, кто прав, кто

виноват? В любом случае ведь ясно, что больше мы находиться здесь вместе не можем и что мне надо отсюда выметаться. А то еще придут какие-нибудь новые гости, и я снова застряну здесь до самой ночи. Но вместо того, чтоб встать и уйти, я не сдерживаюсь и кричу:

— Ты врешь! Ты гнусный вун, вот ты кто!

— Ну, если я такой плохой, — снова расхохотавшись, говорит Арье, — тогда что ты здесь делаешь? Зачем я тебе нужен?

— А ты мне и не нужен! — кричу я. — Лучше б я с тобой никогда не встречалась!

— Вот и не встречайся. Кому ты нужна.

— А зачем ты тогда позвонил и сказал, чтоб я пришла?! — воплю я. — Ты мне всю жизнь сломал своим звонком!

— Кто позвонил? Я позвонил? Это ты мне позвонила и сказала, что хочешь прийти. Ты что, действительно считаешь, что я стал бы тебе звонить? Да еще в день, когда похоронил жену?!

Тут я не выдерживаю и набрасываюсь на него. Я испытываю такую ярость, что уже ничего не соображаю. Мне хочется разорвать ему рот, сказавший эти мерзкие, лживые слова, вырвать ему с корнем губы, но Арье валит меня на кровать и снова повторяет слова, которые я не в силах слышать.

— Я тебе не звонил! — кричит он, не давая мне встать. — Я тебе вообще никогда не звонил! Я даже не знаю твоего номера телефона! Я никогда тебе не звонил!

Но тут звонит дверной звонок и начинается вторая половина третьего дня поминок по Жозефине Эвен.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Если бы раньше меня спросили: «Что легче? Драться или заниматься любовью?» — я бы, разумеется, сказала: «Второе», — но сейчас, когда я, задыхаясь от ненависти, лежу в кровати Арье, мне кажется, что драться легче. Потому что моя ненависть гораздо сильнее, чем любовь. Кроме того, у нее намного меньше сомнений и она больше уверена в своей победе.

Я накрываюсь пуховым одеялом, яростно подминаю под себя мягкие подушки — как если б это были губы Арье, выблевавшие гнусные слова, — и мои силы благодаря ненависти словно удваиваются...

...я лежу с плотно закрытыми глазами, потому что все, что я вижу, вызывает у меня отвращение; каждый угол в этой спальне, ее белые стены, висящая на одной из них огромная картина, на которой изображен угрожающе нависший над городом черный подъемный кран, каждый предмет мебели, шкаф, который так и остался открытым, и даже жалюзи — жалюзи, которые уже два дня никто не поднимал, — все они вызывают у меня омерзение, потому что все они слышали слова арье, а все, что слышало его слова, все, что видело его безумную улыбку — настолько огромную, что его лицо могло бы уместиться в ней, как картина в раме, настолько широкую, что у него

даже губы потрескались и на них выступила капелька крови, — все, что при этом присутствовало, все — будь то человек или вещь — стало нечистым, нечистым навсегда; я пытаюсь заставить себя встать; «если тебе некуда идти, — говорю я себе, — это не значит, что ты должна здесь оставаться; если ты сделала ошибку, это не значит, что ты должна в ней упорствовать»; но знание того, что ко всем деталям моей биографии, которые уже невозможно изменить и с которыми нужно просто жить (родилась тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, с таким-то и таким-то цветом глаз), что ко всей этой совокупности деталей добавилась сейчас еще одна (так что уже существующим деталям придется потесниться, уступить ей место и с ней подружиться), а именно: что в таком-то месяце и в таком-то году я, яра корман, совершила ужасную, изменившую всю мою жизнь ошибку, ошибку, которая превратила прошлое в вечную зону тоски по нему, настоящее — в кошмар, а будущее — в хищное животное, ошибку, с которой мне нужно учиться жить, как учатся жить с увечьем (причем это не просто увечье, а увечье, которое я нанесла себе сама, подобно человеку, который выстрелил себе в ногу и которому нужно жить с изувеченной ногой, подобно водителю, который садится в машину и давит самого себя — лежит у нее под колесами, но продолжает ехать, являясь одновременно и ответчиком, и истцом), — беспощадное и безусловное понимание этого факта настолько меня ужасает, что я не могу пошевелиться; я лежу и думаю о моем дорогом йони, о йони, которого навсегда потеряла; я думаю о его любви, которую сдернули с меня, как сдергивают скатерть со стола, и теперь этот стол выглядит жалким, голым, обшарпанным и покрытым пятнами; я вижу, как лицо йони перестает быть добрым и становится злым, слышу, как его ласковый голос становится суровым (как ни странно, это ему идет; как будто он всегда был таким и только ждал подходящего момента, чтоб стать самим собой), и он вежливо



объясняет мне, что в нем что-то сломалось и что мы уже не сможем вернуться к нашей предыдущей жизни, потому что медовый месяц в стамбуле ознаменовал для него конец нашего брака; «а ты знаешь, что турки когда-то владели почти всем миром?» — спрашивает он; «а может, мы попробуем еще раз? — говорю я. — расстаться же никогда не поздно»; «но все, что от них осталось, — продолжает он, — это следы былой роскоши и заплесневевшая гордость»; «йони, я искуплю свою вину, я все исправлю», — умоляю я его; но он говорит: «их правление было жестоким, однако теперь в стамбуле осталась только жестокость, без правления» — и на этом наш разговор заканчивается; я пакую свою заплесневевшую гордость, одежду и книги, а он укладывает в коробки собственные вещи (потому что никто из нас не хочет оставаться в этой квартире), и на половине коробок — его имя, а на второй половине — мое; на пороге он — мужественно и серьезно, как при заключении сделки — пожимает мне руку, и глаза у него при этом счастливые; нет, он не пытается меня этим обидеть или оскорбить; наоборот, он щадит мои чувства и ведет себя сдержанно; просто он счастлив, как человек, который освободился от своего ярма раньше, чем думал; и больше я его никогда не увижу, а от тех лет, что мы провели вместе, ничего не останется: ни ребенка, который бы ползал между нами, ни имущества, из-за которого можно было бы поссориться, ни-че-го; каждый уйдет с пустыми руками, как и пришел; и может быть, в один прекрасный день — когда мы случайно встретимся с ним на улице и пойдем посидеть в каком-нибудь маленьком кафе, — может быть, тогда он расскажет мне, как это было ужасно, когда он проснулся утром со сладким предвкушением предстоящей поездки, мысленно пробежался по списку всего, что нам еще нужно сделать (потому что всегда есть мелочи, которые оставляешь на последний момент), и вдруг заметил, что кровать рядом с ним пуста, и в ванной — никого, и на кухне, но он все-таки взял чемодан и поехал;

потому что йони — он такой: не любит менять своих планов; он не остался, чтоб плакать в кровати, а поехал, чтоб плакать в самолете, в гостинице, в движении, в отличие от меня, которая плачет неподвижно; потому что тот, кто плачет в движении, в конце концов спасается, а кто плачет без движения, тот гибнет, как я; это будущее, которое я вижу даже более ясно, чем прошлое, меня ужасает, и я знаю, что я его не перенесу; я просто обязана его предотвратить, обязана найти способ, как остановить этот катящийся на меня огромный камень, и первым делом надо встать с кровати; даже сидеть на унитазе — и то лучше, чем лежать в постели; но самое лучшее — стоять у окна...

...Я встаю, открываю окно — и на меня обрушивается пряный, душистый, волнующий запах весны. В палисаднике цветут цитрусовые деревья, и я вспоминаю окружавшие наш район сады.

Напоминавшие женихов и невест цветущие деревья заставляли меня мечтать о любви, а мысли о любви всегда лучше, чем она сама. Счастливая от одних только этих мыслей, я гуляла среди деревьев, залезала на маленький холм, смотрела с него на окрестности, и весь мир казался мне огромным бесконечным садом. «Когда я полюблю какого-нибудь мужчину, — думала я, — я приведу его сюда, покажу ему это чудо — и сразу станет ясно, будет он меня любить вечно или нет; даже и спрашивать ничего не придется, я вообще этого спрашивать больше никогда не буду».

А может, мне отвести туда Йони, когда он прилетит? Встречу его в аэропорту, увезу прямо оттуда — от всех этих его стамбульских мечетей — в «Сады Шарона» и на маленьком холме верну себе его сердце.

Я открываю чемодан, проверяю, все ли уложила, а затем осматриваюсь и думаю, как сбежать. Сейчас это уже нетрудно, потому что Арье так торопился, что, уходя, забыл запереть дверь. Конечно, он мог

сделать это специально, но в любом случае теперь я могу отсюда уйти. Пройду к выходу по коридору, не заходя в гостиную. Впрочем, могу и зайти. Зайду и с серьезным видом пожму ему руку. Как будто вышла из туалета для гостей. Только вот что делать с этим огромным чемоданом? Не оставаться же здесь из-за него.

Я медленно приподнимаю жалюзи балкона, который только сегодня обнаружила, и вдруг замечаю, что ключ от балконной двери висит на ручке. Висит и весело покачивается, словно именно меня уже несколько дней и поджидает. Я открываю дверь, выталкиваю чемодан ногой на балкон, снова опускаю жалюзи, а затем решительно выхожу из спальни в коридор.

Из гостиной доносятся ритмичные бормотания, словно кто-то тихо и сдержанно поет («Бог Всевышний, Который воздаст милостями благими и владеет всем, и помнит добродетели отцов, и приводит избавителя сынам сынов их...» — бормочут мужские голоса\*), а я осторожно прокрадываюсь к туалету, юркаю в него, сажусь, чтоб успокоиться, на крышку унитаза и осматриваюсь по сторонам. Этот крошечный и узкий туалет кажется мне сейчас спасительным островком посреди бурного моря, но чего здесь явно не хватает, так это женской руки: туалетной бумаги нет, а из унитаза воняет, как в общественном сортире — и у каждого, кто сюда войдет, не может не возникнуть вопрос, почему хозяин дома этого не замечает. Чем он в таком случае занимается?

Слышатся шаги: кто-то сюда идет. Я вытягиваю ноги, чтобы подпереть дверь, потому что ключа в замке нет, но даже мои — отнюдь не короткие — ноги до двери не достают. Тем не менее я продолжаю их тянуть, хотя шаги начинают отдаляться. Интересно,

---

\* Героиня слышит, как мужчины в гостиной читают молитву «Шмоне Эсре». Цит. по молитвеннику «Шивхей Геулим».

что здесь делают все остальные, когда их застают со спущенными штанами? Ведь у них всего два варианта: скакнуть к двери и подпереть ее, по пути испачкав самих себя, или прирасти к унитазу и ждать, пока кто-то войдет и увидит тебя во всем твоём великолепии. Странно, что хозяева дома ставят людей в такое трудное положение. Особенно Жозефина. От нее я этого не ожидала. По-моему, она должна была проявлять к гостям больше уважения. Может, именно поэтому она заболела и умерла? Ведь Храм разрушился из-за более мелких прегрешений. Я вспоминаю про драгоценную книгу, брошенную на произвол судьбы в недрах моего чемодана, спускаю воду, выхожу из туалета, и поспешно направляюсь к выходу — будто приходила выразить соболезнования, а теперь собралась уходить — но останавливаюсь возле гостиной, чтоб взглянуть на Арье. Он стоит в группе мужчин и, раскачиваясь, молится. Но тут из кухни выходит какая-то женщина и делает мне знак подождать\*.

— Молитва скоро закончится, — говорит она. — Можете пока посидеть здесь.

Я вхожу на кухню и сажусь на единственный свободный стул. Возле круглого стола сидят несколько женщин во главе с голубоволосой матерью Жозефины.

— Что будете пить? — спрашивает пригласившая меня женщина.

— Кофе, — говорю я, не веря своему счастью.

Стоило мне выйти из спальни — и кофе сразу перестал быть проблемой.

— Я сестра Арье, Айала, — улыбаясь, говорит она, проворно наливает кофе в большую чашку, ставит ее передо мной, а затем пододвигает ко мне сахар и молоко.

---

\* Чтобы сказать «подожди», израильтяне поднимают вверх большой, указательный и средний пальцы и складывают их в щепоть.

— Ваши родители любили животных,\* — говорю я и сразу пугаюсь, что сказала что-то не то, но Айала в ответ добродушно улыбается.

— Да. Я всегда им говорила: жаль, что вы не беспокоитесь о своих детях так, как переживаете за каждую уличную кошку. А хотите пирога?

Я благодарно ей улыбаюсь, а она, не дожидаясь ответа, подает мне узорную тарелку, на которой лежит аппетитно пахнущий светло-коричневый пирог с творожной начинкой, после чего — по-французски — предлагает его и матери Жозефины.

Айала — маленького роста и полная; у нее большая, выпирающая из-под свитера плотной вязки мягкая грудь, загорелое лицо, светящиеся, как у девочки, глаза, и она совсем непохожа на Арье. Единственное, что у них общего, — это толстые губы, но у него они — пепельные, а у нее — красные, и, когда она улыбается (а она, судя по всему, улыбается постоянно), возле глаз у нее собираются милые, как ямочки на щеках, морщинки. Она так ловко передвигается по тесной кухне и кажется мне такой очаровательной, что я не могу оторвать от нее глаз. «Господи, как она движется, как обо всех заботится, как со всеми приветлива, как шутит! — думаю я с восторгом и удивлением, молча прихлебывая свой кофе. — И откуда она только взялась, эта прелестная женщина? Почему я не знала о ее существовании раньше?» У меня такое ощущение, что если б я знала, что она существует, то вела бы себя иначе и изменила бы свое мнение о мире.

Я так на нее засматриваюсь, что даже не сразу слышу, как она ко мне обращается.

— Вы дочка Кормана? — спрашивает она, но, загипнотизированная ее губами, я не отвечаю. — Вы так похожи на свою маму, это просто потрясающе, — говорит она, видимо истолковав это как «да». — Я

---

\* Арье и Айла на иврите значат соответственно «лев» и «олениха».



помню ее примерно в вашем возрасте. Просто невероятно, как вы похожи. Вам только косы не хватает.

— Да, — говорю я, криво улыбаясь (потому что совсем не уверена, что быть похожей на мою маму — это хорошо), и, не удержавшись, добавляю: — Я бы предпочла быть похожей на вас.

— Это зависит только от вас самой, — говорит она, глядя на меня с жалостью. — Я тоже стала похожа на саму себя лишь после нескольких реинкарнаций.

«Если сегодня мне еще кто-нибудь скажет, что все зависит только от меня, я закричу», — думаю я, но от нее я готова терпеть все, что угодно, потому что она говорит это мягко и сочувственно. Мне хочется спросить ее, где она все это время была и почему не пришла навестить меня в мою тюрьму, но тут кухня заполняется мужчинами, и от их теней становится темно. Большинство из них я не знаю — узнаю только французского свояка Арье и Шауля (тот делает вид, что меня не знает, и быстро из кухни сбегает: боится, наверно, что все обо всем догадаются), но тут наконец-то появляется Арье.

— Пришла дочка Кормана, — говорит ему Айала, глядя на него с беспокойством, и мне становится страшно. Сейчас он на меня рассердится и скажет: «Как ты посмела без спросу вторгнуться на мою территорию?» Но его, судя по всему, это, наоборот, веселит.

— Дочка Кормана? Какой сюрприз! — говорит он, насмешливо глядя на меня, и, улыбнувшись, добавляет: — Я люблю такие сюрпризы, — после чего они с Айалой обнимаются, и я вижу, что на самом деле они все-таки похожи. Она выглядит как светлая сторона его личности, и рядом с ней он тоже кажется светлым. Светлым, мирным и спокойным.

— А ты разве не в Стамбуле? — спрашивает он. — Я слышал, ты поехала в Стамбул.

— Мы вернулись, — говорю я так, словно мы с Йони все еще супружеская пара, и чувствую, что краснею.

— Ну и как?

— Разочарована. Стамбул меня разочаровал. Я ждала большего.

— Ну, никогда не стоит ожидать слишком многого, иначе будут сплошные разочарования.

— Верно, — говорит Айала. — Картинка у тебя в голове всегда лучше чем то, что ты видишь глазами. Обычное дело.

— Тогда, может, лучше жить у себя в голове? Никуда не ездить и не встречаться с людьми? — говорю я.

— Но в таком случае никогда не повзрослеешь, — говорит Арье. — Потому что взросление — это как раз и есть разница между тем, что представляешь, и тем, что видишь на самом деле.

— А зачем нужно взрослеть? — спрашиваю я, видя, что Айала с любопытством за нами наблюдает. Ее чуткие ноздри дрожат, как животные, учуявшие опасность.

— Потому что, дочка Кормана, такова жизнь, — устало говорит Арье. — Отказываться повзрослеть значит отказываться от жизни.

Айала смеется, хлопает в ладоши, и мне, сама не знаю почему, кажется, что я в театре, но тут на кухню возвращается Шауль. Он пригнулся и что-то тащит.

— Арье, смотри, что мы нашли на балконе! — кричит он, и я с ужасом вижу свой чемодан. — Как ты можешь оставлять на балконе чемодан, полный вещей?

— Он не мой. Понятия не имею, как он попал на балкон, — говорит Арье, равнодушно взглянув на чемодан, и Шауль начинает опасно пятиться назад, словно чемодан вот-вот взорвется.

— Нужно вызвать полицию, — говорит он, после чего все остальные тоже начинают пятиться, и кто-то объясняет матери Жозефины, в чем дело. Та испуганно вскрикивает, но тотчас прикрывает рот рукой.

Какое-то время мы молча стоим возле чемодана — подобно тому, как стояли три дня назад возле свежей могилы Жозефины, — и мне становится так

плохо, что я не могу дышать. Я чувствую, что вот-вот грохнусь в обморок. У меня нет ни малейшего представления, как выходить из этого положения. Арье же смотрит на меня с насмешкой, и в глазах у него написано: «Ты сделала мне сюрприз, а я оплатил тебе тем же». Но тут я вижу лукавые глаза Айалы. Они смотрят сначала на меня, потом на Арье, после чего она хватая Шауля (который уже развернулся, чтоб идти звонить в полицию) за рукав, с наигранным удивлением восклицает: «Ой! Как же это я забыла? Это ведь мой чемодан!» — подходит к чемодану, берет его и ставит у стены.

— Не знаю почему, но я чувствую себя, как в театре, — говорит Арье и начинает лениво, снисходительно аплодировать.

Когда мужчины возвращаются в гостиную, на кухне остаемся только мы с Айалой да голубая старушка, которая хоть и убита горем, но выглядит все такой же ухоженной (причем, как ни странно, горе и ухоженность у нее хорошо сочетаются), и я снова жалею, что не знаю французского. Потому что с удовольствием задала бы ей несколько вопросов. Например, спросила бы, утешает ли ее тот факт, что она находится в конце жизненного пути. Потому что получить такой удар в расцвете лет, на мой взгляд, намного тяжелее, чем в конце жизни. Ведь тогда придется долго страдать. Я, например, прихожу в отчаянье, когда думаю, сколько мне еще осталось жить. Годы, которые мне предстоит прожить, кажутся мне страшными — один страшнее другого — драконами, на которых мне придется лететь туда, куда им заблагорассудится. Обнимать их за толстые, волосатые, противные шеи, зажиматься, чтоб не видеть их ужасных морд, и лететь на них, делая вид, что испытываешь восторг и радуешься жизни.

Я зажимаюсь, все еще ощущая, как лицо у меня горит от стыда, и вдруг чувствую на своей руке чью-то прохладную руку.

— Иди-ка ты домой, дочка Кормана, — говорит голос Айалы, — и никогда больше сюда не возвращайся. Даже если Арье позовет, не возвращайся.

— Не позовет, — говорю я печально (потому что, увидев Арье среди всех этих людей, снова почувствовала, как меня к нему неудержимо влечет) и открываю глаза.

Айала берет чемодан и выносит его на лестничную площадку. Вслед за ней туда выхожу и я.

— Жизнь вызывает у меня отвращение, — говорю я.

— Нельзя так говорить! Кто так говорит, вызывает отвращение у жизни, — шепчет она и по-матерински меня обнимает.

— А у вас дети есть?

— Есть. Но у моих детей нет матери.

За ее словами явно скрывается какая-то драма, и это кажется мне удивительным, потому что на кухне она показалась мне вполне удачливой и благополучной, но, не вдаваясь в дальнейшие подробности, она мило улыбается, разворачивается, распрямляет спину и возвращается к гостям.

\* \* \*

Когда я была маленькой, то считала это время суток самым страшным и боялась выходить на улицу: сгущавшиеся сумерки казались мне опаснее темноты. Когда мы с мамой оказывались в это время на улице, я крепко вцеплялась ей в руку и мне казалось, что мы никогда не вернемся домой, а когда все-таки возвращались, не верила, что это и в самом деле наш дом. У меня было такое ощущение, что это не дом, а какой-то хитроумный капкан, который только внешне выглядит, как дом. Я начинала тщательно осматривать свою комнату, заглядывая под кровать и в шкаф, а когда мама пыталась меня успокоить, с подозрением смотрела и на нее. Вдруг она тоже не моя мама, а капкан?

Я выглядываю из темного подъезда на улицу, и у меня возникает ощущение, что моя жизнь тоже превратилась сейчас в хитроумный капкан. Его клешни сжимают мне горло, как искусственные руки. Как будто кто-то с руками-протезами пытается меня задушить. Я знаю, что обязана высвободиться — потому что мне тяжело не только дышать, но и идти, — и, сев на ступеньки, хватаюсь за шею, чтобы разжать капкан, но тут вдруг понимаю, что он сжимает меня не снаружи, а изнутри, и пытаюсь засунуть руку в горло. На вкус она как рот Арье: горькая и острая. Кроме того, она все еще пахнет его сигаретами. Но в горло она не лезет: засунуть руку так глубоко невозможно.

В окнах домов напротив зажигаются желтые огни, а у меня дома уже три дня крошечная тьма. Как я могу сейчас туда вернуться и что увижу, включив свет? Наверное, я увижу там горе моего дорогого Йони, которое, как огромный разлагающийся труп, лежит на покрытом просевшими плитками полу и издает ужасную вонь. Я представляю, как прихожу домой, вижу, как соседи, почувствовавшие запах, советуются друг с другом, не взломать ли им дверь, и говорю: «Это не Йони. Это его горе. Оно больше, чем он, и это все, что мне от него осталось, потому что сам он уже не вернется».

Вечерний город шумит, как огромный завод. Я слышу, как родители зовут детей домой, как на сковородках переворачиваются омлеты, как ванны наполняются водой, и я бы сейчас все, наверно, отдала, чтоб меня приняли на этот завод обратно, но вдруг все эти звуки перекрывает крик. Прямо у меня над ухом — словно обращаясь ко мне — вопит мужской голос:

— Катись отсюда к чертовой матери! Я больше не готов это терпеть!

Я испуганно вскакиваю на ноги и оглядываюсь на дверь Арье, но тут открывается дверь напротив, из нее выбегает некое подобие тряпичной куклы —



с руками и ногами, но без силы воли и способности двигаться, — садится, тяжело дыша, рядом со мной и опускает голову на колени. Придвинувшись к ней поближе, я кладу ей руку на плечо, а она поднимает голову, смотрит на меня с отчаянием и снова ее опускает.

— Что случилось? — спрашиваю я, видя, что она меня узнала.

— Я больше так не могу! Я больше так не могу! — восклицает она, рыдая, а затем поднимает голову, кричит: «Там мой ребенок! Он заберет у меня ребенка!» — вскакивает, бросается к двери и начинает в нее колотить.

— Отдай мне Нури! — вопит она. — Отдай мне Нури!

Лицо у нее перекошено от рыданий, ее бьет крупная дрожь, но дверь не открывается.

Я встаю, подхожу к ней, обнимаю и шепчу:

— Не расстраивайтесь, я верну вам вашего ребенка.

Сама не знаю, почему я это сказала, но отступить теперь уже некуда.

— Я хочу моего мальчика! — воет она, глядя на меня с благодарностью. — Я не могу без него жить, а он не может без меня!

— Вы только расскажите мне, что случилось, и я вам помогу.

— Мы с ребенком ходили к ортопеду, потому что у мальчика проблемы с ногами, а когда вернулись, муж закатил мне скандал. Он думает, что я влюблена в этого ортопеда. «У нашего ребенка, — говорит, — нет никаких проблем с ногами. Ты все это выдумала, чтоб встречаться с любовником. Ты трахаешься с ним у ребенка на глазах». Нет, ну вы представляете?! Он даже пытается учить нашего сына разговаривать, чтоб тот мог на меня стучать. А ему еще шести месяцев не исполнилось!

Тут мы слышим, как у нее в квартире открывается окно. «Забирай свои шмотки, шлюха гребаная!» — вопит ее муж, и мы видим, что в палисадник возле

дома летит ворох одежды. На цветущих цитрусовых деревьях повисают блузки, лифчики и трусы.

— А вы действительно любите ортопеда? — спрашиваю я в надежде, что она скажет «да».

— С какой это стати? Он мне совершенно до лампочки, — отвечает она, и мне кажется, что она говорит правду; странно, что ее мужа это не убеждает. — Просто несколько лет назад я ушла от него к другому, и с тех пор у него бывают приступы дикой ревности. Иногда даже заявляет, что ребенок не его.

Лицо у нее снова перекашивается, она вытягивает руки и, глядя на меня с мольбой, говорит:

— Без ребенка мои руки пусты! Верните мне его!

— Но вы же говорили, он похож на мужа, — напоминаю я ей.

— Да, но муж говорит: раз ты спала со мной, но думала при этом о другом мужике, значит, ребенок не мой. А как я могу ему доказать, что ничего такого не думала?

Сказав это, она начинает плакать еще сильнее.

— Не волнуйтесь, — говорю я, слыша, как у них в квартире, словно эхо, плачет ребенок, и напряженно думая, что делать. — Мы его вызволим. Моя квартира сейчас пустует, и вы сможете там несколько дней пожить, пока все не образуется. А сейчас спрячьтесь куда-нибудь и не издавайте ни звука. Пусть он думает, что вы ушли. Я что-нибудь придумаю.

Дождавшись, пока она исчезнет, я звоню в дверь, но муж соседки не открывает. Видя, что он подглядывает в глазок, я звоню еще раз, уже настойчивей, и дверь наконец-то слегка приоткрывается.

— Что вам надо? — спрашивает он через щелку.

— Я из квартиры напротив, — говорю я, улыбаясь своей фирменной улыбкой, которая, как мне неоднократно говорили, вызывает у людей доверие. — У нас шива.

— Да, я видел траурное объявление, — говорит он, полностью открывая дверь и показывая пальцем на объявление, висящее на двери Арье.

Он низкого роста, и его хмурое лицо кажется мне знакомым.

— Нам не хватает мужчин для вечерней молитвы, и мы очень просим вас присоединиться\*, — говорю я, удивленно глядя на объявление, потому что позавчера вечером, когда я сюда пришла, его еще не было. Однако сейчас оно там висит, и это еще одно доказательство того, что все это мне не снится.

— У меня ребенок только что заснул, — говорит муж, показывая рукой в глубь квартиры, откуда уже не слышно детского плача.

— Не волнуйтесь, я с ним посижу. Это ведь всего на несколько минут.

— Но я не знаю, где моя кипа, — неуверенно говорит он.

Меня ужасно подмывает сказать: «Наверное, на дереве висит», — но вместо этого я улыбаюсь и говорю:

— Не волнуйтесь, вам там дадут. У нас их на всех хватит.

По его бегаящим глазам я вижу, что его все еще терзают сомнения, но в конце концов он вздыхает, говорит: «Ладно, не хочется срывать вам молитву», — и, оставив дверь открытой, идет в квартиру напротив, а я — как только за ним захлопывается дверь Арье — бросаюсь в детскую, хватаю ребенка, заворачиваю его в одеяло, выбегаю на лестничную площадку и вижу, что там меня уже поджидает его мать. Она выхватывает его у меня из рук, и мы — она с ребенком, я с чемоданом — бросаемся бежать.

Когда мы добегает до дороги, я вталкиваю ее в первое попавшееся кафе и, тяжело дыша, мы усаживаемся за столик. Мне кажется, что в таком месте ее муж нас искать не будет, а кроме того, я хочу по-

---

\* Согласно правилам иудаизма, совершать коллективную молитву можно лишь при наличии не менее десяти мужчин (миньяна).

тянуть время. Дело в том, что у меня вдруг пропало всякое желание вести ее к себе домой: вселится еще и откажется съезжать...

Кафе заполнено счастливыми, беззаботными, наслаждающимися жизнью людьми, и только у нас с ней, похоже, жизнь не складывается, но ведь еще несколько дней назад она тоже казалась мне беззаботной королевой красоты с ключом в одной руке и ребенком в другой, а вот поди ж ты, как все обернулось.

Она вынимает ребенка из одеяла, и на мгновение у меня замирает сердце, но на этот раз он выглядит совсем иначе. Как будто это совершенно другой ребенок. Глаза у него гораздо светлей, чем мне показалось в прошлый раз, почти голубые, и волосы не каштановые, а русые, так что на Йони он абсолютно непохож, однако на ее мужа, как ни странно, тоже, и мне вдруг становятся понятны его опасения. Ведь если даже я это заметила, то он тем более, а когда начинаешь подзревать, остановиться уже трудно. Поди узнай, чей этот ребенок на самом деле. Кстати, а почему это он вдруг так изменился? Нет, со временем дети, конечно, меняются, но измениться так сильно за столь короткое время?! Может, она торгует детьми? Может, она обманом вовлекла меня в преступный сговор и теперь меня посадят в тюрьму за соучастие в краже ребенка? И что, интересно, произошло с ребенком, у которого была прелестная овечья мордочка? С тем, которого она в прошлый раз держала на руках? Я бы, кстати, от такого сейчас не отказалась. Он бы напоминал мне о Йони...

— Вы даже не представляете, как я вам благодарна, — говорит она, и, не зная, что ответить, я только горько ей улыбаюсь, но тут перед нами вырастает молоденькая официантка в коротенькой мини-юбке. Ноги у нее длинные, и, глядя на нее, я с грустью думаю, что никогда не чувствовала себя молодой. Потому что всегда находились женщины, которые были еще моложе, и рядом с ними я чувствовала себя ста-

рой. Однако теперь, судя по всему, мои дела совсем уже плохи, потому что женщин, которые моложе меня, все больше, а тех, что старше, все меньше, и женщины в этом кафе — яркое тому подтверждение.

Меня начинает тошнить, и я прошу принести мне чай с лимоном, но соседка Арье заказывает то же самое, и меня это вдруг выводит из себя. У нее что, своих желаний нету? И вообще, вы только посмотрите на нее. Теперь, когда у нее нет ни крыши над головой, ни преданного мужа, куда подевалось все ее королевское величие? Да и ребенок этот ее... За пределами своей кровати он выглядит каким-то подкидышем. Оба они сейчас напоминают мне вынутые из рам картины. В рамках эти картины смотрелись великолепно, но, как только их оттуда вынули, они всё свое великолепие сразу утратили. Впрочем, я, с этим своим жалким потрепанным чемоданом, ничем не лучше их. Я тоже не что иное, как вынутая из рамы своей жизни картина, которая хочет вернуться домой и снова залезть в раму.

Ребенок плачет, и я решаю его рассмешить: беру за руку и начинаю рассказывать сказку, которую мама когда-то рассказывала моему братику. Даже и не знала, что все еще эту сказку помню. Когда братик ее слушал, он, разумеется, ничего не понимал, но всегда под нее успокаивался.

— Жил-был мальчик по имени Авессалом, — говорю я, — и был у него большой черный кот, которого звали Арье. «Почему твоего кота зовут Арье? — спрашивали его. — Это ведь все равно что назвать змею зайцем, а собаку — лисой», — но Авессалом не хотел никому ничего объяснять. Он знал, что его кот — царь кошек и заслуживает, чтоб его называли именем царя зверей, но боялся, что, если кому-то об этом скажет, над ним будут смеяться. «Докажи, — скажут, — что твой кот — царь кошек». Но как это доказать, он не знал: он это только чувствовал. А еще он чувствовал,



что сам он — сын Арье, и ему очень нравилось быть сыном кота...

Поразительно, но сказка срабатывает и ребенок мне улыбается, но, когда он от радости шевелит ножками, я вдруг вижу, что одна у него длиннее другой.

— А у него случайно нет проблем с ногами? — спрашиваю я.

— Есть. Мы же ходили к ортопеду.

— И что он сказал?

— Сказал, что все наладится.

Но мне почему-то верится в это с трудом. Потому что как такое может наладиться? И как вообще что-то может наладиться?

— По-моему, этот ортопед — жулик, — замечаю я.

— Вы говорите прям как мой муж.

Я вспоминаю ее низкорослого мужа, представляю, как, возвращаясь домой, он обнаруживает, что его ребенок исчез, и мне становится не по себе.

— И что вы теперь будете делать? — спрашиваю я.

— Не беспокойтесь, — говорит она, видимо почувствовав мою неприязнь. — Успокоюсь и вернусь домой. Муж тоже успокоится. Так что до следующего приступа все будет хорошо.

— А с этими приступами ничего уже поделать нельзя? — спрашиваю я, облегченно вздохнув и снова почувствовав к ней симпатию.

— Нельзя. Мне просто не надо было тогда от него уходить, вот и все. Потому что после этого он совершенно чокнулся.

— А может, вам не надо было к нему возвращаться, раз уж вы ушли? Кстати, почему вы все-таки вернулись?

— Не помню уже, — говорит она и зарывается лицом в плечико сына, подобно тому, как когда-то зарывалась в плечико Авессалома моя мама, и мне вдруг становится неприятно на нее смотреть. Потому что я не понимаю, как можно надеяться, что плечико

ребенка сотрет твои ошибки. Мало того что это отвратительно, так еще и жестоко.

Отвернувшись от нее, я бросаю взгляд в окно и вижу, что по улице бежит ее муж, на голове которого, как солнышко, светится белая кипа: видать, успел немножко помолиться, прежде чем понял, что его надули. Он ужасно похож на жука, и я вдруг понимаю, кого он мне напоминает: моего низкорослого, лишь на старости лет познавшего счастье дядю Алекса.

— Сюда идет ваш муж, — говорю я, и соседка крепко прижимает ребенка к груди, но по глазам ее я вижу, что она этому рада: ей явно приятно, что муж ее разыскивает. Завидно. Меня-то вот, в отличие от нее, никто не ищет... Тем не менее присутствовать при их встрече у меня никакого желания нет, и в тот момент, как ее муж входит в кафе, я встаю и ухожу через черный ход. Последнее, что я успеваю увидеть — это его злые, рыскающие по лицам посетителей кафе глаза и белеющую на голове кипу.

\* \* \*

Не желая встречаться со знакомыми и отвечать на идиотские вопросы, которые люди обычно задают друг другу при встрече, я сворачиваю с улицы в переулок и отправляюсь домой по тихим, темным, то поднимающимся в гору, то спускающимся под уклон улочкам, и ненавистный маршрут кажется мне теперь еще более длинным. «Ничего-ничего, — утешаю я себя, — сегодня я возвращаюсь от Арье в последний раз и никогда больше улицу, на которой он живет, не увижу. Никаких причин ходить по этой до тошноты респектабельной улице у меня больше не будет; ни к нему, ни от него она меня больше не поведет; так что можно считать, что ее больше не существует. Даже если ее завтра снесут, я не расстроюсь».

Вся эта часть города вообще кажется мне сейчас совершенно никому не нужной, а сам факт ее суще-

ствования — возмутительным. Какие они все-таки противные, все эти красивенькие благополучные домики, ухоженные палисаднички и раскрытые настежь большие окна, через которые видно все, что находится внутри. Можно подумать, что хозяевам абсолютно нечего скрывать. Но одно из этих окон все же привлекает мое внимание, потому что внутри я вижу полки с книгами, причем книг так много, что даже на улице ощущается их запах. Может, сейчас сезон цветения не только у цитрусовых, но и у книг? Конечно, их цветение не столь заметно, но зато лучше успокаивает. Я вдыхаю этот хорошо знакомый мне запах — душистый запах пыли, времени и старой бумаги, запах редкой книги, которую дал мне завкафедрой — и вдруг понимаю, что именно он-то, завкафедрой, в этом полном книг доме как раз и живет. Так вот где, оказывается, проходит его размеренная жизнь... Я представляю, как он ходит вдоль полок, снимая с них то одну книгу, то другую, и у меня возникает острое желание залезть к нему в окно. Сяду возле полок, положу на стол стопку книг, пристрою на них свою большую голову, и всю мою усталость как рукой снимет... Но в этот момент свет в окне гаснет и я прихожу в себя. Всё: представление закончено, занавес опущен, пора идти домой. Однако мне очень хочется продлить очарование, и я иду неспеша, как делала в детстве, когда шла из кино.

Фильмы у нас показывали раз в неделю, но больше всего мне запомнились не сами эти фильмы, а то, как я после них возвращалась домой. Потому что я шла, как пьяная: спотыкалась о камни, но боли не чувствовала — и меня не покидало ощущение, что киноволшебство все еще длится. Оно тянулось за мной, как шлейф, окрашивая дорогу в мягкие тона, и каждый фильм я воспринимала как приглашение в будущее. Будущее же, в свою очередь, рисовалось мне в виде широких ворот, которые должны были вот-вот закрыться и в которые мне надо было успеть

проскользнуть. Я ясно видела, как они закрываются, как остается только узкая щель — через которую уже не виден свет и сквозь которую проникает лишь слабый запах, — и понимала, что если не поспешу, то закроется и она.

\* \* \*

Улицы, по которым я иду, становятся все уже и тесней, а окна — все меньше, и все вокруг кажется мне каким-то крошечным. Как будто я вернулась домой после длительного пребывания за границей и мои глаза отвыкли от местных масштабов. Даже ведущая к нашему дому — неосвещенная и так хорошо знакомая мне — дорожка кажется сейчас чужой. Я иду по этой дорожке, и от волнения у меня дрожат ноги. Что я буду делать, если Йони дома? И что буду делать, если его нет?

Вот и наша квартира в цокольном этаже. Старая дверь заперта, но послушно открывается. В квартире темно. Я не сразу вспоминаю, где выключатель, и какое-то время стою в темноте, прислушиваясь к шорохам. Покрашенные по ошибке в желтый цвет стены светятся, и я, как слепая, ощупываю одну из них. Если бы по ее выступам и впадинам можно было узнать, что она видела, я бы узнала, что именно Йони в то утро делал: звал ли он меня, искал ли он меня сначала на кухне или в ванной, на какую плитку пола наступил, когда читал мою записку, что сделал, когда ее прочел...

Моя рука нащупывает выключатель. Я нажимаю на него, вижу белую записку, с волнением хватаю ее, читаю: «Как бы мне хотелось поехать с тобой в свадебное путешествие...» — и вздрагиваю. Потому что такое ощущение, что это не я написала ее Йони, а он написал ее мне. Неслучайно же он ее здесь оставил. Не взял с собой, не бросил в мусорное ведро, а оставил на том же месте. Хотел, наверно, чтоб она пре-

вратилась в бумеранг. Чтобы написанные мной плохие слова вернулись ко мне вдвойне плохими. Я раздраженно комкаю записку и иду в спальню. Мне хочется найти там свидетельства горя Йони, признаки его разочарования, следы его обиды, но их нет. Шкаф раскрыт; полка Йони наполовину пуста; походной сумки нигде не видно. Совершенно очевидно, что он уехал в свадебное путешествие в Стамбул без меня, и, как это ни глупо, я чувствую себя обиженной. Почему он не остался, чтоб тосковать по мне? Как посмел поехать один? Почему, в отличие от мужа соседки Арье, даже не попытался меня искать, не предпринял никаких усилий? Я ведь была совсем недалеко, в каких-то четверти часах ходьбы.

Одеяло на кровати пышно взбито и выглядит так, словно под ним лежат наши безжизненные тела, но когда я его приподнимаю, то вижу, что там ничего нет. Только теплый воздух и слабый запах человеческой плоти.

На кухне я вижу чашку из-под кофе, который Йони пил перед выходом. До дна все выпил, ни капли о себе на память не оставил. Ни мне, ни будущим поколениям. Холодильник почти пуст; хлеба нет. Но главное состоит не в этом, а в том, что тут нет никаких признаков горя, душевной бури. Обычная квартира, в которой остановилась жизнь, потому что хозяева на несколько дней уехали. С той только разницей, что здесь эта жизнь, похоже, уже никогда больше не возобновится.

Мое пребывание здесь кажется мне настолько временным, что у меня нет даже желания складывать свои соблазнительные одежки в шкаф. Вместо этого я вываливаю их на кровать, с той стороны, где спит Йони, и накрываю — чтобы создать иллюзию его присутствия — толстым одеялом, но присесть не решаюсь. Как будто эта квартира не моя. Как будто я пришла сюда только для того, чтобы взглянуть на свою прошлую жизнь и немного ей понадоедать, но



когда хозяева меня здесь застукают, то долго церемониться со мной не станут и выставят. Поэтому мне даже страшно пользоваться туалетом и телефоном: кажется, что сначала нужно спросить у кого-то разрешения. Но поскольку хозяев я не знаю, то не знаю, у кого его просить. В конце концов я прошу разрешения у желтых стен, подхожу к телефону и начинаю искать в телефонном справочнике номер завкафедрой, но тут вдруг понимаю, что не знаю алфавита. Как будто приехала из страны, в которой алфавита не существует. Я помню, что фамилия завкафедрой — Росс, профессор Росс, но никак не могу вспомнить, что идет раньше — «эс» или «эр».

— Прошу прощения за беспокойство, — говорю я, когда в трубке слышится его властный, но добрый голос с сильным английским акцентом. — Я хочу извиниться, что не пришла на встречу, — а затем, удивив даже саму себя, начинаю плакать и добавляю: — Моя мама умерла; мне нужно было идти на похороны. То есть я имею в виду не моя родная мама, а мачеха, в смысле, жена моего папы, — поясняя я, когда завкафедрой начинает выражать свои соболезнования, потому что понятия не имею, как выбираться из этой идиотской ситуации.

— Знаешь, я бы не хотел в такое тяжелое время мучить тебя разговорами о делах, — говорит завкафедрой, помолчав. — Разумеется, мы примем это во внимание. Но ты должна представить проект диссертации как можно быстрее, иначе ставку тебе не утвердят.

— Я хочу с вами встретиться. Даже несмотря на шиву.

— Что ты, что ты, — пугается он. — Это может подождать.

— Нет-нет, не волнуйтесь, — настаиваю я. — Она же мне только наполовину мама; поэтому можно присесть только половину шивы.

В конце концов мы договариваемся встретиться завтра, в половине одиннадцатого, у него в кабине-

те, и лишь тогда, зная, что завтра мне будет чем заняться, я нахожу в себе силы думать об Арье. Думать мне о нем страшно, как страшно, оказавшись на месте аварии, подходить к сгоревшей, искореженной машине. Поди знай, что найдешь внутри, когда откроешь дверцу: может, оттуда вывалится обгоревший труп. Поэтому ты подходишь к ней медленно и осторожно. Тем не менее я думаю об Арье без ненависти, которую испытывала раньше. Я думаю о нем, скорее, с грустью, как о больном. «Он погиб, он погиб, он погиб, — бормочу я, бродя по квартире. — Откуда мне было знать, что он погиб? Все пропало, все пропало, все пропало. Откуда мне было знать, что все пропало, что новое хуже старого и что незнание лучше знания?» Потом я начинаю думать о маме, о том, как дважды встала между ней и ее любовью и дважды причинила ей боль: один раз до того, как родилась, а второй — после своего рождения, потому что с ребенком Арье ее уже не захотел. Это совершенно очевидно, хоть он и не посмел мне этого сказать. Я знаю, что она не простит мне этого до самой смерти, но сердиться на нее у меня не получается, потому что она права, абсолютно права, и я решаю ей позвонить. Позвоню и попрошу прощения, как попросила у завкафедрой.

— Здравствуй, мам, — тихо говорю я, набрав номер родительской квартиры.

— Шломо! — кричит мама. — Это Яара! — После чего кричит уже мне: — Ну что, как вы там? Как ваш медовый месяц?

— Прекрасно, — шепчу я, — просто замечательно.

— А Стамбул? Как Стамбул?

— Изумительно.

— А гостиница? Из нее правда видны Золотые ворота? Фотографируйте как можно больше! Я обязана это увидеть! Снимите вид из окна!

— Хорошо. А у вас как дела? Что поделяваете?

— Ничего особенного, все нормально.

— А тетя Тирца? Как она?

— Держится.

— Мам, — шепчу я, — а ты помнишь, что Иоав сказал царю Давиду после смерти Авессалома?

— Да, а что?

— Да нет, ничего; просто мне приснился сегодня сон, что я лежу в большой кровати, а ты читаешь мне ТАНАХ: «Ты любишь ненавидящих тебя, но ненавидишь любящих тебя».

— Ну, что они говорят? — спрашивает папа.

Наверное, увидел, как внимательно слушает меня мама, и позавидовал.

— Скажи ему, что я не «они», а «она», — прошу я маму, слыша, как она тяжело дышит в трубку. — Кстати, а почему ты перестала читать мне ТАНАХ?

— Прекрати. Ты сама знаешь почему. И вообще, ты же из-за границы звонишь, забыла? Нашла время это обсуждать.

— Я не из-за границы, — шепчу я. — Только папе не говори.

— Ты о чем?! — пугается мама.

— Я просто чувствую свою вину перед тобой и хочу попросить прощения за то, что сломала тебе жизнь.

— Мне жалко денег, которые ты платишь за звонок, — говорит мама.

— А мне жалко, что я сломала тебе жизнь.

— Ну, в общем, развлекайтесь там. Молодец, что позвонила, — говорит мама и отключается, но не успеваю я положить трубку на аппарат, как телефон начинает звонить.

Видимо, до мамы наконец-то дошло, что я сказала, она перепугалась и решила перезвонить. Проверяет, откуда я звоню. Я жду, пока телефон прозвонит десять раз, приподнимаю трубку, снова ее вешаю, и воцаряется тишина, а я ложусь на диван в гостиной и начинаю думать, перед кем бы мне извиниться еще. Может, перед Широю, чьего кота задавили по моей вине? Я стала причиной его смерти и тем са-

мым опустошила ее и без того пустую, никчемную жизнь. «Господи, что я наделала?! — с ужасом думаю я. — Опустошила пустую жизнь, унизила униженного мужчину, сожгла сожженный Храм...»

В честь наступления весны отопление отключили, и в квартире становится прохладно; поэтому я приношу одеяло, укрываюсь им, не раздеваясь и не снимая обуви (потому что по-прежнему чувствую себя здесь гостьей), и начинаю осматривать нашу квартиру. Я разглядываю ее так, словно я смертельно больная, которая знает, что ее дни сочтены и что после ее смерти жизнь будет продолжаться дальше. Вскоре сюда въедут новые жильцы — молодожены в начале своего пути, какими когда-то были и мы с Йони, — однако жена не будет бегать от окна к окну, чтоб убедиться, что в квартиру не проникает запах хлеба, риелтор не скажет ей: «Не волнуйтесь, здесь поблизости пекарен нет; только продуктовый магазин», а она не станет оправдываться, виновато глядя на ничего не понимающего мужа: «Просто у меня на запах хлеба аллергия; у меня от него депрессия».

Тут вдруг в дверь кто-то осторожно стучит. Вряд ли это моя напуганная мама. Она бы наверняка стучала более напористо. Однако кто бы это ни был, я не желаю сейчас никого видеть. Поэтому я укрываюсь одеялом с головой, затыкаю уши и замираю. Но тут низкий, прокуренный голос говорит:

— Яара.

Я вскакиваю с дивана, бросаюсь к двери, приоткрываю ее и вижу Арье. Небритый, с седой щетиной на лице\*, в юношеской полосатой тельняшке, он стоит на темной лестничной площадке на некотором расстоянии от двери — как будто уже собрался уходить — и курит, но, увидев меня, бросает окурок на пол, тушит его ногой, а затем отшвыривает на улицу, в наш запущенный палисадник.

---

\* Во время траура запрещается бриться и стричься в течение тридцати дней.

Я придерживаю дверь, не давая ей полностью открыться — так что Арье будет трудно протиснуться, не задев меня бугорком на брюках, — и думаю о том, сколько раз я представляла себе этот момент: как он постучится в дверь, как позовет меня, как дверной проем заполнит его большая, крепкая фигура (не важно, во что он будет при этом одет), как я увижу его желтые зубы, красивые пальцы, узкие — разъезжающиеся, когда он улыбается, и съезжающиеся, когда он серьезен — глаза, и мне казалось, что если это произойдет, то это будет невероятным счастьем. И вот этот момент наступил: Арье здесь, но улыбается он какой-то вымученной, дежурной улыбкой, да и та быстро исчезает, а глаза съезжаются к носу.

— Я только хотел убедиться, что с тобой все в порядке, что ты добралась благополучно.

— Да, добралась; я здесь, — говорю я, помолчав, как будто он и сам этого не видит.

Его приход я воспринимаю как свою победу; у меня такое ощущение, будто я стою на пьедестале и держу в руках кубок победителя; но хотя этот кубок и красивый, он тяжелый, и держать его мне трудно. Поэтому я начинаю потихоньку пятиться назад, а Арье медленно на меня наступает.

Мне очень странно его здесь видеть: он никогда тут не был и совершенно сюда не вписывается. Да и как мне его в этой квартире принимать? В какую из комнат вести? Это же квартира из моей прошлой жизни; я сама в ней гостя; новой жизни у меня еще нет. И вообще, начинаю я вдруг злиться, с какой это стати он хочет сюда войти? «Потому что он тебя хочет», — нашептывает мне внутренний голос, и меня пронизывает острое ощущение счастья. «Но ведь через час он будет это отрицать; скажет, что никогда здесь не был», — говорит еще один голос, и я вспоминаю, что сказала Айала: «Не возвращайся к нему, даже если позовет». Эти слова прокалывают мешочек моего сладкого счастья, и наполняющая его вязкая,



клеякая масса — любимое лакомство муравьев — начинает вытекать из него сквозь крошечные дырочки.

— Меня прислала сестра, — говорит Арье, как маленький мальчик.

Странная какая-то квартира. Каждый, кто переступает ее порог, начинает вести себя, как ребенок. Того и гляди, кротёнком меня назовет.

— Зачем?

— Она думает, что с тобой не все в порядке, что ты плохо себя чувствуешь.

Гм. Велела мне к нему не возвращаться и сама же его прислала. Может, это ловушка? Может, она меня так испытывает? Стоит сейчас за дверью и подслушивает?

Я знаю, что должна быть с ним холодной, и вежливо его отшить, но его присутствие здесь — это нечто для меня настолько новое, что мне трудно от этого отказаться. Он стоит передо мной, как только что вынутая из коробки новенькая кукла: стройный, душистый, в смешной полосатой тельняшке, со сломанным зубом, со щетиной, которой я почему-то раньше не заметила — и мне ужасно хочется его потрогать, посмотреть, как он устроен; я ведь так долго этого ждала. Тем не менее приглашать его в гостиную у меня желания нет, а он не горит желанием входить, и мы стоим в прихожей, возле двери. Он улыбается почти такой же глуповатой улыбкой, какую я видела на его юношеской фотографии, и оба мы ведем себя так, словно пришли на свидание вслепую: разглядываем друг друга, но впечатлениями не делимся.

— Ты, наверно, не отказалась бы сейчас чего-нибудь поесть? — говорит он. — А то я тебя целых три дня голодом морил.

— Но ты же не можешь, — удивляюсь я. — У тебя шива.

— Ты думаешь, в ресторане это кого-то волнует? — пренебрежительно усмехается он.

— А что подумают гости?

— Подумают, что я пошел к дантисту, — говорит он, облизнув сломанный зуб. — Кроме того, там остались Айяла и моя теща.

— Кстати, а когда ты идешь к дантисту?

— Не волнуйся, я у него уже был. Он сказал, что восстановит мне зуб.

Он говорит «не волнуйся» так, словно я его жена. Ему даже в голову не приходит, что я выбросила его драгоценный зуб в унитаз.

— Ну так что, идем или нет? — спрашивает он, скептически оглядывая мой наряд.

— Подожди, я только переоденусь, — говорю я, поняв его намек.

В спальне я с радостью открываю шкаф, вынимаю из него бархатное платье винного цвета (наконец-то оно соответствует погоде), крашусь, брызгаюсь духами... и вдруг мне становится противно. А чему я, собственно, радуюсь-то? Чему веселюсь? Тому, что он мне улыбнулся, что ли? В результате я снимаю платье и надеваю старый джинсовый комбинезон, а затем решительно — чтоб не успеть передумать — возвращаюсь к Арье.

Стоя у окна, он тихонько мурлыкает псалом «Мы сидели на берегах рек вавилонских...» — тот самый, что он пел сегодня в ванной, — и на какую-то долю секунды мне кажется, что это Йони. Потому что Йони тоже любил стоять у этого окна, и мне вдруг ужасно хочется, чтоб это действительно оказался он. Ведь еще несколько дней назад эту квартиру невозможно было без него вообразить. Я представляю, как он стоит у этого жалкого — выходящего на мусорный бак — окна, и мое сердце вдруг сжимается. Из окна видно всех, кто выносит мусор, и у нас с ним стало семейной традицией информировать друг друга, кто именно его выносит и из какой квартиры. Когда же его выносили чаще обычного, мы пытались угадать почему. Такая вот у нас сложилась традиция. Со стороны она (как и клички, которыми награждают друг

друга супруги) может, наверно, показаться кому-то противной, но другим людям — а уж тем более тому, кто смотрит на мусорный бак сейчас, — никогда не понять, как это было сладко и как успокаивало, когда Йони говорил: «Ты не поверишь, но сегодня мусор выносит муж». — «Жена небось ночью дала; вот и отработывает», — комментировала я, и Йони прыскал со смеху. Смотрел на меня с упреком — мол, как тебе не стыдно такое говорить? — но ржал. Такие гнусные разговоры нас с ним как раз и сближали.

— Чего бы тебе хотелось поесть? — интересуется Арье, вежливо поворачиваясь ко мне лицом.

— Твоя песня наводит на меня грусть.

— Какая песня? — не понимает он.

— Которую ты весь день поешь. «Мы сидели на берегах рек вавилонских...»

— Не знаю такой, — пожимает он плечами. — Я просто что-то насвистывал. Так в какой ресторан ты хочешь пойти? Во французский? Итальянский? Тайландский? Китайский? Ближневосточный?

Выговаривать длинные слова у меня сейчас нет никаких сил, и я выбираю самое короткое — «китайский»\*. Хотя, если честно, единственное, чего мне сейчас хочется, так это чтоб Йони сделал мне салат.

— Отлично, — говорит Арье. — Сейчас как раз открылся превосходный китайский ресторан. На прошлой неделе я возил туда Жозефину. Забрал ее из больницы.

— Она что, была способна есть? — спрашиваю я, с отвращением представляя, как она ест.

— Нет, она уже не чувствовала вкуса еды. Но зато она пила чай. Она очень любила чай.

Ага, нашел кому рассказывать, с гордостью думаю я. Ведь самую последнюю свою чашку чая она получила именно от меня. Даже если об этом никто

---

\* «Китайский» на иврите — «сини».

не знает, это все равно было, и даже если не должно было произойти — произошло.

— А может, нам не стоит туда ходить? — осторожно спрашиваю я.

— Ты думаешь, это причинит мне боль? Не волнуйся, у меня с этим проблем нет.

Чудак. Думает, я не хочу идти в этот ресторан, потому что волнуюсь за него. Как он не понимает, что я не хочу туда, потому что там была Жозефина? Неужели так трудно понять, что я не желаю пить чай, который пила она? Странно, кстати, что лежать на кровати, на которой лежала она, мне противно не было.

Как бы там ни было, но Арье уже все за меня решил. Он распахивает перед мной входную дверь, затем — дверцу автомобиля, начинает, как всегда, что-то насвистывать — и мы мчимся навстречу потоку машин, чьи фары проделывают в ночной тьме маленькие круглые желтые дырочки.

\* \* \*

Китайский ресторан, в который привел меня Арье, расположен в старом здании в центре города.

— Как Жозефина ухитрилась взобраться по этим ступенькам? — спрашиваю я, когда мы поднимаемся по узкой винтовой лестнице.

— Да, ей было трудно, но я ей помог, — хвастливо говорит он и толкает меня в спину, демонстрируя, как подталкивал ее. — У нее была большая сила воли. Если она чего-то хотела — никогда не отступала.

— Но зачем ты заставил ее так мучиться? — спрашиваю я, испытывая жалость к бедной женщине, которой — дабы убажить супруга — пришлось, стиснув зубы, взбираться по этим кошмарным ступенькам. — Есть ведь рестораны, куда не надо подниматься по лестнице.

Сказав это, я прикусываю язык. Наверное, Арье сейчас снова на меня разозлится. Но он, как ни странно, не сердится.

— Ты права, — говорит он беззлобно, — я об этом как-то не подумал. Мне просто хотелось повести ее в самый лучший в городе ресторан.

— Но она же не чувствовала вкуса еды, — напоминаю я ему, в ответ на что он начинает противно — каким-то демоническим смехом — хохотать, но в этот момент мы входим наконец-то в ресторан и я чувствую себя, как человек, вернувшийся из царства мертвых обратно на землю.

Встретивший нас у входа низкорослый официант с заискивающей улыбкой усаживает нас за маленький столик у окна и на ломаном английском спрашивает:

— Вы, кажется, здесь недавно были?

— Да, — кивает Арье, губы которого все еще кривятся от смеха. — А помните женщину, которая приходила со мной?

Официант радостно кивает. Похоже, Жозефина произвела на него впечатление.

— Она умерла, — говорит Арье.

Официант бросает на меня такой взгляд, как будто ее убила я, и начинает, почтительно кланяясь, пятиться задом, но, как только он исчезает, к нам подходит официантка и приносит два огромных меню.

Именно этот ресторан, думаю я, спрятавшись от Арье за меню, Жозефину и убил. Я представляю, как она взбирается по лестнице, как старается выглядеть здоровой, как не хочет расстраивать мужа. Она готова ради него на все... Но Боже, как же она, наверно, в тот день страдала! Какой это был для нее кошмар! Мало того что ей пришлось встать для этого с постели, так он еще и потащил ее в роскошный ресторан. Ведь даже от меня это потребовало огромных усилий и даже меня это может убить: сидеть, как ни в чем не бывало, напротив него, вежливо ему улыбаться, есть, вести светскую беседу и делать вид, что мы не сломали друг другу жизнь: сначала я (причем еще до своего рождения) — ему, а затем он (в отместку) — мне.



Арье тоже прячется от меня за меню — я вижу только его красивые, нервно барабанившие по меню пальцы, — и, не выдержав висящего в воздухе напряжения, я сбегая в туалет. В туалете я сажусь на унитаз, чтобы перевести дух, и начинаю себя уговаривать. «Он тебя ждет, — говорю я себе, — он тебя хочет». Но возвращаться к нему мне все равно не хочется, потому что его внезапное приглашение в ресторан пугает меня не меньше вспышек его гнева.

— Я выяснил, какое у них тут коронное блюдо, и заказал его для тебя, — объявляет Арье, когда я с большим трудом заставляю себя выйти наконец-то из туалета и возвращаюсь к столу. — Можешь на меня положиться.

— Чудесно, спасибо, — говорю я, так как изучать меню самой мне лень, но потом меня берет зло. С какой стати он решает за меня? Что он себе позволяет?! Однако, не дав мне опомниться, он спрашивает:

— Когда возвращается твой муж?

— По-моему, послезавтра, — отвечаю я, пораженная тем, что впервые за все это время он не только признал факт существования моего мужа, но даже проявил к нему интерес.

— И вы с ним разводитесь, — говорит он так, словно это уже дело решенное, и от того, что он произносит это вслух, мне становится не по себе. «Почему он опять решает все за меня?!» — снова начинаю злиться я, но при этом мне не хочется, чтоб он думал, что я все еще замужем, и я говорю:

— По-видимому.

— С этим не стоит тянуть.

— С чем «с этим»?

— С плохими отношениями, — пожимает плечами Арье.

— Но у нас хорошие отношения.

— Ну, тогда это еще хуже, — говорит он, поглаживая своими длинными пальцами короткую траурную щетину, и я вдруг понимаю, что он прав. Да, мои хо-

рошие отношения с Йони намного хуже плохих, потому что я на них подседа и без них уже не могу. — Возьми, например, мою младшую сестру, Айялу, — продолжает Арье. — Муж ей не подходил, но у них были хорошие отношения, и она тянула с разводом больше десяти лет, а когда все-таки решилась, муж, который до этого был отличным парнем, согласился дать ей развод только при условии, что их дети — у них их четверо — останутся с ним\*. И вот сейчас он живет в Америке, детей Айалы воспитывает его новая жена, а сама Айала живет в Израиле одна.

— Она раскаивается, что ушла от мужа? — спрашиваю я еле слышно.

Меня колотит так, словно он говорит не про Айялу, а про меня.

— Это не имеет значения. По результату судить нельзя. Само по себе ее решение было правильным. Просто у нее теперь гораздо больше трудностей.

— Поменяла трудности, с которыми жить можно, на трудности, с которыми жить нельзя?

— Не знаю, — говорит Арье задумчиво. — С любыми трудностями жить можно, если есть надежда.

— Надежда на что?

— На что угодно. Видишь ли, когда поживешь с мое, то понимаешь, что все в мире меняется и что обстоятельства тоже могут перемениться. Поэтому всегда может произойти что-то неожиданное. Например, когда дети вырастут, они могут вернуться к Айале.

— А если мой муж мне подходит? — спрашиваю я с тайной надеждой, что он скажет: «Тогда тебе разводиться не стоит», — потому что перспектива расставания с Йони страшит меня не меньше, чем надвигающийся ураган.

— Если б он тебе подходил, тебя бы здесь не было, — усмехается Арье.

---

\* По законам иудаизма, брак можно расторгнуть только при согласии мужа.

Верно, думаю я. Но с другой стороны, я как та женщина из легенды о плотнике: известно только, как я поступаю, а что я чувствую и каковы мотивы моего поведения, остается неясным даже мне самой. Поэтому я делаю еще одну попытку:

— А может, он мне подходит, а я об этом не знаю?

— Может быть, — говорит Арье, обнажая сломанный зуб.

— Я очень хочу, чтоб он мне подходил.

— Да-да, я понимаю, — холодно говорит он, намекая, что больше о моих чувствах к Йони слушать не намерен.

Это меня огорчает. Ну почему, почему с ним никогда нельзя поговорить о нас, о нашем будущем? Почему он всегда говорит о моей жизни так, словно она его не касается? Тем не менее со своими разговорами о Йони я, наверно, действительно слегка переборщила и, чтобы успокоить Арье, кладу свою руку на его.

— Не бойся, — говорит он, взяв мою руку в свою, и на какое-то время страх действительно уходит.

Я прижимаю его руку к щеке, отхлебываю вина и решаю больше о будущем не думать. Буду лучше получать удовольствие от блюд, которые он называл.

Я ем рис с орехами, сладкую рассыпчатую лапшу и думаю, какое это счастье, что я чувствую вкус еды; возможно, это вообще в жизни самое главное: чувствовать вкус. Но Арье к еде почти не притрагивается; только пьет, курит и увлеченно — хоть и несколько путано — рассказывает об оргиях парижской богемы, в которых принимал участие много лет назад. Правда, у меня такое ощущение, что он рассказывает это не мне, а моей маме, которая его когда-то высокомерно отвергла.

— Там я тоже был отклонением от нормы, — подытоживает он, — но если в Израиле быть отклонением от нормы позорно, то во Франции, наоборот, почетно, и я там быстро стал своим.

Вскоре язык у него начинает заплетаться (видимо, начал пить еще до того, как пришел ко мне); тем не менее он заказывает еще одну бутылку. Официантка приносит ее и строит ему глазки.

Интересно, думаю я, разглядывая ее красивые зеленые глаза, а для него вообще есть какая-нибудь разница между нею и мной? Потому что мне постоянно кажется, что все женщины для него на одно лицо и мы все ему одинаково до лампочки. Вот и сейчас: не успела я подумать, что он намекает мне, что я должна уйти от Йони к нему, как он снова держится отчужденно. Тут он вдруг протягивает руку и гладит меня по голове. Поскольку он делает это у официантки на глазах, я смотрю на нее как победительница: мол, видишь, он хочет меня, а не тебя — но в следующий момент он смотрит уже не на меня, а на нее — причем не победно, а призывно, — и еда застревает у меня в горле. Я начинаю кашлять (в точности как Жозефина, пролившая в последний день своей жизни приготовленный мной чай на больничную простыню), официантка убегает и возвращается со стаканом воды (хотя никакой воды я у нее не просила), а я пью эту воду и с отчаяньем думаю, что он меня не хочет. Впрочем, я так много думаю о том, хочет он меня или нет, что уже не помню, хочу ли я его сама. Это кажется аксиомой, чем-то само собой разумеющимся, не требующим доказательств, но, может, стоит наконец-то это проверить? Только вот как это сделать? По-видимому, понять себя гораздо сложнее, чем другого человека. На первый взгляд кажется, что другие твоему пониманию недоступны, а себя ты можешь понять без труда, но на самом деле все наоборот. Как, например, понять меня? Бывают минуты, когда любовь к Арье переполняет меня до краев — подобно тому, как переполняет стоящую сейчас перед ним тарелку китайская еда, — и тогда будущее кажется мне лучезарным. Скоро, думаю я в такие моменты, мы будем заниматься любовью и проснемся

утром вместе, а через какое-то время, когда шива закончится, у меня начнется новая жизнь. Потому что вписать Арье в мою нынешнюю жизнь невозможно; гораздо легче начать новую, чем пытаться встроить его в ту, которой я живу сейчас. В этой новой жизни мама и папа перестанут со мной разговаривать, Арье станет единственным членом моей семьи, его сестра заменит мне мать, а Йони и наша маленькая квартира отойдут в прошлое. Я даже вещи свои забирать не пойду (потому что накуплю себе новых и мне не захочется класть их в шкаф вместе со старыми), и не исключено, что мы вообще отсюда уедем. Переедем, например, в Стамбул, чтоб со знакомыми на улицах не встречаться.

Однако уже в следующую минуту мне становится всех жаль: и родителей (особенно маму, которая потеряет одновременно и меня, и Арье), и Йони, у которого не останется ничего, кроме заполненного моими вещами кривого шкафа (что ему со всеми этими вещами делать?), — и тогда Арье становится мне неприятен. Я начинаю видеть все его недостатки: жидкие волосы, глубокие морщины, желтые зубы — слышу звук шагов его надвигающейся старости, чувствую, как стремительно укорачивается его жизнь, пугаюсь его неуравновешенности, агрессивности и думаю: «Что у меня с ним общего? Хочу обратно, в свою уютную жизнь!» Может быть, поэтому мне сейчас и легче думать о том, чего хочет он, а не о том, чего хочу я, потому что я уже и сама не знаю, чего хочу. Но как понять, чего хочет он? Сейчас он улыбается мне, в следующий момент — официантке... Я вдруг замечаю, что у нее стрижка «каре», и понимаю, что это не кто иная, как девица с мундштуком. Да-да, это она, его истинная любовь! Та, с кем он был тогда в магазине! Он что, специально, что ли, меня сюда привел, чтоб ее подразнить? Или, может, просто хотел с ней повидаться? А может, это у них такая извращенная игра?



— Слушай, — спрашиваю я дрожащим голосом, чувствуя, что еда снова застревает у меня в горле. — А почему мы пришли именно сюда?

— Потому что ты сказала, что хочешь в китайский ресторан.

На какое-то время я успокаиваюсь, так как действительно сделала выбор сама, но затем вдруг думаю: а что, если он заставил меня сделать выбор обманом?

Арье снова заглядывает в меню и предлагает мне жареные бананы с мороженым, но я чувствую, что не могу больше здесь оставаться, потому что меня душат подозрения.

— Я плохо себя чувствую, пошли отсюда, — говорю я, резко вставая со своего места, выбегаю на винтовую лестницу и чуть не скатываюсь по ступенькам вниз.

Ну зачем, зачем я пошла в этот чертов ресторан? Повезла бы его лучше в дом своего детства, показала бы ему бесконечные сады, развалины «Храма» — и мы были бы спасены... Кстати, куда он провалился?

\* \* \*

Когда Арье наконец-то появляется, лицо у него каменное.

— Хотел тебя немножко порадовать, — зло говорит он, — но ты, похоже, радоваться неспособна.

— Я думала, ты любишь официантку, — всхлипываю я.

— Именно об этом я и говорю. Ты не переносишь, когда тебя радуют и не умеешь быть счастливой. Сразу начинаешь испытывать чувство вины и мучить себя. Жаль только, что ты мучаешь при этом и других людей тоже.

— Тогда поклянись, что у тебя с ней ничего нет, — капризно говорю я.

— Ты сама знаешь, что факты никакого значения не имеют. Что бы я ни сказал, тебя не убедит.

— Неправда, — плачу я, — я поверю всему, что ты скажешь.

Перестать плакать мне никак не удастся, но вместо того, чтоб попробовать меня успокоить, он полнотью меня игнорирует и всю дорогу раздраженно насвистывает; когда же мы подъезжаем к его дому, снисходительно, словно делая мне великое одолжение, говорит:

— Вообще-то я хотел высадить тебя у твоего дома, но ты сейчас в таком состоянии, что тебе лучше одной не оставаться.

— Ты не обязан это делать; только если тебе самому этого хочется, — говорю я и чувствую, как снова попадаю от него в зависимость.

Прошло всего несколько часов с тех пор, как я отсюда ушла — и вот я снова в западне: снова завишу от его прихотей, снова должна чувствовать себя признательной ему за его милости и снова сидеть у него в плену. Пленница любви... Как это случилось? Не понимаю. Пришел ко мне, позвал — и я снова здесь?

Когда мы входим в дверь и гуськом идем по коридору, я вдруг отчетливо понимаю, что никогда отсюда не выйду. Моим Арье никогда не станет, но и избавиться от него я не смогу. Несколько часов назад мне удалось отсюда каким-то чудом выбраться, но дважды чудеса не случаются. Поэтому я покорно, как лошадь в стойло, иду в спальню, раздеваюсь, ложусь в кровать и, в ожидании Арье, начинаю прислушиваться к знакомым тюремным звукам. Вот звонит телефон, вот открывается холодильник, вот он снова закрывается...

Когда Арье наконец-то приходит, в руке у него банка пива и он спокоен, как поймавший добычу леопард. Со вздохом облегчения он снимает тельняшку и синие брюки, как ни в чем не бывало ложится рядом со мной, и, пытаясь загладить свою вину за то, что все испортила, я начинаю гладить его по спине. Но тут натыкаюсь на маленькую шишку.

— Да-да, почеси мне там, — просит мурлыкающий от удовольствия, как огромный кот, Арье.

Приглядевшись к шишке внимательней, я вижу, что она похожа на удлинённый нарост на яблоке, и на мгновение мне становится противно, но тут я вспоминаю пословицу «любовь все стерпит» и начинаю почесывать спину возле шишки. Вдруг мои пальцы увлажняются и становятся красными.

— У тебя шишка кровоточит.

— Ага.

— Тебе надо сходить к врачу; ты должен этим заняться.

— Единственный врач, к которому я готов пойти — это дантист. Остальные перебьются.

— Но это же опасно.

— А выходить из дома еще опаснее, — усмехается он. — Ты знаешь, как трудно дойти до врача живым? А главное, для чего? Я никому из врачей не доверяю. Все болезни происходят из души, а в ней ни один врач не разбирается.

— Тогда займись лечением души.

— Чтоб я доверил свою душу кому-то другому? Нет уж, дудки. Я никому не доверяю и ни от кого зависеть не хочу, — говорит он с такой ненавистью, словно все вокруг его враги.

— Так как же тогда тебе можно помочь?

— А мне ничья помощь не нужна. Только этого еще мне не хватало: чтоб мне кто-то помогал. Погладь мне ее лучше. Может, хоть это поможет.

Я бросаю взгляд на шевелящуюся у него под кожей, словно жук, шишку, и меня передергивает от отвращения, но, преодолев его, я все же начинаю ее гладить, и мир вдруг уменьшается до ее размеров. В этом маленьком мире все ясно и просто. В нем никто ни на кого не злится, никто ни с кем не ссорится; единственное, что в этом мире надо делать — это гладить шишку Арье, и мне кажется, я могу заниматься этим всю жизнь. Потому что, если вдуматься, это не

более — а, возможно, даже менее — унизительно, чем ласкать ему член или тешить самолюбие. Во всяком случае, хоть пользу может какую-то принести.

Постепенно кровотечение прекращается, а дыхание Арье выравнивается, и, решив, что он уснул, я перестаю его гладить. Но он не спит.

— А правда, это успокаивает — гладить чужую шишку? — насмешливо спрашивает он с такой снисходительной интонацией, словно сделал мне одолжение, позволив до него дотронуться, и я в бешенстве принимаю сидячее положение. Как я могла снова попасться на его крючок? Как он — причем в который уже раз — сумел повернуть дело так, будто это я нуждаюсь в нем, а не он во мне?! Но тут он говорит:

— Я знаю, что тебе сейчас нужно, — усаживает меня на свой член спиной к себе и начинает подбрасывать вверх...

...я смотрю на его неподвижно-лежащие-смуглые-безволосые-девственно-юношеские-кажущиеся-полностью-отделенными-от-тела-ноги-с-красиво-и-аккуратно-уложенными наискосок-от-самого-большого-до-самого-маленького-пальцами и думаю о том, что теперь каждый раз, как увижу яблоко, буду вспоминать его шишку, а значит, никогда не смогу забыть и его самого; потому что яблоки вездесущи, как запах хлеба, и мне придется всю жизнь ходить не только заткнув нос, но и закрыв глаза; я вспоминаю вкус яблок и думаю о том, может ли их сладость сравниться с той, что разливается сейчас по моему телу; мне кажется, что на конце члена арье насажена воронка, из которой вытекает мед, а поскольку сам арье горький, это создает потрясающее вкусовое сочетание; он погружает меня в мед, как ирод — девочку из династии хасмонеев; убив ее родителей, он хотел на ней жениться, но она отказалась за него выходить и бросилась с крыши; тогда он положил ее в мед и хранил в нем семь лет, чтоб люди думали, что ему все-таки удалось жениться на царской дочери; мой таз

ритмично, как у гребца, движется вперед и назад, подо мною — вверх и вниз — движется арье, и наши тела сталкиваются, как брошенные на старой железной дороге вагоны; мы бьемся друг о друга все сильнее и сильнее, и меня вдруг толкает вперед так сильно, что я чуть не падаю с широкой кровати; я больше не вижу ног арье, и мне кажется, что я осталась одна, а откуда-то изнутри меня извергается сладостный фонтан наслаждения; эта вытекающая из меня сладость — самая моя любимая, и она напоминает мне ту, что я испытывала когда-то в нашей старой районной библиотеке...

...В читальном зале тихо перешептывались сидевшие там люди, в окно заглядывали цветы жимолости и лантаны, а я, вдыхая их аромат, с трепетом подходила к запыленным книжным стеллажам, уставленным толстыми романами. Все их я прочитала уже по меньшей мере один раз, но все равно приходила их навестить: они были моими сторожевыми псами, защищавшими меня от реальности. Я нежно гладила стеллажи, брала в руки какую-нибудь толстую книгу, находила в ней то, что мне было нужно, и при виде ее пожелтевших страниц по телу у меня разливалась сладость. Я засовывала книгу меж горячих бедер и смотрела в окно на гуляющие по саду парочки. Однажды я увидела там вылезшего из-под земли Авессалома. Он был красивый и высокий. Как будто все эти годы, лежа в могиле, непрерывно рос и выросел, а земля питала его, как дерево. И вот теперь — выбрав нужное ему время, в возрасте, который он считал подходящим, — он родился заново и вернулся в мир живых. Я была ужасно рада его видеть и представляла, как обрадуются родители, когда я приведу его к ним. Оставляю его, как подарок, возле двери, думала я, а сама убегу и больше не вернусь...

— Забыла, что ты здесь; думала, я одна, — говорю я удивленно, когда Арье подползает ко мне с противоположного конца кровати и разворачивает лицом к себе.



— Я знаю. Это нормально, — говорит он, и я ему сразу верю. Я верю, что он действительно знает, что в этот момент можно обо всем — включая даже его самого — забыть, а значит, понимает, что я чувствую. Но если так, значит, это того стоило. Все, что я пережила, того стоило!

— Я хочу быть здесь с тобой всегда, — говорю я, прижимаясь к нему и целуя его жесткие сухие губы.

— Ты уверена?

— Да.

— Почему?

— Потому что я тебя люблю.

— А что ты во мне любишь? — задает он свой традиционный мерзкий вопрос.

— Что твоих шагов не слышно возле книжных стеллажей.

— А еще?

— Все остальное я ненавижу. Но это, по-видимому, перевешивает.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На моих часах — девять, но на черных часах Арье, которые угрожающе смотрят на меня с его левой руки, уже почти десять. Я вскакиваю с постели и быстро одеваюсь.

Арье лежит в центре кровати, глаза у него закрыты, левая рука с часами лежит на лбу, а тело до плеч накрыто простыней в цветочек, что придает ему вид закутанной в сари престарелой и вполне безобидной индианки.

— Ты куда? — спрашивает он, когда я открываю дверь и осторожно выглядываю в длинный коридор.

Глаза у него все еще закрыты, но рот уже открылся, и я вижу сломанный зуб.

— У меня деловая встреча в университете, — говорю я с виноватым — сама не понимая почему — видом. Как будто что-то от него скрываю.

— Такая важная встреча, что ты собиралась уйти тайком? Пока я сплю? — сердито спрашивает он, открыв глаза.

— Почему тайком? Просто не хотела тебя будить, — говорю я еще более виновато.

— Почему же ты не подождала, пока я проснусь? — спрашивает он, сбрасывая с себя простыню.

— Потому что у меня встреча в пол-одиннадцатого. Мне нельзя опаздывать.

— В университете опаздывают все. Думаешь, я никогда не бывал в университете?

— Что за чушь ты несешь? — раздражаюсь я.

— Не смей так со мной разговаривать, — цедит он сквозь зубы, садясь на кровати.

— Я не знаю, чего ты от меня хочешь, — заикаясь, бормочу я.

— Вопрос в том, чего хочешь ты; по-моему, ты сама этого не знаешь. Вчера ты сказала, что хочешь остаться здесь навсегда.

— Да, — признаю я, — но это не означает, что я не могу выйти отсюда на несколько часов. Я планировала уйти и вернуться.

— Можешь не возвращаться, ясно тебе?! — кричит он. — Если уйдешь, можешь не возвращаться!

Я в отчаянье смотрю на свои часы, по-прежнему показывающие девять, но подойти к Арье, чтоб посмотреть, сколько времени на самом деле, не решаюсь. Однако я и без того знаю, что опаздываю, и мне хочется плакать.

— Чего ты хочешь? Чего ты от меня хочешь?!

— Ничего. Только одного: чтоб ты была последовательной. Если ты говоришь, что любишь меня и хочешь остаться здесь навсегда, встреча в университете не может быть тебе важнее меня.

— Ты передергиваешь! — кричу я. — Ты вечно все передергиваешь! Почему одно должно противоречить другому? Почему я обязана выбирать? Мало того что я должна выбирать, когда речь идет о чем-то существенном, так мне еще и надо выбирать, когда дело касается такой чепухи? Почему, если я тороплюсь на деловую встречу, это обязательно означает, что я тебя не люблю?

— Потому что я так это воспринимаю, и ты должна со мной считаться, — говорит он и высокомерно добавляет: — Это, конечно, не означает, что ты очень мне нужна. Просто я рассматриваю это как твою проверку на прочность. Я уже давно знаю, что твоим за-

явлениям верить нельзя, и вот еще одно тому доказательство: за твоими словами ничего не стоит; все, что ты говоришь, — пустая болтовня. Ты понятия не имеешь, что такое любовь и как должна вести себя женщина, которая любит по-настоящему.

— Невероятно! — кричу я. — Просто поверить не могу, что я все это слышу!

— А я не могу поверить, что позволил тебе лежать в кровати Жозефины. Вот кто была настоящей женщиной, вот кто умела любить! Не то что ты.

— Но она умерла! — ору я; никогда в жизни я так не орала. — Именно из-за этого она и умерла, извращенец ты несчастный! Это ты ее убил! Всеми этими своими гнусными «проверками на прочность»!

— Как ты смеешь меня в этом обвинять?! — орет он в ответ. — Катись отсюда к чертовой матери!

— Именно это я сделать и пытаюсь! — кричу я.

— Вот ты и призналась! — победно объявляет он. — Твоя так называемая деловая встреча — всего лишь предлог!

Я выскакиваю из спальни, изо всех сил хлопнув дверью, и слышу, как он кричит мне вслед:

— В последний раз предупреждаю! Если ты сейчас уйдешь, возвращаться тебе будет некуда!

— Я и сама знаю, что возвращаться мне некуда! — отвечаю я, но забываю сказать это вслух и, кроме меня, этого никто не слышит.

Выбежав на лестничную клетку, я спускаюсь по лестнице и вижу, что к дому подъезжает такси, из которого со скорбной торжественностью вылезают родственники Жозефины: ее мать, сестра и муж сестры. В знак приветствия мать кивает мне головой — видимо, запомнила вчера мое лицо, — а я говорю ей в ответ «бонжур», стараясь выговорить это слово правильно, но из-за того, что меня душат слезы, голос у меня дрожит.

Чем дальше я отхожу от дома Арье, тем сильнее плачу. Как я могла так ошибаться? Как сразу не поня-

ла, что он собой представляет? Как до меня не дошло, что он попал в абсолютную зависимость от моей зависимости от него, и что моя зависимость — это единственное, что ему от меня нужно?

\* \* \*

Всю дорогу до автобусной остановки я проклинаяю и Арье, и саму себя, а в автобусе — который совершенно пуст — сажусь у окна и, не переставая рыдать, смотрю на оживленные улицы. Когда в окне проплывает больничная труба, из которой валит белый дым, я представляю, как Тирца лежит в кровати, глядится в маленькое зеркальце так, словно читает книгу, и время от времени поглядывает на скудный пейзаж за окном, а рядом с ней, на узкой кровати, лежит новая больная. У этой больной, возможно, есть муж. Или, может быть, нет. У нее, наверно, есть дети. Или, может, она бездетна. Сейчас для нее самой это уже никакого значения не имеет. Как, впрочем, и для меня. На данном этапе моей жизни это тоже уже совершенно не важно.

Сойдя с автобуса, я попадаю в прохладные коридоры университета, в его душные, новейшей конструкции, лабиринты и время от времени прохожу мимо больших окон. Внешний мир выглядит сквозь них гораздо более соблазнительным, чем он есть на самом деле; как будто эти окна — витрины магазина, в котором его выставили на продажу. Мне хочется остановить спешащих мне навстречу людей и сказать им: «Куда вы все бежите? Уверяю вас, вам абсолютно некуда торопиться. Я только что оттуда, и, поверьте мне, в этом дорогом, сверкающем реальном мире все совсем не такое, каким кажется. Там все гнилое. Даже на кладбище нет столько червей, сколько ползает по самым красивым улицам этого мира». Однако ничего этого я не говорю и вместо этого захожу в туалет, чтоб умыться, но, как только вижу себя в зеркале, на-



чинаю плакать еще сильнее. Потому что лицо у меня ужасно печальное (даже печальнее, чем я думала), глаза — красные, веки — опухшие, а рот горько искривлен. «Что же мне делать? Что мне делать?!» — в отчаянии думаю я, но тут дверь одной из кабинок открывается, и из нее выходит девушка. Она не красавица, но все у нее какое-то правильное, такое, каким и должно, по идее, быть; она выглядит так, как выглядела я до того, как все это началось: на лице у нее, в отличие от меня, нет кровоточащей раны — и, когда она начинает мыть рядом со мной руки, я, глядя в зеркало, беззвучно бормочу: «Кто возвратит меня в первые дни? Кто возвратит меня в первые дни?»\*

Когда я выхожу из туалета, ноги у меня дрожат. Я поднимаюсь по лестнице, ведущей в кабинет завкафедрой, прохожу — стараясь смотреть в другую сторону — мимо двери нашей ассистентской, слышу доносящийся оттуда веселый смех и чувствую себя человеком, прибывшим из другого мира. Как будто я вернувшаяся после войны домой беженка, которая, встретившись со своей прошлой жизнью, в ужасе от нее бежит, словно именно она-то ее враг и есть.

Дверь в кабинет завкафедрой открыта. Я стучусь и, не дожидаясь ответа, вхожу. Стул завкафедрой пуст; на столе лежит раскрытая книга. Я сажусь по другую сторону стола, кладу голову на его прохладную деревянную поверхность и пытаюсь остановить слезы, но они продолжают бушевать у меня в глазах, и, чем больше я стараюсь их усмирить, тем меньше они меня слушаются. Мои колени быстро от них намокают, и я вспоминаю, как однажды они намокли, когда я, стоя возле маленького окна, мыла посуду и вода стекала на них с моего фартука. Йони расхаживал по

---

\* Неточная цитата из мидраша «Эйха Рабати». В оригинале: «Кто возвратит меня в первые годы». Имеются в виду годы, когда Храм еще не был разрушен. Мидраш — жанр еврейской религиозной литературы периода раннего Средневековья.

кухне и что-то мне рассказывал, но слушать его мне было неинтересно, и, чтоб развлечься, я придумала игру: решила, что буду слушать лишь каждое третье его слово. Когда он закончил говорить и спросил, что я об этом думаю, я сказала, что не расслышала и попросила его повторить, но, когда он начал повторять, слушала лишь каждое второе его слово и попросила повторить в третий раз. Однако на этот раз голос у него был уже настолько тихий и безжизненный, что я его почти не слышала, и меня это взбесило.

— Говори громче! Я тебя не слышу! Почему ты шепчешь, если хочешь, чтоб я тебя услышала?! — психанула я, чувствуя, что от всех этих игр у меня разбалывается голова, и стала мыть посуду с такой яростью, что облила водой чулки.

От слез мои коленки щекочет так, словно по ним ползает насекомое, но тут вдруг кто-то кладет мне на плечо теплую руку и приятный голос с сильным английским акцентом говорит: «Пусть это горе будет в твоей жизни последним».

Я отрываю свою распухшую красную физиономию от стола и вижу завкафедрой.

— Это произошло неожиданно? — спрашивает он, ласково глядя на меня.

— Что произошло неожиданно? — пугаюсь я, потому что неожиданным — и даже страшным — было все, что случилось со мной сегодня утром. Только откуда он-то это знает?

— Мамина смерть, — говорит он так, как будто она и его мама тоже.

«Нет, нельзя все-таки было врать. Как мне теперь выкручиваться?» — думаю я про себя, а вслух бормочу:

— Она была всего лишь моей мачехой.

— А твоя родная мама тоже умерла? — спрашивает он, понимая кивая головой.

Мне ужасно хочется заткнуть ему рот, но вместо этого я опускаю голову и говорю:

— Да, она умерла при родах, как Рахель в ТА-НАХе\*.

— Когда рожала тебя?

— Нет, моего брата.

— А сколько ему?

— Он тоже умер. Через несколько месяцев после мамы, — говорю я почти шепотом.

Икнув от изумления, завкафедрой плюхается на стул: наша жутковатая семейка явно произвела на него сильное впечатление — а мне вдруг становится смешно. Потому что сейчас он похож на пухлого розового поросенка, и встреча с ним, которой я ждала, как спасения, кажется мне сейчас такой же безнадежной, как и все, что ей предшествовало.

Чтоб скрыть свой смех, я наклоняю голову: пусть думает, что я, по вполне понятным причинам, плачу — и это срабатывает: он сует мне в руку бумажную салфетку.

— Вы даже не представляете, профессор Росс, насколько в последние дни мне не дает покоя судьба плотника из легенды, — жалобно говорю я, поднимая разболевшуюся вдруг голову, промокая неудержимо льющиеся слезы и глядя в светлые глаза завкафедрой. — Потому что мало того что подмастерье обманом отнял у него жену, так ему еще и пришлось им обоим прислуживать, а его горькие слезы капали им в бокалы. Вот уже несколько дней я ужасно за него переживаю. Все эти дни я проклинала подмастерье — за то, что он отнял у плотника жену, и саму эту жену тоже — потому что она была с подмастерьем в сговоре, но сегодня, по дороге сюда, кое-что поняла.

— Что именно? — с опаской спрашивает завкафедрой.

Такое впечатление, что он снова собирается икнуть.

---

\* Бытие, 35:16—19. В русской традиции Рахель принято именовать Рахилью.

— Как вы думаете, из-за чего плакал плотник? — спрашиваю я, чтобы предотвратить его икоту. — Из-за чего он плакал, когда им прислуживал?

— Как «из-за чего»? — удивленно распрямляет спину завкафедрой. — По-моему, это очевидно. Он оплакивал себя, отнятую у него жену и ужасную несправедливость своей судьбы.

— Да, — говорю я, глядя на его уверенно смыкающиеся и размыкающиеся губы, — до сегодняшнего утра я тоже так считала. Но сегодня поняла, что он плакал не из-за несправедливости, которая была причинена ему, а из-за несправедливости, которую причинил он сам. Своей жене. Поэтому в легенде отрицательный герой не кто иной, как он. Он даже хуже, чем подмастерье, и уж несомненно хуже своей жены.

— А на чем основан этот твой тезис? — спрашивает завкафедрой холодно, чуть не с презрением, и я с ужасом вижу, что последние остатки его доверия ко мне начинают испаряться. Теперь он тоже будет против меня. Однако отступать мне уже некуда.

— Я исхожу из того, что здесь написано, — говорю я, доставая из сумки книгу и раскрывая ее на соответствующей странице. — Почему он согласился послать жену к подмастерью? Да, он хотел получить ссуду, но он же не мог не понимать, что подвергает ее опасности. И все-таки послал. Ему было важно только одно: чтоб она раздобыла ему денег. А почему он целых три дня ее не искал? Спал без нее две ночи, просыпался без нее по утрам и лишь на третий день отправился к подмастерью, чтоб узнать, что с ней случилось. Когда же узнал, что по дороге ее изнасиловали молодые парни, то, вместо того чтобы забрать ее домой, приласкать, утешить, с легкостью согласился с ней развестись. Стоило подмастерью предложить ему денег, чтоб заплатить отступные, — и он сразу согласился. Почему он не попытался выяснить, что произошло? Почему не расспросил жену? Он ведь сам ее туда по-

слал. Разве вы не видите, что здесь целая цепочка преступлений? Преступлений, из-за которых Храму был вынесен приговор. Это же видно невооруженным взглядом.

Несколько секунд завкафедрой смущенно моргает, и мне даже кажется, что он мне подмигивает, но затем он берет себя в руки и лицо у него становится серьезным.

— Но, Яара, — говорит он, — по-моему, жена плотника тоже не бог весть какая праведница. Я, конечно, в эту легенду не вчитывался, но мне кажется, что жена была с подмастерьем заодно.

— Откуда мы можем это знать? — контратакую я. — Ее чувства не описываются; слов она никаких не говорит; но и по ее поступкам тоже судить нельзя, потому что она всего лишь пассивная игрушка в чужих руках. К подмастерью она пошла не по своей воле: ее послал к нему муж. Почему она пробыла у подмастерья три дня, мы не знаем. Может, он взял ее в плен? Не исключено даже, что он ее изнасиловал, а на парней просто свалил. В том, что она согласилась выйти за него замуж, тоже ничего удивительного нет. Ведь муж с ней развелся, позорно бросив на произвол судьбы. Разве вы не видите, что легенда ее не осуждает?

Взяв у меня книгу, завкафедрой начинает ее читать, и я вижу, как глаза его беспокойно бегают по тексту.

— Да, — соглашается он в конце концов. — Ее поступки против нее не свидетельствуют, и обвинить ее ни в чем нельзя. Даже если она и виновата, обвинить ее невозможно.

— Верно! — обрадованно говорю я. — Но знаете кого еще, кроме плотника и подмастерья, обвиняет эта легенда?

— Кого? — спрашивает завкафедрой с интересом.

— Вас, меня и вообще всех, кто на протяжении веков ее слушал или читал. Потому что все мы счи-



тали ее простенькой душещипательной историей, но ее истинного смысла никто из нас не понял. Да, пожалуй преданного, униженного, плачущего плотника — это проще всего. Но если вчитаться, судьба героев предстает перед нами совершенно в ином свете. Я вообще думаю, что эта легенда намеренно вводит читателей в заблуждение. Она как бы устраивает нам испытание, и даже мы с вами этого испытания не выдержали.

— Ты права, — со вздохом разводит руками завкафедрой, словно просит у меня прощения, а затем берет свою любимую книгу и прижимает к груди. Я знаю: больше он с ней не расстанется. — Но как ты думаешь, — спрашивает он, — зачем эта легенда вводит нас в заблуждение?

— А зачем нас вводит в заблуждение жизнь?

Завкафедрой пристально на меня смотрит, и я вижу, что в душе у него происходит борьба: один его глаз — за, другой — против.

— Помните, что ответил Моисею Бог? — спрашиваю я, обращаясь к глазу, который со мной согласен. — Когда Моисей записывал Тору и дошел до стиха «сотворим человека по образу нашему», он пожаловался Богу, что употребление множественного числа в глаголе «сотворить» может дать скептикам повод придаться и заявить: «Значит Бог не один; богов много», на что Бог сказал: «Пиши-пиши, сын Амрама. Кто хочет ошибиться — ошибется»\*. Вы думаете, ошибки можно избежать? Кто хочет ошибиться — ошибется в любом случае, и мы с вами, по видимому, читая эту легенду, тоже хотели ошибиться — каждый по своей причине. Но это не страшно. Потому что и плотник, и его жена, и подмастерье давно мертвы, а приговор Храму уже подписан. Но вот когда неправильно прочитываешь жизнь, за это при-

---

\* Героиня пересказывает здесь легенду, излагаемую в мидраше «Берешит Раба». Арам — отец Моисея.

ходится платить по-настоящему. Я хочу найти и проанализировать в своей диссертации дополнительные легенды о разрушении Храма, которые намеренно вводят читателя в заблуждение, как бы помогая ему ошибиться. Потому что ошибка — явление преимущественно духовное, и исправление ее тоже должно быть духовным, понимаете? На небе множество приговоров, которые еще не подписаны.

— Сомневаюсь, что ты найдешь такие легенды, — говорит завкафедрой, удивленно посмотрев на узкую полоску неба, окрашивающую окно его кабинета в голубой цвет, и вежливо улыбнувшись. — Мне не приходит на память ни одна легенда, подтверждающая твой тезис. Но попробуй поискать. Если сумеешь найти — это может быть очень интересно, а нет — будет жаль потраченного времени.

— Но ведь то же самое можно сказать и о других вещах в нашей жизни. Если что-то не получается — становится жаль потраченного времени. Жаль, что родился, если жизнь не удалась; жаль, что женился, если брак не сложился...

— Да, но в этих случаях легче установить, когда получается, а когда нет. Критерии более четкие.

— В любой области они достаточно четкие; просто это трудно признать.

— Может, ты и права, но давай не будем в это углубляться. Я хочу, чтоб через неделю ты представила план диссертации; иначе в следующем учебном году ты здесь больше работать не сможешь.

— Через неделю?! — в ужасе переспрашиваю я.

На этой неделе мне нужно попытаться спасти свою жизнь. Как же мне успеть? Но он непреклонен.

— Яара, это твоя последняя надежда. На меня и так уже давят, чтоб я перестал делать тебе поблажки, но, учитывая постигшее тебя горе, я готов дать тебе еще один шанс. Однако если ты и на этот раз не докажешь, что работа над диссертацией продвигается, университет тебе больше ничего предложить не сможет.

— А если я не успею? — делаю я еще одну отчаянную попытку.

— Тогда ставку, как ни жаль, получит кто-нибудь другой, — сурово говорит завкафедрой.

— Хорошо, я постараюсь, — сдаюсь я и медленно встаю.

— Стараться мало, — улыбается завкафедрой. — Нужно добиться успеха.

— Профессор Росс, — шепчу я, — если б вы только знали, чем мне пришлось пожертвовать, чтоб прийти на эту встречу.

— Что-что? Ты это о чем?

— Нет-нет, ни о чем, — бормочу я. — Я просто хочу сказать, что в жизни бывают такие моменты, после которых ничто уже не кажется простым.

— Да, — говорит он официальным тоном, — и один из таких моментов — это когда мы рождаемся. Повидимому, ты слишком поздно это поняла.

— Или, может, я только что родилась, — смеюсь я. — Позднее, чем мне казалось.

Сказав это, я опускаю глаза и собираюсь направиться к выходу, но тут вдруг вспоминаю, что сказал мне Арье.

— А знаете, как-то раз один человек сказал мне, что каждый, кто совершает ошибку, заранее знает, что совершит ее. Просто не может остановиться. И удивляет его не сам факт этой ошибки, а ее масштабы.

— Кто не хочет ошибиться, не ошибется, — усмехнувшись, бормочет завкафедрой себе под нос, и я вдруг замечаю, что из-под стола выглядывают его большие ступни в носках и поношенных сандалиях. Он сидит, вытянув ноги с противным самодовольством человека, у которого все в ажуре, и, не удержавшись, я, как бы случайно, наступаю на них обеими ногами сразу.

— Ой, простите меня, пожалуйста, я не нарочно, — говорю я, видя, как он испуганно прячет ноги под

стол, и мне становится ужасно стыдно. — Больно? — спрашиваю я, подходя к нему и обнимая за плечи.

— Нет-нет, ничего, — отвечает он, но я вижу, что от удивления у него на носу подрагивают очки.

\* \* \*

Дверь пустой ассистентской открыта. Я вхожу и закрываю ее. Вдоль стены тянется длинный узкий стол, а в маленьком окошке открывается грандиозная панорама: в него умещаются и Храмовая гора, и окруженный мрачными деревьями золотой «Купол Скалы», и впадина «Города Давида», и узкие дороги, по которым медленно, как в похоронной процессии, ползут автомобили, и острые волчьи зубы высотных зданий современного — проглотившего золото Храмовой горы — города, меж которыми виднеются бледно-красные, как анемоны на лугу в последний день весны, крыши небольших домов, и мне хочется слиться с этим великолепным пейзажем, вдохнуть мягкий, душистый, с привкусом гари и дыма, воздух короткой израильской весны... Но когда я открываю окно и высовываю голову наружу, то вижу языки пламени...

...извиваясь, как змеи, они вползают на гору все выше и выше, окружая похожий на льва — узкий сзади и широкий спереди — храм со всех сторон, и на моих глазах великолепное сооружение превращается в груду обгоревших обломков; потом появляется плотник; его слезы текут уже не в полные бокалы, а в пустые, потому что в иерусалиме — голод, и от горя он закрывает дрожащими руками лицо; а затем я вижу два освещенных пламенем страшного пожара розовых скелета; это плотник и его жена; они стоят лицом друг к другу, понутив головы, как цикламены; не тогда ли он попросил у нее прощения и не тогда ли она ответила: «я-то тебя простила, да вот бог не простил»...

...Внезапно дверь открывается. Я оборачиваюсь и вижу, как в ассистентскую танцующей походкой входит Нета. В одной руке у нее — кофе, в другой — пачка контрольных, а ее черные волосы шевелятся, как насекомые.

— О, какие люди! — с издевкой говорит она. — А я, между прочим, уже два месяца делаю за тебя твою работу.

— Но ты же не ради меня это делаешь. Ты просто хочешь доказать, что без меня можно обойтись.

— Да, — не без удовольствия говорит Нета. — И должна сказать, это оказалось гораздо проще, чем я думала.

— Не волнуйся, я для тебя никакой опасности не представляю, — смеюсь я, потому что мне нравится ее прямота. — Ты добьешься всего, чего хочешь. Ты бы никогда не стала осложнять себе жизнь из-за любви.

— Из-за любви?! Боже упаси! — говорит она испуганно и, показывая на пачку контрольных, добавляет: — Вот моя любовь. Но я готова ею поделиться. Хочешь, проверим контрольные вместе, как делали в начале учебного года?

Она делит пачку на две части, а я вспоминаю, как мы сидели с ней в этой комнате и писали карандашом замечания на контрольных. Маленькое окошко тайком за нами подглядывало, а вечером за мной заходил Йони. Он садился на узкий стол, сминая контрольные, а я собирала вещи, и мы с ним сбегали. Тогда у меня еще был дом, ощущение защищенности и ангел-хранитель. Теперь ничего этого уже нет.

— А ты изменилась, — говорит Нета, внимательно меня разглядывая.

— В чем?

— Не знаю, — говорит она и сует мне контрольные.

— Не сейчас, — отшатываюсь я. — У меня куча дел. Проверю потом.

Пожав плечами, Нета садится проверять контрольные, а я пулей вылетаю из ассистентской, до-



бегаю, как сумасшедшая, до эскалатора, спускаюсь на остановку и запрыгиваю в уже трогающийся с места автобус.

\* \* \*

Не знаю, куда я так спешила, потому что дома меня никто — кроме прикрепленной к двери записки — не ждет. «Йони прилетает в 15:30, — написано в ней красивым маминым почерком, а в конце — приказ с восклицательным знаком: — Дождись его!»

Я захожу в темную квартиру и перечитываю записку. Сколько страха и ужаса скрывается за скупыми маминими словами и этим ее маленьким восклицательным знаком. «Бедная мама! Бедный папа! Бедный Йони!» — твержу я себе, повторяя это раз сто.

На больших стенных часах почти двенадцать. Я звоню в аэропорт, и оказывается, что в 15:30 из Стамбула действительно прилетает самолет. Как же она узнала, что Йони прилетает именно этим рейсом? На что пошла, чтоб это выяснить и спасти мой брак? Скрывающиеся за скупыми словами записки мамини старания трогают меня до слез.

Я немедленно заказываю по телефону маршрутку до аэропорта, оглядываюсь вокруг, не зная с чего начать, бегу в магазин, покупаю хлеба, вина, сыра, овощей, зеленых яблок (потому что Йони любит их больше всего), а затем — в соседнем магазине — букет белых цветов (так как возвращающимся из свадебного путешествия положено дарить цветы) и со все возрастающим волнением мчусь домой. Дома же выбрасываю из холодильника все старые продукты, сую туда все, что накупила, поднимаю жалюзи, открываю окна и приглашаю в гости стеснительную весну. Та сначала робеет, но потом заходит и, пританцовывая, отправляется гулять по комнатам.

Я чувствую какой-то внезапный прилив энергии, желание что-то делать, и это похоже на счастье. Да,

это самое настоящее счастье и даже лучше, чем счастье! Потому что счастья боишься больше. «А спекука я к приезду Йони его любимый шоколадный пирог!» — решаю я. Я его, правда, много лет не делала, но, даже не заглядывая в поваренную книгу, без труда вспоминаю рецепт, и, сунув пирог в духовку, начинаю убираться. «Всё обязательно будет хорошо, — думаю я, с энтузиазмом ликвидируя в доме признаки горя и следы запустения. — Когда он увидит, как я старалась, он меня простит. Даже если на него не подействует ничто иное — пирог подействует наверняка!»

Я меняю постель, готовя кровать к ночи любви, и почти не думаю про Арье. Даже когда вспоминаю о нем — не думаю. Потому что слишком тороплюсь. Руки у меня слишком торопятся, ноги у меня слишком торопятся, и даже сердце бьется учащенно, как перед свадьбой. Потому что это будет наш и только наш с ним день — мой и моего дорогого Йони, который обязательно меня простит. «Иногда, чтобы подняться, нужно спуститься, а чтобы встретиться — расстаться, и сегодня мы с тобой встречаемся впервые, встречаемся по-настоящему», — скажу я ему и не позволю ответить «нет». Я наполню его своей любовью, как наполняют пустой сосуд, и буду наполнять до тех пор, пока под тяжестью моей любви он уже не сможет пошевелиться, а вечером, держась за руки — или, может, даже в обнимку — мы пойдем к моим родителям. Мама увидит, что у нас все хорошо, что меня есть кому защитить, и поймет, что ей не о чем беспокоиться.

Я поспешно принимаю душ, умеренно подкрашиваюсь (потому что Йони не любит, когда я накладываю слишком много грима) и надеваю белое платье. Надевать праздничное платье в обычный день, конечно, немного смешно, но ведь это же моя свадьба. Да, в аэропорту, в зале ожидания, состоится моя на-

стоящая свадьба, и мы пригласим на нее как прилетающих, так и членов их семей. Сначала они будут сидеть на чемоданах, созерцая трогательную встречу жениха и невесты, потом станут нашими свидетелями, а затем понесут нас на руках, громко распевая: «Опять будут слышны в Иудейских горах и на улицах Иерусалима голос жениха и голос невесты, голос радости и голос веселья»\* — и мы все, огромной процессией, совершим — как было принято делать когда-то во время шалош регалим — паломничество в Святой Город\*\*.

Я с энтузиазмом стелю ковер на вымытый пол, вынимаю из духовки потемневший пирог, ставлю его рядом с цветами и складываю яблоки в вазу для фруктов, но вид белых цветов и коричневого пирога заставляет меня вспомнить, как моя рука лежала на руке Арье, а почти на каждом яблоке, как назло, коричневая шишка. Проклятье, так я никогда не смогу его забыть... Я начинаю укладывать яблоки так, чтобы шишек видно не было, и вдруг понимаю, почему у нас с Арье ничего не вышло: потому что вместо того, чтобы не заметить его шишку, я, наоборот, привлекла к ней его внимание. Поэтому ничего и не получилось. Но сейчас у меня уже нет времени об этом жалеть, потому что сегодня я выхожу замуж. Ночью, на этой кровати, я забеременею, и все мои горести-радости-страхи-воспоминания-разочарования-недоумения-опасения-сокровенные желания превратятся в живое существо: в нежную-красивую-сладкую-

---

\* Основанная на тексте пророка Иеремии (33:10–11) песня, которую поют на еврейских свадьбах. Цитируется неточно. В оригинале: «Опять будут слышны в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты».

\*\* Шалош регалим — три еврейских религиозных праздника (Песах, Шавуот и Суккот), во время которых в древние времена предписывалось совершать паломничество в Иерусалим и приносить жертву в Храме.

шумную-девочку, которая через двадцать лет будет рыться своими прозрачными пальчиками в старых фотографиях. С сегодняшнего дня я буду жить только ради нее, потому что сегодня история моей любви подходит к концу.

\* \* \*

Осторожно, чтоб не запачкать белое свадебное платье, я сажусь в переполненную маршрутку, прижимаюсь к оконному стеклу и вижу позади одного из домов красное, пламенеющее, как неугасимый факел, дерево. Значит, в тот день, когда мы ехали в Яффо, оно мне не приснилось! Значит, я его действительно видела! Однако это дерево напоминает мне об Арье, и мне, наверно, не следует на него смотреть, как не следует смотреть на солнце. Поэтому я перевожу взгляд на молодую женщину с цветастым платком на голове. Она рассказывает сидящей рядом с ней более взрослой женщине (возможно, это ее мать), что у соседей родился мальчик, который через два дня умер, но похоронить его было невозможно, потому что он не был обрезан, и ему сделали обрезание после смерти. «А что же стало с его крайней плотью? — с содроганием думаю я. — Ее похоронили вместе с ним? Или, может быть, мать ребенка поступила так же, как поступила моя мама со своей прекрасной — даже в ящичке шкафа казавшейся более живой, чем она сама, — косой? Может, несчастная мать тоже завернула крайнюю плоть мальчика в газету и спрятала в шкаф?»

Когда маршрутка останавливается у входа в аэропорт, я торжественно вхожу в зал нашего бракосочетания и оглядываю приглашенных на свадьбу людей, но, к моему удивлению, никого из них я не знаю и никто из них не подходит меня поздравить. Они же вроде бы мои гости. Наверно, пока жениха еще нет, им просто трудно понять, кто тут невеста. Ничего-ничего, когда Йони прилетит, им все сразу станет ясно.

Я представляю, как Йони с серьезным и мрачным видом входит в зал ожидания и видит меня. От радости лицо его заливается краской, загораясь, как дерево с красной кроной, я бросаюсь к нему навстречу, и мы медленно идем по направлению к гостям. Те наконец-то понимают, что происходит, и начинают желать нам счастья.

Но тут мне становится страшно. А вдруг Йони выйдет из самолета не один? Вдруг за его ширококостную загорелую руку (которая, когда он голый, выглядит, как протез) будет держаться другая — сама не верящая собственному счастью — женщина (какая-нибудь там, например, незамужняя спутница по рейсу), и он отправится не в нашу — вылизанную мной — квартиру, а в ее?!

С каждой минутой этот сценарий кажется мне все более и более реальным, и на всякий случай я прячусь за спину какого-то молодого парня, но в конце концов решаю, что даже в этом случае не сдамся: свадьба состоится! Она состоится, даже если жених будет против! Назло ему и его новой возлюбленной!

Наконец в зале ожидания появляется шумная — напоминающая отбившееся от пастуха стадо — толпа прилетевших, которые озираются по сторонам с таким видом, будто надеются увидеть здесь что-то приятное, а встречающие, которым не терпится своих близких обнять, начинают махать им руками; и в этот момент я вижу бледное, озабоченное лицо Йони. Полностью погруженный в себя, не обращающий внимания на царящую вокруг радость и волнение, с опущенными в землю глазами, он идет своей расхлябанной походкой со знакомой мне сумкой на плече отдельно ото всех (как будто он зачумленный и люди его сторонятся), причем так медленно, словно не идет вперед, а движется назад, и я вижу, что он украдкой, исподлобья — как будто сам этого стыдится — меня высматривает. В первый момент мне хочется броситься к нему, чтоб его обнять, но я не силах



пошевелиться. Как будто я не я, а парализованная красавица Мазаль Шайнфельд.

Рыхлое, грузное тело Йони, его детские, беззащитные, чуть косо, как у собаки, посаженные и — несмотря ни на что — смущенно ожидающие чего-то хорошего глаза уже совсем близко от меня, но тут вдруг от него отделяется прозрачная фигура и я вижу, что это другой — счастливый — Йони. Разница между ними колоссальная: в отличие от несчастного Йони, на лице которого написано отчаяние, счастливый шагает быстрым шагом, глаза у него сверкают и смотрит он на меня равнодушно, как на чужую, а я вдруг понимаю, что даже если я сейчас и брошусь несчастному Йони на шею, он почувствует, что мною движет не любовь, а, скорее, инстинкт хищника, кидającegoся на свою добычу. «Отпусти его, — говорю я себе. — Пусть он идет. Не стой на его пути. Позволь ему отделиться от тебя, стать самостоятельным. Он имеет право на собственную жизнь».

Из толпы встречающих выбегает молодой мужчина со светлыми волосами, бросается к идущей позади Йони быстрым шагом красивой молодой женщине в фиолетовом брючном костюме, страстно ее обнимает, и я вижу, с какой завистью Йони на них смотрит. Я — тоже. Зависть к этой красивой влюбленной паре и к их, до отвращения «правильному», объятию — единственное, что у нас сейчас с ним общего. Только это нас и связывает.

Я вижу проплывающий мимо меня младенческий нос-пуговку, сутулую спину в зеленой клетчатой рубашке, немного покатые плечи, на удивление тонкую шею, крутящуюся на ней из стороны в сторону голову — Йони по-прежнему меня ищет; ищет несмотря ни на что — и меня вдруг берет злость. Почему он ищет меня так вяло?! Как будто еще до того, как начал искать, уже потерял надежду. «Никогда тебе этого не прощу!» — кричу я ему мысленно, прячась в толпе и продолжая издали за ним наблюдать.

Когда он выходит из аэропорта и медленным шагом направляется к стоянке маршрутных такси, солнце неожиданно прячется за тучи и зеленая рубашка окрашивается в серый цвет, а затем тонкая скорлупа неба трескается, и в образовавшейся расщелине сверкает электрический разряд. «Если это молния, то где же гром? Ведь они друг от друга неотделимы. Молния без грома — это как невеста без жениха», — успеваю подумать я, но тут скорлупа трескается снова, и молния разрубает землю на два материка, так что я оказываюсь на одном, а Йони — на другом. Он — на своем материке — смиренно стоит в очереди на маршрутку, а я — на своем — прячусь за припаркованной машиной и наблюдаю за ним.

Льет грязный, одобренный песком, дождь, и мое платье запачкалось. Трудно даже поверить, что еще недавно оно было белым. Точно так же, как трудно поверить, что я чего-то ждала и на что-то надеялась. Неужели я всерьез верила, что мы вернемся домой в обнимку и сядем за стол, на котором будут стоять цветы и пирог? Почему я не подумала о том, что будет потом, когда мы снова будем жить вместе и начнется повседневная жизнь? Потому что друг друга мы обмануть еще можем, но жизнь — эту хрупкую, ломкую, злопамятную и мстительную даму жизнь — никаким очковтирательством не проведешь.

Как быстро продвигается длинная очередь, в которой стоит Йони, думаю я, садясь на мокрый тротуар. Только что он был последним — и вот его очередь почти уже подошла. Видимо, тот, кто проявляет упорство, в конце концов всегда добивается своего, и все, что для этого нужно, — просто стоять на месте. Я же непрерывно таскаюсь с места на место и постоянно остаюсь в хвосте. Может, я делаю это специально? Чтобы в нужный момент можно было сбежать?

Я вижу, как Йони, делая еще одну попытку меня найти, оглядывается по сторонам, и у меня вдруг

вспыхивает надежда. Может, ради меня он пожертвует сейчас своим местом в очереди и отправится на поиски? Но этого не происходит. Когда к стоянке подъезжает пустая маршрутка, он засовывает в нее свою серую спину, бледное, с глубокими рытвинами лицо, овечьи кудряшки и курносый нос, со вздохом усаживается на сиденье своей новой жизни, и я понимаю, что эта картинка — садящийся в маршрутку и уезжающий от меня Йони, — эта причиняющая мне боль картинка всегда будет стоять у меня перед глазами и никогда никуда не уйдет. Она прирастет к моим глазам, как катаракта, и каждый раз, как со мной будет что-то происходить — не важно, грустное или радостное, — я буду об этом вспоминать и все с этим сравнивать.

Как только маршрутка Йони исчезает из виду, я тоже встаю в очередь. Я стою на том же месте, где еще недавно стояли его большие ноги, а вокруг меня приплясывает теплый черный весенний ливень с привкусом песка.

\* \* \*

Сев в быстро заполнившуюся пассажирами маршрутку, я представляю, как она догоняет ту, в которую сел Йони, и как обе маршрутки, словно эскортируя одна другую, странной кавалькадой въезжают в город.

Я сижу промокшая до нитки и дрожу от страха, потому что проезжающие мимо машины свистят, как выпущенные из лука стрелы. Если бы рядом сидел и обнимал меня Йони, я бы не заметила этого свиста вообще, но сейчас я одна, звуковые волны ничто не поглощает, и я отчетливо слышу каждый звук. Плюс к тому я чувствую все впадины на шоссе, и каждый раз, как маршрутка подпрыгивает, думаю: как я это выдержу? как переживу этот день? куда пойду?

Как и по дороге в аэропорт, я снова прижимаюсь к оконному стеклу, но на этот раз закрываю глаза,

потому что снаружи, как и внутри, смотреть не на что, и начинаю думать об Арье. Я представляю, как он принимает гостей, пришедших выразить соболезнования. Какое-то время он — подобно льву в вольере — расхаживает среди них взад и вперед, а затем, под каким-то предлогом, сбегает и приходит ко мне домой (я абсолютно уверена, что он это сделает; не может же он просто так отказаться от моей зависимости от него и от наших с ним нездоровых игр). Но там его поджидает сюрприз: ему открывает Йони. Расстроенный тем, что это не я, Арье смотрит на Йони, а расстроенный тем, что это не я, Йони смотрит на Арье; но тут два главных в моей жизни мужчины — которым удалось друг друга взаимоупразднить — исчезают, и я снова остаюсь наедине со свистом проезжающих машин.

\* \* \*

Когда мы въезжаем в город, пассажиры, один из другим, начинают выходить и разбирать свои чемоданы.

— Где вас высадить? — спрашивает водитель, обернувшись ко мне, когда я остаюсь в маршрутке одна, но, открыв рот, чтобы ответить, я вдруг понимаю, что понятия не имею. Можно было бы, конечно, поехать к родителям, но их расспросов я сейчас не вынесу.

— Если вам некуда идти, могу отвезти вас к себе, — смеется водитель, глядя на мой открытый, как у рыбы, рот.

— Отвезите меня в университет, — говорю я ему в конце концов.

— В такое-то время? Темнеет ведь уже. Вы что, такая усердная? — удивляется он, но сил отвечать ему у меня уже нет.

Вскоре я снова вижу больничную трубу, из которой валит притворяющийся дымом покаяния дым горящего Храма, и представляю, как он окутывает грузное тело стоящей у темного окна Тирцы, а еще через какое-то время мы подъезжаем к университету.

— Чемодан не забудьте, — напоминает мне водитель, когда я медленно встаю со своего места и выхожу.

— У меня его нет.

— Вы летали за границу без чемодана? — удивляется он.

— Я не летала за границу. Я ездила в аэропорт встречать вернувшегося из-за границы человека.

— Так где же он тогда? Почему вы одна?

— Хороший вопрос. На эту тему можно было бы написать целую книгу, — отвечаю я и направляюсь к эскалатору.

На эскалаторе я поднимаюсь в одиночестве. Все остальные — спускаются. Бурный водопад движущихся ступенек увлекает их вниз, а я бегу по эскалатору в противоположном направлении, причем с такой скоростью, как будто от этого зависит моя жизнь.

Когда я вбегаю в библиотеку, в нос мне ударяет запах книг.

— Сборник легенд о разрушении Храма, пожалуйста, — прошу я библиотекаря.

— Это единственный экземпляр, — говорит она. — На дом не выдается.

— А мне не надо на дом. Я буду читать здесь.

— Но мы через пятнадцать минут закрываемся.

— Ничего, пятнадцати минут мне хватит.

Когда библиотекаря приносит книгу, я сажусь с ней за стол и начинаю листать. Руки у меня дрожат. Какую именно легенду я ищу, я не знаю, но знаю, что когда я ее найду, то сразу пойму, что это она.

Вокруг меня все уже готовится к выходу. Вдалеке я вижу Нету; встряхивая своими насекомыми, она засовывает в большой портфель стопку бумаг. И только я — подобно матери, которая, не в силах налюбоваться на прелестные ручки и ножки своего ребенка, вертит его и так, и сяк — никак не могу оторваться от своей книги. «Нет, — решаю я, — сегодня нас с ней никто не разлучит! Плевать мне на часы работы библиотеки!»



Когда по громкоговорителю объявляют, что посетителей просят покинуть читальный зал, я ухожу к самым дальним стеллажам и ложусь между ними на покрытый жестким ковром пол.

— Мне надо бежать, — слышу я голос старшей библиотекарши, поторапливающей своих подчиненных. — У меня сегодня свадьба.

Несколько минут я лежу и прислушиваюсь к постепенно затихающим шагам, а затем яркий верхний свет гаснет и остается гореть только слабая лампа аварийного освещения. Всё, теперь я не смогу выйти отсюда до завтрашнего утра.

Впервые с того момента, как все началось, я вздыхаю с облегчением. Да, у меня нет с собой ни еды, ни питья, но зато я здесь совершенно одна. Только я и моя книга.

Я подползаю к аварийной лампе, усаживаюсь под ней и в полной тишине, нарушаемой только шелестом переворачиваемых мной страниц, продолжаю читать, пока не натыкаюсь на легенду о дочери первосвященника, которая накануне разрушения Храма перешла из иудаизма в чужую веру. Отец устроил по ней поминки, как по мертвой. На третий день шивы она пришла к нему и сказала: «Отец, я сделала это только для того, чтобы спасти твою жизнь», — но он отказался прервать поминки, и слезы текли из его глаз до тех пор, пока дочь не умерла. Тогда он встал, переоделся, сказал, что хочет есть и попросил хлеба.

Да-да, эта легенда — именно то, что мне нужно, и я уверена, что когда-то ее уже слышала. Много лет назад, вечером, когда отключили электричество и мы вдвоем сидели возле свечи, ее читала мне мама. «Зачем ты читаешь ей эту историю? — спросил папа. — Разве ты не видишь, что она слишком печальная?»

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая.....	5
Глава вторая.....	19
Глава третья.....	42
Глава четвертая.....	61
Глава пятая.....	101
Глава шестая.....	123
Глава седьмая.....	148
Глава восьмая.....	176
Глава девятая.....	209
Глава десятая.....	250
Глава одиннадцатая.....	287
Глава двенадцатая.....	314
Глава тринадцатая.....	357

### **Шалев Ц.**

Ш18 Биография любви: роман / Цруя Шалев; пер. с иврита Б. Борухова. — Москва: Текст, 2019. — 382[2] с.

ISBN 978-5-7516-1523-9

Мечты героини романа незамысловаты: защитить диссертацию, после защиты родить ребенка, потом купить квартиру, а в промежутках между этими важными событиями ужинать с мужем в уютной обстановке, обсуждать научные проблемы с завкафедрой, предрекающим ей блестящую карьеру, покупать красивые платья и чувствовать себя как за каменной стеной. Но встреча с другом отца и вспыхнувшая непреодолимая страсть рушит все ее планы...

Журнал «Шпигель» включил эту книгу израильской писательницы в список двадцати лучших романов, написанных за последние сорок лет, наряду с произведениями Сола Беллоу и Филипа Рота. Роман переведен на десятки языков и экранизирован. На русском языке выходит впервые.

УДК 821.41  
ББК 84(5Изр)

ЦРУЯ ШАЛЕВ

**БИОГРАФИЯ ЛЮБВИ**

РОМАН

16+

Редактор В. И. Генкин  
Корректор Т. В. Калинина  
Художественный редактор К. Ш. Баласанова

Подписано в печать 05.02.19. Формат 84 x 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>  
Усл. печ. л. 20,16. Тираж 1000 экз.  
Изд. № 1396. Заказ № 2058.

Издательство «Текст»  
125319, Москва, ул. Усиевича, д. 8  
Тел.: (499) 150 04 72  
E-mail: textpubl@yandex.ru  
www.textpubl.ru

По вопросам, связанным с приобретением  
книг издательства,  
обращаться в ТФ «Лабиринт»:  
тел. +7 (495) 780 00 98 [www.labyrinth.org](http://www.labyrinth.org)  
Заказ книг в интернет-магазине: [www.labyrinth.ru](http://www.labyrinth.ru)

Отпечатано в типографии ООО «ТДДС-Столица-8»  
Тел.: (495) 363-48-86 <http://capitalpress.ru>





FIC SHALEV Russian

Shalev, Tseruyah

Biografiia

liubvi : roman

02/13/20





Цруя Шалев описывает  
порочность Яары виртуозно и  
сочувственно, с тонкой иронией и  
предельной ясностью.

«Шпигель» (Германия)

«Биография любви» знаменует  
появление умного и изощренного  
таланта.

«Вашингтон пост бук уорлд» (США)

Удивительное произведение...  
Вы глотаете фразу за фразой  
без пауз, темп нарастет,  
перехватывает дыхание, и вы  
испытываете безграничное  
сочувствие  
к Яаре...

«Амика» (Италия)

